



— 1201 —

Дом Кембаев

Annotation

Стареющий Повелитель, завоевавший полмира неожиданно обнаруживает слабость, у него появляется нежданная забота — подозрение насчёт порочной связи одной из его жен, младшей Ханши, с молодым зодчим Жаппаром, строителем прекрасного минарета...

Прототипом для образа Повелителя послужила легенда о Тамерлане. Кекильбаев дописал конец этой легенды, не следуя послушно за подсказкой народного предания, но сообразуясь с логикой психологического анализа и правдой художественного обобщения характера, взятого им для пристального, внимательного изучения.

- [Абиш Кекильбаев](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Абиш Кекилбаев

Конец легенды

Часть первая

КРАСНОЕ ЯБЛОКО

Крошечные воронки, появляющиеся под копытами устало бредущих коней, тут же вновь заполняются песком. И мгновенно исчезают бесчисленные следы на склонах вздыбленной гряды барханов, оставленные отрядом угрюмо вззирающих окрест телохранителей, едущих на отборных скакунах саврасой масти впереди, на расстоянии пущенной стрелы. Зыбучий песок, безмолвный и бездушный, издревле привыкший к непостоянству и тщетности бытия, мигом стирает малейший отпечаток на бескровном лице этого безбрежного серо-пепельного мертвого пространства.

Как бы ни старался Повелитель, вступив в Великую пустыню, отвести взгляд от всепожирающего сыпучего песка вокруг, однако никак не мог избавиться от гнетущего ощущения его беспредельной ненасытности. И каждым раз, когда он, утомленный однообразным, удручающе монотонным сухим хлясканием копыт увязающих в песке по самые щетки лошадей, досадливо откидывает занавеску у окна своей крытой повозки, перед глазами его простирается все то же унылое песчаное море.

Ранняя, чахлая весна. Скучная, убогая равнина, и нынешней зимой обделенная снегом, утомляла глаз. На кривых сучьях саксаула и жузгена еще не развернулись почки. Все вокруг погрузилось в дрему. Горбатые барханы, невзрачные, раскорячившиеся кусты точно застыли в извечной неподвижности, прижавшись к убитой земле.

На стыке зимы и весны здесь всегда бушуют бури. Самая свирепая и затяжная из них, именуемая в народе «черепашьей», отшумела лишь недавно. Пять суток кряду, словно из преисподней, бил им в лицо раскаленный докрасна зной пустыни. Пыльный смерч смешал землю и небо. Казалось, какая-то чудовищная сила, распаяя себя, в пепел, в прах истолкла всю твердь земли и провеивала ее на жестоком ветру. Несметное войско, ничего не видя и не слыша в этой черной кутерьме, с тупым упорством брело, тащилось, грудью налегая на валивший с ног коней упругий шквал. Точно вздыбился весь мир и белый свет померк... Где земля, где небо — не разобрать... Ломило

уши от рева ветра... Смерч, возбуждаясь, крепчая, гулял-свистел по всей вселенной. И казалось, не угомонится он никогда, не уймется, пока не разнесет, не разьест всю землю в прах. Вконец осатаневший ветер шквалом набрасывался на крытую ханскую повозку, норовя зашвырнуть ее в пучину мрака.

Кони вымотались, храпели; песок забивался в ноздри, в уши и глаза, и изнуренные воины с трудом двигались против ветра. Но Повелитель велел продолжать поход. Какой смысл в привале, если в голой пустыне нет ни кустика, где б можно было укрыться?

Наоборот, очень даже возможно, что разбушевавшаяся буря играючи разметет-расшвыряет по пустыне все повозки и тюки. Ведь не один караван бесследно исчезал под этими безмолвными барханами.

Не в правилах Повелителя было отправляться в походы в весеннюю распутицу или по чернотропу. На этот раз, стремясь вернуться в родные края к началу весны, он поневоле изменил обычаю. Однако, чувствуя какое-либо сопротивление, он становился упрямее, ожесточеннее и сильнее стискивал зубы. В самом деле, кто могущественнее на этом свете: этот шальной, безумный ветер, лишь дважды — в весеннюю и осеннюю пору — обрушивающийся на землю, или он, владыка, способный при желании перевернуть вверх тормашками весь этот бранный мир?!

И все же зло брало, что он, всемогущий, перед которым трепетало все живое, не в силах был укротить — ни копьем, ни саблей — вздорный нрав разгульного ветра. Тысячники, темники то и дело кружили вокруг его повозки, как бы умоляя о привале, но Повелитель был непроницаем. Он сидел неподвижный, угрюмый и, казалось, не слышал, не замечал вовсе надсадного воя бури.

Пять дней и ночей ярилась буря — предвестница благодатной весны. Потом весь мир враз утишился, словно обессиленный после камлания баксы-шаман. Повсюду вокруг — кучками и поодиночке — валялись вылезшие, должно быть, на свет божий из трещин черепахи. Ветер расшвырял их как попало. Иные лежали брюхом кверху и беспомощно сучили уродливыми ножками.

В тот день, когда улеглась буря, к полудню войско добрело до барханов. Склоны песчаных дюн, исхлестанные ветром, напоминали иссохший остов диковинных ископаемых чудовищ. Глубоко увязая в серый песок, брели воины уже несколько дней. Еще недавно, всего

несколько дней тому назад, они терпели великие муки из-за шквального ветра, теперь их изводила, угнетала глухая непробиваемая тишь. В груди сжимался, щемил беспокойно-горячий, с кулачок, комочек, точно опасаясь умолкнуть, остановиться невзначай этом оглошшем от тишины и неподвижности выморочном пространстве.

Вокруг, куда ни посмотри, горбатились бурые барханы, и как бы ни спешило войско преодолеть их один за другим, пока еще и намек не было на надежную твердь. Пустыня, изборожденная тяжелыми песчаными складками морщинами, простиралась во все стороны. Сколько бы ты ни всматривался в затейливую и таинственную, как сура корана, вязь, начертанную ветром-каллиграфом на податливо-мягком песке, не вычитаешь ничего, что бы могло взбодрить онемевшую мысль. Наоборот, эти причудливые письмена поневоле навевали тягостные думы о том, что сама жизнь не что иное, как бессмысленные, беспорядочные знаки на песке, как случайные, постоянно меняющиеся, призрачные следы в этом однообразно тусклом и безбрежном мире. Ведь так же, как весенняя буря, которая после многодневного буйства, вдруг разом обессилев, смиряется сама по себе, все, что человек привычно называет жизнью, со всеми ее страстями и суетой, остается завтра безжалостно стертым и погребенным сыпучим песком по имени Время.

Четыре долгих года провел он в походах, сто тысяч коней истоптали, истыкали копытами немало чужих земель. Неужели когда-нибудь и это точно так же бесследно развеет ветер и поглотит песок? Если человеческая жизнь — нечто мимолетное, как шальной степной ветер, что просвистел и унесся прочь, значит, и прожитые годы, старательно нанизывающие подряд и без разбора все ничтожное и сокровенное, так же призрачны и бесплодны, как этот зыбкий, шуршащий песок под ногами. Выходит, между небом и землей нет ничего, кроме изменной суеты и бессмысленности? Выходит, все-все проходит, и только непостоянство постоянно, вечно?

Кто знает... может, так оно и есть. Разве мало унижений испытал он в прошлом? Разве не мыкался вот в этой недоброй пустыне с женой и сынишкой, спасаясь от гонений? Разве не эти проклятые пески, отупляющие даже сейчас, когда он смотрит на них из расшитой золотом повозки, обжигали ему тогда пятки до кровавых волдырей? Даже чахлого кустика не мог он найти в те черные дни, чтобы

пальцами разгребать под ним песок в надежде коснуться истресканными от жажды губами желанной прохлады и влаги, и тогда в отчаянии казалось, что никогда уже не суждено ему выбраться из ненавистной скряги-пустыни, иссушившей его тело и душу, и никогда не дожить ему до того счастливого мгновения, когда он может или мог бы ополоснуть рот глотком живительной воды. Но кто о том знает теперь? Ведь даже он — он сам! — вспоминает о том разве что в безысходной тоске. Прошлые унижения стерло нынешнее могущество. Прошлые муки искупилась нынешним счастьем. Но ведь так может забыться и сегодняшнее. Тогда что собой представляет Завтра, о котором беспрестанно твердит жалкий человеческий род? Что оно? Безумный разрушитель всего сущего на земле, равнодушный губитель всего, что живет сегодня, или карающий меч судьбы, бессмысленности и непостоянства, одинаково беспощадный ко всему и ко всем? Что оно, это Завтра?

Если оно и впрямь меч карающий, то к чему тогда Сегодня, олицетворяющее неминуемую смерть с хищно разинутой пастью? А если Сегодня — вечно, бессмертно, то где — Вчера? Где оно, что было вчера? Где они, что жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражался с ним, сегодня погребены песком забвения? Неужели их сразила лишь его пощады не знающая сабля? Нет, конечно! В своей гибели они повинны сами. Вернее, слабость их повинна. Выходит, Вчера — попросту разновидность слабости. Точнее, другое ее название. Лишь ослабев, обессилев, Сегодня превращается в Вчера. А неуемная, все сокрушающая сила способна дерзко схлестнуться не только с сегодняшним, с Сегодня, но и бросить вызов самому Завтра... Истинное имя силы — Вечность. Только необузданная сила, мощь в состоянии находить с нею общий язык. Гибель слабого predetermined уже Сегодня; кару для посредственности, для середняка готовит Завтра; и только сильный, не признающий никого и ничего, бессмертен, как сама Вечность.

Сегодня — это еще неопределенность, какая-то зыбкая срединная межа между страхом и надеждой. Это доля презренного большинства. Это плавание на утлой лодчонке в ограниченном, строго очерченном пространстве. И только. Лишь в таком шатком положении — между явью и забвением — жалкий люд способен постичь и признать волю сильного. А без него тьма-тьмущая слабых — сброд. Лишь тот, кто

наделен такой могучей волей и в состоянии и держать чернь между Страхом и Надеждой, может превратить ничтожных в реальную силу. В руках такого Сегодня оборачивается грозным оружием в борьбе с Завтра... Каждому своему военачальнику он неустанно внушает: «Какие бы напасти ни подстерегали тебя, не попадайся в тупик, из которого нет вывода. Заранее позаботься о лазейке для спасения...» Слабость — тот же тупик... Надо иметь в запасе уйму уловок, чтобы не очутиться в ее тенетах.

Разве не о том же говорится в священном писании?

Спросил однажды муравей у пророка Соломона: «Ведаешь ли, отчего всеблагий подчинил себе ветер?» Соломон не нашелся, что ответить. «В том заключен намек, что царство и могущество твое когда-нибудь ветер же и развеет». Побледнел мудрый Соломон, услышав это. «Ибо Сказано: устами ничтожного аллах сообщает свою волю великим», — сказал муравей и уполз восвояси. Если уж от самого Соломона отвернулось счастье, то что говорить о других. Но, лишившись счастья, он ведь не лишился славы. И потому не следует ли из этого, что счастье — призрачное благо брэнной жизни, а слава — достояние величия и вечности?

Разве славу Соломона сберегли до нынешних дней не все те же бедные дехкане безымянные труженики-муравьи, которым несть числа? И разве не они, не те же самые ничтожные, чьими устами аллах сообщает свою волю великим, воздают им славу и почести по всей земле? Не случайно любое деяние великих черни кажется исполненным смысла и значения. Ведь именно толпа вознесет тебя до небес, глядя на твои, недоступные ее разумению свершения. Скакун, на котором скачет слава, — людская молва. Пока нерасторопная истина в устах разумного взберется в седло, пустозвонная молва в устах горлопана уже поскачет, развевая полы, по низовьям и верховьям.

Пустобай, распространяющий молву, шалает от одного звона. Он воспринимает лишь грохот славы. И не станет надрывать глотку в надежде отведать от славы тихой и скромной. Главное: что бы ни делал, нужно делать так, чтобы удивить, ошеломить этого ничтожного маленького человечка. Ошеломленный, он не в состоянии отличить хорошее от плохого, добро от худа. Ну, вот, к примеру, идет впереди, тяжело переваливаясь, ногами-бревнами вспарывая хрусткую гладь

песчаных холмов, неуклюжий верзила слон, груженный золотом и драгоценностями поверженных южных стран, и тот, кому этот слон в диковинку, отнюдь не станет рассуждать, хорошее это животное или плохое. Глядя на его чудовищную громадность, несуразно длинный хобот, человек, вероятно, не испытывает в первый момент ни страха, ни ужаса, ни отвращения даже, а только и прежде всего — удивление.

Размеры твоих деяний — все равно во имя добра или зла — должны быть непременно больше, внушительней, чем в силах охватить их маленький глаз маленького человека. Малым твоим добром он так и так не удовольствуется, а за малое твое зло начнет тебя же ругать и склонять на все лады. Разобьешь кому-нибудь нос в кровь, тебя осудят и поднимут галдеж; если же утопишь в крови половину вселенной, тобой начнут восхищаться и говорить о тебе с благоговением и страхом.

Пока ты жив, старайся удивлять всех, кто тебя окружает. Те, кого ты сумел удивить при жизни, будут удивлены и после твоей смерти. И, прислушиваясь к их рассказам, начнут удивляться потом и те, кто тебя и в глаза не видел. Важно только сохранить кое-где приметы своей славы и верноподданных потомков — живой отголосок бывшего твоего могущества, которые не дадут угаснуть восторженной молве, подбрасывая изредка в костер легенды хворост воспоминаний.

Не всякому такое дано. Это удел избранных. Но тебе-то это вполне доступно, пока владеешь несметным богатством и держишь в руках тумены послушного войска. Только не прозевай своего часа, не дряхлей... И не обленись от пресыщения... Иначе уподобишься незадачливому любовнику неверной, похотливой бабенки: едва выскользнешь из ее опустошающих объятий, как на твое место уже метит другой, более удачливый и сильный. Таков он, тот лживый, изменчивый мир. Разве сам ты не достиг могущества и славы, ловко воспользовавшись слабинкой других? Теперь старайся, чтобы они ни за что не догадались о твоей слабости... Пусть о том знает всевышний. И только.

Один всевышний... Да-а... ранее, бывало, возвращаясь победой, он не ломал себе голову, размышляя обо всем. Мысли сохранялись в глубокой тайне, в самом закоулке сердца. И оберегал он ее, эту сокровенную тайну, не только от чужих, словно какую-нибудь святыню, которую хранят в потайном местечке за семью замками, но и

от самого себя, подальше, в глубине души, радуясь тому, что она всегда при нем, и одновременно боясь даже лишней раз о ней подумать.

Тогда зачем, по какой причине вдруг всколыхнулось, всплыло наверх все сокровенное, много раз передуманное до мелочей, взвешенное до крупницы, тщательно оберегаемое от всех живых? Зачем он вновь и вновь, жует свою жвачку, давясь отрыжкой, словно старый, шелудивый верблюд? Ведь если уж хранить тайну тайн своих, то следует ее хранить, как верную дамасскую саблю. Если без толку размахивать ею, не мудрено ненароком и выронить из рук. А, став добычей врага, твоя сабля тебя же и обезглавит.

Потому-то он и не позволял себе передумывать то, было им однажды решено. А сегодня с ним творилось что-то непонятное. Прежде, как бы он ни уставал от изнурительных походов, в душе не чувствовал подобного смятения. Или, может, его вконец истомила многодневная свирепая буря великой пустыни, особенно опасная в эту пору — на стыке зимы и весны?.. С чего бы это? Ведь немало стран покорено, немало тронов опрокинуто. Он наконец-то на этот раз свел счеты и в прах разнес двух давних, коварных, немало крови ему попортивших соперников, не говоря уже о карликовых правителях, которых без труда поработил попутно.

Раньше, глядя на то, как падали к его ногам чужие короны, он испытывал сладостное и грозное удовлетворение. На этот раз все в нем точно онемело. Может, причиной тому непрощеная, незваная гостья — старость, подстерегающая его с некоторых пор на каждом шагу? Она, пожалуй, похуже любого врага. Ее никаким войском не одолеешь. И сабля не берет, и златом не откупишься, и хитростью не упредишь. Она, словно кровный твой враг, незаметно берет в осаду и не обрушивается врасплох, а изводит, изморит постепенно, подтачивая силу и веру, вселяя тайный страх.

И вот теперь она же, старость, крепко напоминает, что дальние и долгие походы отныне не для него.

И, думая об этом, он почувствовал, как сердце точно каленой иглой кольнуло.

Когда-то, давным-давно, добившись трона и короны, он ясно понял, что, покоряя одного за другим своих бесчисленных врагов, проведет свою жизнь не на золотом троне, а в походном седле.

Так оно и случилось. Так он и жил до сих пор. Многие народы и страны покорил. В краях, доступных копытам коней, осталась неподвластной ему лишь одна-единственная страна. Народу в ней видимо-невидимо, как муравьев в муравейнике, и, должно быть, потому не трепещут перед ним, как другие. Более того, время от времени подсылают к нему своих редкобородых, узкоглазых послов, и они, то угодливо припадают к его стопам, то горделиво-полусонно взирают на него, важно плетут словеса с подчеркнутым достоинством на каменно-непроницаемых лицах. Давно на них он точит зуб, но, кажется, пробил час судьбы, дошел и до них черед. Остальные три стороны света он подмял под себя, да так, что не поднять им больше головы. И потому, чтобы в будущих походах не думать о покоренных уже странах и не тратить силы на подавление возможных мятежей, он приказал заблаговременно истребить поголовно всех побежденных воинов. Теперь уж можно не оглядываться.

Сейчас и победоносное войско его, сокрушившее немало врагов и наводящее ужас на чужеземцев, как никогда в славе и силе. И пока оно не растеряло грозного воинского духа, он намерен после недолгой передышки вновь отправиться в далекий поход.

По пути он пополнил свое войско успевшими подрасти воинами ранее покоренных стран. Песок повизгивал, шуршал под копытами тысяч и тысяч коней, голубые копья, оцетинившись, сверкали в лучах солнца, из барханов и дюн все шли-текли, словно черные тучи из-за ущелий, грозные тумены, и казалось, не из похода возвращается великое войско, а, наоборот, выступает в кровавых поход. Воины веселы, бодры, точно джигиты после жарких девичьих объятий. Боевые знамена и бунчуки сотников и темников горделиво развевались на пустынном ветру.

И лишь по тяжело навьюченным караванам и по множеству рабов, закованных в кандалы, и пленниц можно было догадаться, что войско возвращается из победного похода. Да-а, что бы там ни было, он решил вступить в столичный город всем войском, многочисленным, как комариная туча. Пусть народ лицезрит своего властелина, завоевавшего три стороны света, во всем могуществе и блеске, пусть полюбуется его мощью, шалея от гордости и спеси...

Вдали над белым песчаным холмом Повелитель неожиданно увидел странный силуэт, похожий на тонкий шест. Он был голубее

самого прозрачного неба и впивался своим острием в окутанный дымкой марева горизонт. Пораженный властелин хотел, было позвать немедленно провидца из свиты, чтобы узнать, не божий ли то знак, но, заметив, что шест все явственнее обозначался на фоне неба, обретая темно-синюю окраску, решил повременить.

Наконец-то кончились могучие барханы и дюны, и пошли мелкие, разрозненные холмики. Чувствовалось, что пустыня на исходе и скоро нога коснется желанной тверди. Все чаще попадались островки с чахлыми кустиками.

Когда песчаные увалы остались позади, горизонт, зажатый ими, вдруг сразу раздвинулся, расширился.

И вместе с горизонтом, по-весеннему зыбким, смутным, с просинью, медленно, по-кошачьи, отступавшим назад, туда, к неотвратимо удалявшимся, точно в страхе от несметного полчища, барханам, отодвигался, уплывал и таинственный голубеющий шест.

Вот тумены обогнули дикие заросли саксаула и жузгена, поднялись на суглинистый перевал и выбрались на твердь долгожданного плоскогорья. Впереди, далеко-далеко, в дымчатом мареве дрожала, зыбилась гряда пестрых гор.

Еще некоторое время спустя в урочище, значительно ближе от пестроголовых гор, в сплошной дымке, показались силуэты больших и малых строений. Голубой шест особняком, загадочно завис над ними, постепенно погружаясь в густую синеву неба.

Вскоре четко вырисовался город в долине. Точно выплыл из голубого марева войску навстречу со своими голубыми, будто воздушно-невесомыми, минаретами. Прямой как стрела голубой шест, упиравшийся вершиной в небо, обернулся — и Повелитель увидел теперь это ясно — величественной башней. Раньше ее не было в его столице. Стройная, округлая, чем ближе, тем причудливей переливавшаяся всеми красками башня напоминала молодую, нежную женщину в голубом шелковом платье, истосковавшуюся по далекому, измученному дорогой возлюбленному и машущую ему рукой. Здесь, на равнине, широко раскинувшейся во впадине, земля обрела вдруг рыжеватый оттенок. Вокруг — то здесь, то там — шевелились, суетились крохотные черные точки. Весна властно преобразила ровное поле в окрестностях города. Многочисленные сохи, запряженные лошадьми, волами, а то и людьми, вспарывали,

бороздили упругую, с едва заметным, еще блеклым покровом пашню, будто вырезали тесьму на могучем теле земли. На равнине за городом войско, под которым стонала и прогибалась земля, в честь возвращения с победой двинулось торжественным строем. В первых рядах, натянув до звона тетиву, шли лучники; за ними, грозно вскинув стальные сабли и острые копыя, — сабельные и копыеносцы. Дальше, гремя кандалами, тащились пленники-рабы и брели тяжело груженные добычей караваны верблюдов. За караваном, покорно опустив головы, прошли юные красавицы, пленницы из разных племен и народов.

И лишь в конце, замыкая шествие, в окружении десяти тысяч верных нукеров, проплыла под тягучий рык кернаев ханская повозка.

Караульные отряды, обступив торжественный строй с двух сторон, сопровождали войско до главных городских ворот. Поля, вспаханные под бахчу, хлопчатник, овощи, перешли вскоре в тщательно ухоженные фруктовые сады. На деревьях недавно, видно, лопнули клейкие почки. Все вокруг точно в сиренево-белых прозрачных платяцах. Под раскидистыми ветвями виднелись бурые глиняные дувалы вокруг маленьких дворишков. Здесь начиналась окраина города. На широких лавках, протянувшихся по обе стороны улиц, сверкал, сиял, переливался, притягивая неволью взор, диковинный товар со всех концов света — китайские шелка, драгоценности, изделия из золота и серебра, сукно, замша, дубленая кожа, меха, пушнина, всякая утварь, поделки; в воздухе плыл густой, пряный дух сушеного урюка, сочной, крепко поперченной самсы, сладкого и жирного, паром исходившего плова, хрустко поджаренного на саксаульных углях кебаба.

Неожиданно кончились сады, окутанные дымчатой кисеей, все плотнее, выше становились дувалы и все многолюдней улицы. Едва головные части войска хлынули в город, точно пенистый резвый ручей — мутную лужу, как за крепостной стеной на холме, опоясанном глубоким рвом с водой, зычно затрубили кернами. И тут же откликнулись в ответ разом все кернаисты под поисковыми знаменами и бунчуками, и посыпалась оглушительная дробь походных барабанов — даулпазов. От раскатисто-ликующего гула, взметнувшегося над городом со всех минаретов и круглых куполов, от утробного рева тысячи надрывавшихся кернаев и мощного цокота несметных копыт задрожала, застонала земля.

Жители столицы, потрясенные невиданным зрелищем, пугливо озираясь на сурово ощетинившиеся копья, смотрели во все глаза с дувалов, из щелей и окон на торжественное шествие победителей.

Все внимание Повелителя было поглощено новым минаретом, вызывающе гордо устремившимся к бескрайней шире неба...

Пир в честь победы и окончания похода длился два месяца. Шумная, многолюдная равнина после торжеств сразу же опустела. Столичный город вернулся к обыденной привычной жизни. Народ казался бодрым, оживленным после длительного отдыха, веселья и гульбы.

И только одного Повелителя усталость не покидала.

На другой день после окончания пира он перебрался в тихий загородный дворец на вершине холма, окруженный тенистым, недоступным солнцу и зною садом. По величию и богатому убранству дворец не уступал другим, однако в нем Повелитель никого не принимал. И сад на холме запущенный, дикий, как и все непроходимые леса вокруг урочища. В нем обитали косули-елики, водились павлины, фазаны, и не были они прирученными, как в других садах. В этом дворце Повелитель не устраивал пиров и не принимал послов. Он предпочитал уединенную прогулку по саду, куда пробирался по мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Гулял он один, без свиты, без спутника. В сад вообще никто не допускался, кроме членов ханской семьи. Но и они не осмеливались приходить сюда без личного его позволения. По воле Повелителя, бывало, привозили к нему маленьких внуков, с которыми он весь день проводил в саду, а вечером, посадив их в повозку, отправлял назад к Старшей Ханше.

На этот раз он и за внуками не посылал. Старшая Ханша через гонца передала просьбу поговорить по одному неотложному делу, но хан и его не принял, передав, что ему сейчас не до разговоров. Долгий, нелегкий поход и двухмесячное разгульное пиршество вконец утомили его. Никого не хотелось сейчас видеть.

Он забирался в укромный прохладный уголок сада и подолгу сидел на валунах у звонкого, говорливого родника. Только вот здесь, на крохотном клочке земли, рядом с вечным родником, он не чувствовал себя могущественным властелином. Здесь он мог не повелевать, и были ему непослушны, неподвластны и неустанно журчавший

прозрачный родник, и бесчисленные птахи, безмятежно щебетавшие в густой зеленой листве, и лупоглазые стрекозы, трепетавшие тонюсенькими крылышками над самой водой. Здесь никто его не боялся. Пожалуй, одни только чуткие косули, невзначай наткнувшись на него, ошалело мчались прочь в густые заросли. Но пугались они его не потому, что был он властелином, а лишь потому, что принадлежал к многочисленному недоброму племени двуногих.

Когда он направлялся к любимому роднику, вооруженные телохранители и дворцовые слуги, избегая с ним встречи, мгновенно убирались восвояси.

Часами в глубокой задумчивости сиживал Повелитель возле одинокого родника. Здесь вызревало окончательное решение о далеких и опасных походах. Здесь на сонной поляночке, в райском уголке, под переливчатый говорок ручейка, решались судьбы тронов и коронованных владык.

Мысли роились в голове Повелителя, текли непрерывной вереницей, как эта родниковая вода, сочившаяся из глубины земли. Но вода текла ровно, размеренно по одному и тому же извечному руслу, а мысли Повелителя, едва зародившись в глубине души, неизменно путались, метались, растекались беспорядочными ручейками во все стороны.

Вот и сегодня он пришел к роднику, чтобы обстоятельно обдумать предстоящий вскорости нелегкий поход, но думы нежданно-негаданно набрали на загадочный случай с яблоком. Красное наливное яблоко, с едва заметным, тоненьким надрезом сбоку он вернул вчера, не дотронувшись, а сегодня во время трапезы служанка вновь поднесла его на золотом подносе.

Он его сразу узнал среди других яблок, схватил и разломил: из середины, извиваясь, выполз червь. Он не имел привычки выказывать гнев перед слугами. Положил яблоко обратно, будто ничего не заметил.

Служанка убрала поднос. Повелитель сурово сдвинул брови, но сделал вид, что прощает оплошность прислуги, подавил нарастающую ярость.

Он устремил все подмечающий, сверлящий взгляд на Служанку, но не усмотрел в ее движениях, походке ни ген и робости или

смущения, кроме того, что она чуть-чуть прикусила нижнюю тонкую губу.

Но разве не все служанки испокон веку прикусывают губы и заученно улыбаются, выказывая подобострастие перед властелином? Выходит, эта, что унесла сейчас с ханского стола червивое яблоко, не почувствовала никакой вины перед ним? Или, занятая делом, ставя и убирая посуду с яствами, она и впрямь ничего не видела? Но... подмечать, ловить каждое движение из лице Повелителя и удовлетворять любую его прихоть разве не обязанность челяди? Однако ведь может быть и так, что поджатые губы служанок не просто дань вежливости или учтивости, а искреннее смущение перед мужчиной-повелителем? Теряются же перед ним, испытывая невольный трепет, не только слуги, но и визири, полководцы и даже родные дети. Что уж говорить о бедной, беззащитной Женщине? Она не то что за выражением лица Повелителя, а за собственными поступками от страха не уследит. Где уж ей все вокруг подмечать?..

Порой Повелитель поневоле поражался непонятливости своих приближенных, тому, что их разумению оказывались недоступными самые простые вещи. Потом, размышляя об этом наедине с собой, приходил к выводу, что поражается напрасно. Ведь ему-то легко: у него нет необходимости кому-либо угождать или стараться понравиться, а его подчиненным, угодливо лоящим каждое его слово, постоянно смотрящим ему в рот, следящим за каждым движением бровей, не мудрено, разумеется, споткнуться на ровном месте.

Во время беседы с приближенными он искусно заставлял их высказываться без утайки, а сам между тем лишь молча слушал. Даже не перебивал собеседника. И тот чувствовал себя робким учеником, плохо выучившим урок, перед строгим, педантичным до угрюмости наставником. Повелитель, точно окаменев, смотрел собеседнику в глаза, не выказывая ни единым движением своего осуждения или одобрения. Не простое искусство — умение слушать. Иной верткий, пронырливый льстец, угадав настроение Повелителя, начинает ловчить, подстраиваться, подлаживаться, как заурядная шлюха, скрывая свои подлинные мысли и побуждения. А Повелителю совершенно ни к чему, чтобы его подчиненные что-то утаивали, скрывали. Ему выгоднее, чтобы перед ним все выворачивали наизнанку свои душонки, с покорностью выкладывали все свои

тайные тайны. Ибо в подвластном ему мире только один-единственный человек имеет право на какие-то тайны — большие и малые, все равно. Это он сам, властелин! А всем остальным, готовым ради него пролить кровь и пожертвовать жизнью, какой смысл иметь еще какие-либо секреты?! Да, да... он должен, обязан знать, что думает и делает каждый, кто находится под его властью. Нет покоя его душе, пока он не визнает до донышка все, что в сердце и помыслах приближенных. Здравый человек не садится на коня, чьи повадки ему не знакомы. Точно так же неразумно окружать себя людьми, которые не отвечают за свои слова и поступки, не знают своих возможностей и не ведают, где свернут себе шею. К тому же следует помнить, что твоя тайна, пока она при тебе, — твое оружие, но с того дня, как ты однажды кому-то ее доверил, она уже оружие чужое. И Повелитель искони стремился прежде всего обезоружить своих приближенных, раз и навсегда лишив их сокровенной тайны. Потому в беседе он позволяет им говорить свободно, без стеснения, без оглядки. Боже упаси, чтобы он обрывал чью-нибудь речь неуместным словом. Наоборот, прикидывался незнающим, задавал нарочито наивные вопросы. И тогда собеседник, не чувствуя подвоха, с долей приятного превосходства отмечал про себя, что всемогущий и всевидящий властелин не такой уж всемогущий и всевидящий, как о нем говорят, коли не догадывается о простых вещах, и начинал с детским простодушием и откровенностью выкладывать все подробности, о которых еще минуту назад был склонен умолчать.

Таким образом, заставив собеседника распахнуть перед ним душу до последнего закоулочка, вызвав его на чистосердечную исповедь, Повелитель потом без сострадания давал понять, что он отнюдь не такой простак, как тому, собеседнику, на мгновение почудилось, что он, как истинный провидец, наделенный к тому же верховной властью, все-все знал и видел давным-давно. Бедняга, пустившийся в откровенность, тут спохватывается и подавленно умолкает, вдруг сразу ощутив всю пропасть своего ничтожества. После этого он становится покорным, послушным, точно годовалый верблюжонок, которому пробили ноздрю, чтобы было сподручней вести его на поводу...

В конечном счете, разве не в этом заключается превосходство всех владык, всех сильных мира над остальным людом — в том, что, имея власть выведать тайну каждого, они сами никого в свою тайну не

посвящают и никогда о ней не разглашают? Ведь с самого сотворения мира, когда и где бывало, чтобы кто-то осмеливался выпрашивать тайну самого правителя?

Властелин должен быть не только немногословным, ни и уши свои он не позволит осквернять какими-либо недостойными слухами. Если он опустился до чьих-либо нашептываний, то уж поистине впору снять с головы золотую корону и поставить ее плевательницей перед сплетником с поганим хайлом.

Тех, кто охотно и подленько наговаривал на других, он ненавидел люто, точно бешеных собак. Кое-кто из неисправимых холуев, тайком сообщавших ему, что о нем говорят за глаза, нашел успокоение на виселице. С тех пор никто не совался к нему с подозрительными слухами. Визири и родные сыновья без его просьбы или поручения никогда ни о ком не заикались. Чрезвычайной важности события сообщались ему — с ведома и согласия членов его семьи или высокопоставленных служителей дворца — только предсказателями из личной свиты. При этом недобрая весть доводилась до него намеками. И если ему требовалось знать все подробности, скрывающиеся за иносказанием, он вызывал к себе гадалей и приказывал истолковать донесение. Те известную им недобрую весть тоже не сообщали, открыто, а преподносили лишь разные ее толкования, которые он мог понимать, как ему угодно было. На основе намеков и их толкований Повелитель сам выносил решение и определял меру наказания виновнику. Находить истинную суть каждого иносказания, а также единственно правильный выход из создавшегося положения и точно определить степень вины — нелегкое занятие даже для властелина. Ибо, как нигде больше, здесь всякая поспешность и очевидная всем несправедливость, несомненно, наносят непоправимый урон даже безмерному ханскому престижу. И в этом вопросе он свято придерживался своего излюбленного правила: «При любой напасти опасайся тупика, на всякий случай всегда оставляй себе лазейку». Он стремился не связывать самому себе руки. Известно, что жалобы и сплетни чаще всего касаются отдельных личностей. Повелитель, способный без угрызения совести утопить в крови тысячи людей и уложить на поле брани тысячи воинов, однако крайне осторожен и щепетилен в вынесении приговора одному человеку. В этом сказывается одна из кощунственных несуразностей презренного

бытия. В самом деле, в бою, чем больше загубишь невинных душ, чем больше перебьешь воинов-сыновей, взлелеянных горемычными матерями, — тем громче слава предводителя-хана, и — наоборот — малейшая несправедливость, допущенная им в мирной жизни хотя бы в отношении к последнему нищему, накладывает несмываемое пятно на его честь. Милость, милосердие, проявленные повелителем к какому-нибудь ничтожному смерду, способны вытравить из сознания толпы жуткую славу кровопийцы, повинного в гибели тысяч и тысяч невинных, и посеять молву о мудром, человечном и справедливом хане — таком справедливом, что может мечом правосудия, как говорится, повдоль рассечь волосок.

В этом он окончательно убедился много лет назад во время южного похода.

...После многомесячного изнурительного пути войско остановилось на широкий равнине неподалеку от чужестранной столицы на берегу могучей реки, по которой с рокотом катились гривастые волны. На противоположной стороне копошились голоногие, до блеска загоревшие дехкане. Они цепочкой шли по пахоте и что-то сеяли. Долину подковообразно окружали горы. По склонам густо росли смешанные леса. Оттуда, за рекой, со стороны гор, струились густые, вязкие запахи наливавшихся соком фруктов, от которых приятно кружилась голова.

Запестрели шатры по всей равнине. Затрубили кернаи, рассыпалась раскатистая дробь походных барабанов. Погруженные и ленивую дрему равнина и горы точно ожили и откликнулись гулким, многократным эхом. Из курчавых зарослей тугая ошалело выскочили лоси и косули понеслись в открытую степь. Разом и со всех сторон со свистом полетели им вдогонку тучи стрел. Несметное войско мигом раздобыло себе мясо. Дехкане на том берегу разбежались врассыпную, побросав пашню деревянные сохи, мотыги, кетмени, мешки с семенами. Но ни одна стрела не полетела им вслед.

Топот, треск все явственнее доносились со склонов встревоженные звери косяками пробирались сквозь непроходимые заросли тугаев в безопасные ущелья за увалами.

Воины нарубили дров, натаскали на холмы хворост. И когда опустилась черная южная ночь, по всем склонам и увалам ярко

вспыхнули бесчисленные костры. Казалось, все звезды с летнего неба спустились на землю. Черный горизонт зловеще полыхал зарницами.

И на следующий день воины отдыхали на зеленой равнине. И опять наступила ночь. И вновь запылали костры, охватив пожаром все окрестности. Костров было больше, чем звезд на небе, и жители осажденного города перепугались насмерть. Уже на третий день ранним утром они толпами вышли из крепости, сдаваясь врагу на милость.

Повелитель приказал не допускать беженцев к равнине, где расположилось войско, а загнать на узкий длинный мыс между цепью гор и буйной рекой. Потом, решил про себя, когда враг начнет метать камни из камнеметов, пи погонит их против своих же в первых рядах.

В тот же день после обеда старший сын Повелителя, не утаив страха, заявил с порога:

— Их уже почти сто тысяч!

— К вечеру беженцев станет больше, чем наших воинов, — высказал опасение кто-то из эмиров.

Полководцы, сидевшие чинным рядом по обе стороны золотистого шатра, переглянулись. Повелитель сразу догадался о сомнениях, закравшихся при этой вести в души его военачальников. Серолицый хазрет, положив увесистый, в кожаном переплете коран на серебряную подставку и отрешенно перебирая коралловые четки, деревянным голосом изрек:

— Уа, мой Повелитель! Да будет вам известно, что истребление богомерзкого племени иноверцев, погрязших в пороках, пакостях, есть очищение души во имя аллаха. Я, покорный слуга всемогущего творца, готов собственноручно перерезать им глотки. Если мы их сейчас, еще до наступления ночи, не перерубим поголовно, совершим роковую ошибку.

Старший сын и главный визирь в два голоса поддержали святого хазрета.

— Да, да, ошибка может стать роковой.

Хазрет говорит истину.

После полудня огромное войско двинулось к мысу. Беженцы нестройно приветствовали его. Лучинки вышли вперед и встали цепью. Через мгновение туча стрел обрушилась на безоружную толпу. Истошные вопли взметнулись к ясному и равнодушному небу;

страшный вой, стоны, крики, визг прокатились эхом по ущельям, и река тоже, точно обезумев, загрохотала еще яростней. Крайние ряды беженцев падали, будто скошенные. Кольцо лучников сжималось все плотнее. Живые, защищаясь, спешно складывали мертвых штабелями, сооружали укрытие. И тут в побоище ринулись копьеносцы...

Вскоре был смят непрочный заслон из трупов, и тогда над головами обреченных засверкали сабли. Сам святой хазрет, не порешивший в жизни даже паршивого ягненка, не удержался от соблазна: ринулся, размахивая сабелькой, на безоружных иноверцев.

Беженцы сопротивлялись, как львы. Никто уже не вопил от страха и ужаса, никто уже не молил о пощаде; охваченные безумной яростью, кто отбивался кулаками, кто впивался зубами в глотку насильника, кто, уже падая, цеплялся за ноги. Скрежет зубов, свист сабель, гулкие удары кулаков, предсмертный хрип, стоны — все перемешалось, сливаясь в гул побоища.

К закату дня беженцы на узком перешейке были истреблены до последнего человека. Бредя по щиколотку в крови, воины сложили трупы штабелями и подожгли их. Всю ночь пылали зловещие костры, распространяя зловонный чад, и аспидно-черное низкое небо чудилось закопченным дном гигантского котла, в котором на том свете поджаривают грешников.

На следующий день, совершив утренний намаз, Повелитель вызвал белобородого хазрета почитать священную книгу. Хазрет гнусаво-монотонным голосом нараспев прочитал суру и истолковал ее как доброе предзнаменование, благословляющее предстоящую битву — газават веру во имя всемогущего. По его словам выходило, что аллах создал иноверцев низкородными, презренными рабами, а правоверных — избранниками судьбы, достойными радости, наслаждений и счастья на том и этом свете, и потому им, обласканным самим пророком, предоставляется право безнаказанно вытравлять человеческую нечисть, Благочестивый хазрет, воздев руки, благословил священный газават: да водрузится над страной гяуров зеленое знамя пайгамбара-пророка. Повелитель переправил войско на противоположный берег буйной реки. Он сам сел на коня, определил левый и правый фланги, ударную группу, резервные полки, объехал войско перед приступом.

Противник выставил конницу и двадцать тысяч сабель, тридцать тысяч пеших воинов и сто двадцать боевых слонов. Связанные друг с другом, слоны выстроились в ряд. К спине каждого был пристегнут открытый паланкин, в котором сидело по шесть метких лучников. Между слонами специальном устройстве громоздились камнеметы и огнеметы, изрыгавшие пламя. Рядом с огромными и неповоротливыми слонами ханские воины на малорослых гривастых конях казались смешными и беспомощными.

На равнине медленно сходились две армии. И когда головные части уже сошлись лоб в лоб, Повелитель поднялся на холм в середине войска, расстелил молитвенный коврик и, обратив лицо в сторону священной Мекки, сотворил намаз.

Бормоча заученные слова молитвы, он покосился краешком глаза на поле брани и увидел, что передовые части его войска понемногу, по-кошачьи отступают под градом камней и неумолимым натиском боевых слонов.

Повелитель встал, свернул молитвенный коврик и распорядился немедля бросить на фланги отборные полки из резервной части. Неприятель, увлекшись наступлением по центру, не заметил, как его с двух сторон стремительно сжимают в тиски. Застигнутые врасплох фланги начали лихорадочно перестраиваться на ходу, готовясь к отпору, а головная часть, ведомая боевыми слонами, все глубже увязала в ловушке. Вскоре фланги оказались отрезанными от центра, и сто двадцать боевых слонов очутились сразу в окружении. Неприятель отчаянно бился, старался сомкнуть ряды, вырваться из тисков, но было уже поздно. Силы его иссякали с каждым мгновением.

Лучники теперь легко сбили стрелков на паланкинах. Разъяренные воины, обнажив клинки, набрасывались на слонов. Громадные, неуклюжие животные, связанные к тому же между собой, сбились в круг, беспомощно перебирали толстыми ногами, подставляя крутые бока под пики и сабли неприятеля. Оказалось, боевые слоны страшны лишь с виду. Даже четырнадцатилетний внук властелина захватил одного слона и привел его на поводу к грозному деду. Приятно пораженный храбростью внука властелин обнюхал ему лоб.

К тому времени воины успели порубить врага, очутившегося в кольце. Все поле было усеяно трупами. Кони спотыкались о них,

косили глазами, испуганно пофыркивали.

Победители, точно ошалев от крови и предчувствия богатой добычи, ринулись лавиной в раскрытые настежь городские ворота.

И пока Повелитель отдыхал в богатом дворце поверженного противника, его воины, разнуздавшись, чинили разбой и насилие.

Дикий грабеж продолжался две недели. За это время и похоть потешили, и корджуны добром набили. У иных награбленное имущество на двух лошадях не умещалось. Некоторые гнали перед собой до ста рабов и рабынь. Повелитель еще раз убедился, что алчности человеческой нет предела.

Особенно поразил его тогда один случай. Однажды, проезжая в сопровождении свиты по центру захваченного города, он натолкнулся среди бела дня на драку. В стороне стояла пара лошадей, а рядом — десяток пленных, мужчин и женщин, в наручниках и связанных между собой. Драчуны дубасили друг друга с такой яростью и увлечением, что не заметили подъехавшего Повелителя. Узкоглазый, поджарый, чернолицый вцепился обеими руками в горло молодого, пышноусого крепыша-слепца. Узкоглазый был пьян, голова его под ударами слепца моталась во все стороны, словно ботало на шее ишака. Однако хваткие руки не отпускали жертву.

Унизительная сцена вывела Повелителя из себя. Теряя самообладание, он выскочил из повозки, кинулся к драчунам и с размаха ударил саблей узкоглазого по правому плечу. Тот, охнув, мешком плюхнулся оземь. Почувствовав нежданную помощь, слепец ухватил подол Повелителя.

— О, кто вы, мой избавитель, добрый, милостивый человек?! Единственная память осталась от матери — бриллиантовое ожерелье. Буду молиться за вас, назовите свое имя...

— Имя мое после узнаешь. А тебе скажу: если бы каждый дрался так истово, никто бы не мог вас победить. Ты истинный воин, слепец!

Повелитель приказал отобрать у узкоглазого корджун, набитый драгоценностями, и высыпать их на голову слепца. Пленников, стоявших связанными и стороне, отпустил тоже.

— О, аллах! — все восторгался, выстанывал слепец. — Кто это — сей великий из великих, справедливый из справедливых?

— Сам непобедимый Повелитель, — ответил кто-то из свиты.

С тех пор, в какой бы город и в какую бы страну он ни вступал, его всюду и неизменно опережала легконогая молва-слава не о сотнях тысяч невинно загубленных, а о несчастном слепце, которого защитил от грабителя добрый и справедливый Повелитель. С тех пор он дал себе зарок, что отныне облагодетельствует каждого смертного, чья мольба дойдет до него.

Именно тогда, после этого случая, Повелитель, вернувшись из похода, издал приказ обезглавить каждого, кто клеветает на ближнего.

Поэтому и поныне никто не осмелится приходить к нему с жалобой или наветом, ибо если выяснится ложь, шептуну не сносить головы. Подлую беду, которую Повелитель обязан знать, сообщают ему только предсказатели, шейх и дервиши, и то лишь осторожными намеками.

Не исключено, что и красное наливное яблоко, поднесенное ему на подносе, определенный намек. Но что может означать червь, выползший из сердцевины? Опасность, нависшую над ним? Однако кто и что может угрожать ему в своей стране, на своей земле?! Поблизости не осталось ни одного достойного врага, способного посягнуть на его могущество. Чванливому и коварному послу с востока он сам дал понять, что скоро двинется на них с копьем и мечом, и дабы тот собственными глазами убедился в мощи и боевитости ханского войска, продержал его два месяца на пиру и ристалище и лишь потом отпустил домой. Пусть расскажет там, с кем предстоит иметь дело. Пока он доберется, здесь ханские тумены же оседлают боевых коней.

Вчера Повелитель беседовал с лазутчиками и сыщиками, разосланными по всем улусам под маской бродяг-дервишей и юродивых-дивана. По сведениям в окрестностях царит порядок и благодать, и никакая опасность ниоткуда не угрожает.

В самых отдаленных уголках и на больших караванных дорогах вдоль границ он содержит многотысячную тайную армию осведомителей среди дервишей, купцов, пастухов, погонщиков, но и они не ведают о каком-либо мятежном духе.

От сборщиков налогов и податей, наместников городов, тайных агентов и соглядатаев, расставленных повсюду, тоже не поступило тревожных сведений.

Так зачем подобным образом понадобилось намекать на какие-то неурядицы в дальних, за тридевять земель краях?.. Неужели, пока он находился в далеком походе, здесь, в его дворце, что-нибудь случилось?

Каждого из приближенных, кого Повелитель подозревал хоть в чем-нибудь, он старался — где бы ни находился — неотлучно держать при себе. В последний раз, зная, что поход продлится долго, он оставил во дворце главного визиря. Если тот запустил руку в казну, беда небольшая. Из-за этого вряд ли стоит прибегать к тайным намекам. Каждый раз перед походом и после возвращения Повелитель лично сам проверяет казну. Так что воровство, если оно и впрямь имело место, обнаружится само по себе. К тому же главный визирь — человек степенный и трезвый, которому в равной мере присущи ум и хитрость, вспыльчивость и самообладание. Не мог он проявить алчность и покушаться на ханскую казну. Разное поговаривали о главном визире, но Повелитель не придавал значения этим рассказам. Кому неведомо, что у государственных мужей недостатка в недругах не бывает...

На что же тогда намекает червивое яблоко?.. Родной очаг в сохранности, семья — в добром здравии. На пиру в честь победы присутствовали все. Немыслимо, чтобы, за что время что-то круто переменялось, и земля вдруг перевернулась вверх дном. Скорее всего, служанка допустила оплошность...

Но... заметив, что яблоко с червоточиной, его должны были просто-напросто выкинуть. Почему же его второй раз принесли на подносе? Выходит, это делалось сознательно, с умыслом. В чем тогда тайна? Может, немедля пригласить гадалея? И к сеиду^[1] своему он зашел после похода второпях. Не поговорили толком, по душам, как бывало прежде...

Повелитель сперва сам тщательно, не спеша, обдумывал свой сон или чье-нибудь иносказание, а потом уже прибегал к услугам предсказателей и толкователей. Итак, красное наливное яблоко с червяком в сердцевине... Это ведь, должно быть, намек не на злодейство, а на... измену, предательство. Да, да, поистине так! Но чья измена? Какое предательство?

Какой безумец в пору ханского всемогущества дерзнул на измену? Разве не на гибель обрекает себя тот, кто осмелился предать

властелина?

Он в уме перебрал всех предводителей войска. Ни у одного, по разумению Повелителя, не было сейчас причины-повода для такого шага. Посла очередного удачного похода — и особенно в канун новых — он щедро одаривал полководцев, с головы, до ног осыпая золотом. Так он поступил, присвоив себе несметные богатства южных стран. Так он поступил и после покорения земель, где заходит солнце. Не скупясь, роздал он огромную долю добычи верным предводителям и храбрым воинам. Ибо знал: благоразумно баловать их щедрыми подачками, воздавать сторицей за все заслуги. Тогда они с готовностью ринутся в любую кровавую бойню.

Лет десять тому назад, когда решалась судьба похода на южные страны, на верховном совете-диване возникли разногласия. Старший сын пылко настаивал на походе: «Если мы захватим золото того края, покорим весь мир!» Советчики и эмиры осторожничали: «Народу в тех краях больше, чем мух. Если мы их и одолеем, то потом сами растворимся в них. Они поглотят нас, как море песчинку. Потомки нашей родной язык забудут».

Тогда хан приказал раскрыть коран. Наткнулись на суру, гласившую: «О, великий пророк! Иди войной против иноверцев, истребляй без пощады нечестивцев!»

Золото южных стран переубедило боязливых ханских эмиров, выправило им, как говорится, искривившийся было рот. В том походе стало им ясно, что можно победить и покорить народы, если их даже больше навозных мух. Ну, а в стране, где восходит светило, богатства должны быть и вовсе без счета. Уж кто-кто, а его соплеменники, вкусившие соблазны земных благ, это прекрасно сознают.

Кто же именно теперь усомнился в удаче предстоящего похода?

Всякий раз на этом месте мысли Повелителя обрывались. Родник монотонно бормотал свой бесконечный сказ. Чуткая листва на высоких деревьях непостижимым образом улавливала дуновение в этом безветренном уголке и о чем-то перешептывалась. «Думай, думай», — казалось, советовали листья и родник.

В этом земном эдеме надеялся он найти отдохновение, но неугомонные сплетники — шуршащие листья и журчащий родник — назойливо нашептывали что-то, смущали душу, и раздосадованный

Повелитель встал и пошел по узкой тропинке. Она, извилистая, как сама ложь, повела его вновь ко дворцу.

Недавнюю дремотную садовую тишь вдруг словно ветром сдуло. Все вокруг наполнилось беспорядочными звуками. Белогрудые, с кулачок, синички заполошенно метались по веткам, верещали без умолку, раздувая зобы, будто им тоже не терпелось сообщить Повелителю важную весть.

По обочине дороги пронеслась дикая коза. Казалось, она с утра, затаившись, подстерегала Повелителя и теперь понеслась вовсе не с испугу, а поддразнивая его тугими гладкими ляжками.

Извилистая тропинка пролежала под урючиной. Перезрелые плоды, сорвавшись, усеяли землю. Прелый запах гнили струился в воздухе. Жирные зеленые мухи роились, кружились над кучей опавшего, истлевшего урюка, справляя обильную трапезу.

Что еще может быть противнее гниющих фруктов? Еще недавно это были девственно нежные, белые соцветия. Потом появилась завязь, плотная, темно-зеленая, гладкая. Ее лелеяла листва и бережно качало, баюкало кряжистое, раскидистое дерево. Она впитывала живительный сок, сосала солнечную грудь неба. Вот завязь обернулась плодом. Он заметно созрел, наливался, покрывался позолотой, маня взор своей красотой. И вот дозрел. А, перезрев, сорвался, начал подгнивать и стал добычей мерзких зеленых мух — суетливых спутниц тлена. Вот и все... Прелестен, пригож плод, пока красуется на ветвях... А сорвется с вышины — и превратится в прах, в позор и унижение как этот урюк, гниющий под ногами. Ни жалости, ни сострадания к нему не будет. Одно отвращение... Кому есть дело до того, что вчера еще это был прекрасный плод, даровавший прохладный сок и медовую сладость...

Создатель не наделял плоды на дереве разумом, достоинством, гордым желанием всегда и неизменно оказаться на высоте. А вот человеку доступна простая истина: падение с вышины, куда так долго и упорно лез, — смерть. И потому владыка, подстерегаемый злорадством и завистью врагов, постарается не падать, а взбираться все выше и выше.

Тропинка вывела его к мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Повелитель весь подобрался, посуровел; взгляд, затуманенный зыбкими думами, вновь обрел колючий, жесткий блеск. Холодный, неприступный, он вошел во дворец.

Когда служанка внесла обед, он — по-прежнему мрачный — восседал на широком возвышении, укрытом тигриной шкурой, у выложенного мозаикой хауза в середине зала.

Молодая служанка смущенно прикусила губу, точно невинная девочка на ложе у пожилого мужчины, и остановилась рядом. Маленький поднос поставила на круглый дастархан. Как бы старательно ни прикусывала она губы, однако на лице не было и намека на стыдливый румянец. Овальное лицо, густо покрытое пудрой, белело непроницаемо, длинные ресницы, не в меру насурьмленные, ловко прикрывали многоопытную осведомленность и подспудное упрямство, придавая лицу выражение лживой покорности и простодушия.

Обычно Повелитель не достаивал своих слуг взглядом, но на этот раз посмотрел пристально и ощупывающе. Служанка ничуть не оробела.

Что же получается? Неужели она до сих пор не обратила внимания на червивое яблоко? Неужели все еще ни о чем не догадывается? А если, допустим, ей все известно, как она может при этом не смущаться перед ним?

Нет, служанка и лицом не дрогнула. Накрыла, как положено, дастархан, сдержанно и учтиво поклонилась и, не полностью разгибая стан, неслышной, волнующей походкой, свойственной одному только женскому племени, направилась к выходу. Пышные чресла упруго подрагивали под яркой шелковой накидкой.

Лишь когда закрылась за нею дверь, он посмотрел на дастархан. Взгляд тут же споткнулся о красное наливное яблоко. На этот раз надрез был шире, заметней. Да и яблоко лежало чуть в сторонке, отдельно!

Ясно: служанка знает все!

Рука хана невольно потянулась к колокольчику под подушкой.

Тотчас в дверях показалась и поклонилась служанка.

Повелитель изо всех сил старался не поддаться приступу бешеного гнева. В злобе он даже не сразу смекнул, что хотел сказать покорно застывшей у порога служанке.

— Яблоко это... в здешнем саду сорвали?

— Нет, милостивый Повелитель, вам его прислала Великая Ханша.

— Ступай.

Служанка послушно повернулась, и он успел заметить легкую ухмылку в уголке прикушенных губ...

...Скользкая ухмылка, мелькнувшая в уголке тонких губ служанки, мерещилась теперь ему и на поверхности мерно журчащего родника. Вода, робко сочась из груди земли, образовала ручеек, и по нему изредка пробегала легкая зыбь, точно чистая улыбка младенца. Даже в серебристо-нежном бульканье ручейка чудились ему искреннее сочувствие и печаль...

Отныне и этот укромный уголок, скрытый от пронырливого взора света, омрачен смятением неумного духа. Казалось, даже серый валун под Повелителем ворочался, выражая непокорность. Может, и трепетные листья на верхушках деревьев шепотом передавали друг другу тайну, которую тщетно все эти дни пытался разгадать Повелитель.

Раньше здесь, у родника, как-то сами по себе разрешались все его тревоги и сомнения, и просветлялась, оттаивала заскорузлая, очерствевшая от хлопот и дум душа. На этот раз облегчение не приходило.

«...прислала Великая Ханша...»

В последний поход он забрал с собой Старшую Ханшу и подросших внуков. Однако походная жизнь и лишения вскоре надоели им, и он — это было два года назад — отправил их обратно.

Весной, возвращаясь из длительного похода, он выслал вперед нарочного с доброй вестью, и тот, вернувшись в войско, ничего существенного не доложил.

Потом, до начала грандиозного пира в честь победы, он почти полтора месяца отдыхал во дворце старшей жены и внуков, находившемся в полдневном пути от столицы. И за это время Великая Ханша даже не заикалась о какой-либо напасти.

Ни тени досады или озабоченности на лице ханши не заметил он и во время пира. Как же следует понимать мог знак неблагополучия, поданный ему теперь? Выходит, если бы это произошло раньше, то с какой стати мчала она столько времени?

Сыновья часто навещали мать. Но ездили они во дворец ханши не потому, что были больше привязаны к матери, а потому, что тосковали по своим детям.

Может, сыновья что-нибудь натворили? Но... с какой стати стала бы вдруг жаловаться на них ханша? Ведь они беспрекословно подчиняются ее воле.

Повелитель заблаговременно позаботился о том, чтобы пресечь возможные распри между сыновьями. Неспроста говорится: о хуе не думаешь, добра не жди... Так вот, на случай, если всевышний призовет его к себе, Повелитель давно уже собственными устами объявил законного наследника. И у того пока не должно быть подлых намерений, Наоборот, может, братья против И. и ледника что-то замышляют? Однако и такое вроде исключено. Они ведь все единоутробные. Одной пуповиной связаны. Самый старший, рожденный от другой матери, остался наместником одной из покоренных южных стран. Остальные трое слишком молоды и еще не познали вкус власти. Что же тогда могло случиться?.. Или в канун далекого и опасного похода нашлись смутьяны, подло сбивающие ханских сыновей с праведного пути? Не мудрено. Ведь, встретившись с женами и детьми после семилетней разлуки, многие отнюдь не горят желанием вновь оседлать боевых коней и пуститься в неведомые края, где можно сложить голову. Зная это, Повелитель в последнем походе щедро одарил всех, кто отличился отвагой и верностью. Не поспешил ли он со своим даром? Не разумней ли было повременить? Не раздавать добычу, а только посулить?

Когда-то одному из своих эмиров он дал совет: «Насколько узки глаза у тюрков, настолько же скупа и алчна их душа. Единственный способ заставить служить их верой и правдой — тешить их глаза золотом, а душу — хвальбой. У других отними, а своих — подкупай».

Разве не этой мудрости следует он сам? Разве, завоевав много стран и отняв их золото, он не потратил его на подкуп своих приближенных? Иначе чем еще, кроме золота, можно вырвать из *бабьих* объятий этих обленившихся похотливых самцов, называемых мужчинами?

И чтобы ублажить их алчные души и заткнуть ненасытные глотки, он швырнул живоглотам добычу, а честолюбцам роздал чины. Пусть подавятся!

Казалось, все предусмотрено, и ничего не должно было случиться. Посла, прибывшего из страны, где восходит солнце, он не подпустил ни к своим эмирам и предводителям войск, ни к родным

сыновьям. Неужели тот пройдоха нашел-таки муравьиную лазейку в его искусно расставленных тенетах и сумел каким-то образом напакостить?

Да-а... как бы там ни было, знак тревоги подан неспроста. Ведь когда Великая Ханша прислала нарочного с просьбой поговорить по важному делу, он не принял его. Но ханша выказала явное нетерпение, с намеком передав красное червивое яблоко. Может, следует срочно вызвать всех сыновей? А вдруг кого-то из них и впрямь охватил бес единовластья? Тогда неожиданный и срочный вызов отца может только насторожить возжаждавшего высшей власти нечестивца и ускорить развязку его черных помыслов. Нет, нет, о срочном сборе сыновей сейчас не может быть и речи. Тут, видно, что-то другое. Если даже допустить, что кого-то из сыновей и поразила подлая страсть, то вряд ли раньше всех так встревожилась бы Великая Ханша, толкая в муках рожденное чадо под топор палача.

Между тем Великая Ханша оттолкнула от себя только старшего сына, рожденного от другой, покойной ныне жены. Ханша настояла на том, чтобы отослать его подальше, на край земли, наместником завоеванной страны.

По совету святого сеида она добилась того, что наследником трона был объявлен старший сын, рожденный от нее. Повелитель долго оттягивал решение о наследнике, потому что не хотел обидеть своего первенца, но тот — то ли боялся козней честолюбивых братьев, то ли пожалел отца, очутившегося меж двух огней, — сам вдруг отказался от наследного права и попросил только отправить его правителем южной страны.

И, вспоминая великодушный поступок своего любимого сына-первенца, Повелитель испытывал каждый раз неловкость, перемешанную с болью и жалостью, и как-то весь сникал, сжимался, точно от непомерной тяжести вины. Вот и сейчас, едва вспомнилось о старшем сыне, разом схлынули изнурившие его за эти дни сомнения и думы, и мысли вернулись к тем годам, полным мытарства и лишений.

Предки его до седьмого колена были предводителями войска. Прадед, к примеру, возглавлял войско старшего сына Великого Хана. Эта традиция по наследству от поколения к поколению дошла и до него. И он служил предводителем войска у эмира — престарелого правителя этого края. Старый эмир любил и почитал его пуще родного

сына. Выдал за него дочь. И когда тесть пал жертвой вражеских интриг, на трон его сел он.

В то время жители Двуречья разделялись на сорок племен, раздираемых смутой и междоусобицей. Все они были тогда подвластны потомкам Великого Хана, обитавшим за тридевять земель. Усевшись на трон, он первым делом попытался объединить множество мелких ханств. Каждому из кичливых ханов-марионеток было отправлено тайное послание: «Предлагаю объединиться и прогнать всех остальных. Управлять Двуречьем будем вдвоем». И от каждого от этих марионеток, шалеющих от неумолимого желания большей власти, он вскоре получил горячее согласие. Так он ловко подлил масло в костер и без того не затухающих распрей. Натравив друг против друга спесивых правителишек, он терпеливо выжидал в стороне, по-прежнему суля дружбу и помощь тому, кто наголову победит всех остальных.

В это время с огромным войском приближался сюда сам Верховный правитель. Узнав об этом, Он опередил всех соперников и первым встретил — с поклоном и почестями — Великого Хана. Руководила им при этом единственная цель: добиться признания и преимущества в глазах потомков великого Повелителя. Однако на этот раз судьба отвернулась от него: потомки Великого Хана почему-то не поверили ему, лишили его трона и вновь назначили предводителем местного войска. А позже пустили слух, что он замышляет покушение на своих правителей, и решили его умертвить. Но всевышний миловал: наказ об убийстве попал ему в руки. Он успел бежать. Несколько лет провел он в мытарствах, хоронясь в тех самых гибельных песках, по которым нынешней весной он возвратился с войском из похода. Вместе с женой, как затравленный, метался по барханам. На склонах бесчисленных дюн, на раскаленном песке остались их следы. Ноги, изнеженные теперь ворсистыми коврами и пуховыми подушками, были тогда иссечены колючками, изранены занозами. Те следы на песках давно уже стер ветер пустыни. Раны давно уже вылечило время. И о тех горестных днях он вспоминает теперь лишь при виде старшего сына или думая о нем. Потому он и дороже, роднее всех остальных сыновей. Не будь его, первенца, кто знает, достиг бы он нынешней славы и могущества.

Скитаясь в пустыне, находясь на грани жизни и смерти, он попался в лапы бека правителя какого-то племени, обитающего в песках. Вместе с женой швырнули его в темницу-зندان глубиной в сорок кулаш. В этот сырой затхлый колодец днем не проникал луч солнца, ночью — луч луны. Высоко-высоко над их головой, у узкого отверстия, слабо брезжил свет, точно насмехаясь над обреченными супругами. Изредка в колодец, склонившись, заглядывал страж, заслоня блеклый свет своей лохматой бараньей шапкой и ввергая пленников в густой мрак.

Тихо. Только изредка негромко, точно ржанье жеребенка, позванивали железные оковы на руках жены, когда она, измученная пронизывающей сыростью, ворочалась на дне зиндана.

Супруги все эти дни не проронили ни слова, будто не желая беречь изъедавшие душу раны от досады и гнева. Лишь время от времени тяжело вздыхали.

Так прошло сорок девять дней и ночей. Пятидесятая ночь выдалась лунной. Пленники заметили это по мерцающей белизне струящегося у отверстия света, похожего на отблеск серебряного подноса.

Молодая жена, с ожесточенным упрямством сносившая все муки в смрадном подземелье, вдруг забилась и беспомощно заскулила. Жар охватил ее тело. По лбу струился липкий пот. Закованный, он мог только подставить ей плечо. Надсадный плач-стон становился все громче. Неведомая боль, казалось, рвала ее на части, ломала кости, выматывала душу, и женщина, не зная, как унять, утишить эти адские муки, обезумев билась головой о глухие стены зиндана.

Потом... потом она вдруг обмякла, потеряв сознание. И в этот самый миг откуда-то прорвался — сначала тускло, как бы захлебываясь, потом вдруг во всю мощь — возмущенно-резкий, незнакомый крик, от которого у него зазвенело в ушах.

Молочно-белый свет над головой на мгновение погас и вновь забрезжил.

Тут же что-то, скользнув, упало ему на грудь. Он подбородком нащупал ключ, ухватил зубами их, изловчившись, отомкнул оковы на руках жены.

Она очнулась от крика и снова вся зашлась в знобной дрожи.

— Бери ключ — отомкни оковы! Живо! — прикрикнул он.

Она послушно зашарила вокруг.

— Быстрой! Ну!..

Раздирающий душу плач не умолкал.

Наконец ей удалось отомкнуть и снять оковы. Руки его коснулись чего-то скользкого, теплого. Ребенок, еще соединенный пуповиной с матерью, надрывался изо всех сил.

Он склонился к скрюченному тельцу, зубами перегрыз теплую пуповину и, вырвав у жены прядь волос, крепко перевязал ее.

Потом осторожно прижал беспомощное существо к груди, стараясь согреть его своим теплом, своим дыханием и, чувствуя, как оно доверчиво прикикло к нему, успокаиваясь, он вдруг ощутил неведомую, торжествующую радость, отчего сразу исчезли все напряжение, вся боль, унижение и горечь, выпавшие ему за последние месяцы.

Сперва он обвязал арканом жену и помог ей выбраться, потом, придерживая одной рукой ребенка, вылез сам. Чернобородому спасителю в мохнатой бараньей шапке он сунул, сорвав с шеи жены, яхонтовое ожерелье и, выхватив из его рук саблю, направился к шатру бека.

Сбежалась, услышав возню у зиндана, вооруженная стража, но, пораженная зрелищем, остановилась: босоногий, простоволосый мужчина решительно шел на них, держа в одной руке голенького ребенка, в другой — обнаженную стальную саблю.

У входа в шатер два привратника преградили ему дорогу, но сабля в руке пленника дважды ослепительно блеснула при свете луны. Так отбиваются плеткой от злых собак. На порог, обливаясь кровью, рухнули два трупа.

Ведя за собой жену, ворвался он к беку. Теперь бросились наперерез телохранители, Бек повел подбородком. Занесенные сабли послушно опустились.

Кто знает, что пришло в голову бека? Он приказал отвести пленников в отдельную юрту и содержать сорок дней — пока окрепнет новорожденный и очистится от скверны роженица. После этого срока, определенного самим шариатом, бек подарил супругам по скакуну и отпустил восвояси.

Позже, через много лет, когда он — с благословения аллаха — беспощадно расквитался со своими врагами и обидчиками и стал

единоличным правителем этого края, направил он свое тысячекопытное войско в пустыню, против того племени, чьим пленником был когда-то. Оставалась еще неделя пути, когда вдруг увидел на берегу бурной реки отряд: воины в мохнатых бараньих шапках в знак покорности спешили и вонзили пики в песок.

Когда ханское войско приблизилось, трое из отряда пошли навстречу. В том, остробородом посередке, Повелитель признал бека.

Остановившись в пяти шагах, бек твердо произнес:

— Вот — коран, а вот — сабля. Воля твоя. Хочешь — мы на коране поклянемся в верности тебе. Нет — так бери саблю и руби наши головы. Мы против тебя оружия не поднимем.

До самой смерти бек остался одним из преданнейших и почтеннейших эмиров.

Первая жена покинула юдоль печали тридцати девяти лет от роду. В честь любимой и верной спутницы суровой жизни, без ропота разделившей неимоверные тяготы, лишения, унижения и опасности, согревавшей его ожесточившееся сердце своей тихой и светлой любовью, одарившей его первенцем-сыном, он потом построил величественную мечеть.

Каждый раз при виде старшего сына Повелитель теплел душой. Вспоминались далекая, невозвратная молодость и незабвенная жена, так и не познавшая безмятежной жизни ханши. И отправил-то он любимого сына правителем в далекий край скрепя сердце. До сих пор, когда он представляет судьбу сына, томящегося, точно в изгнании, на чужбине под постоянным прицелом ненавидящего вражеского взора, холодная оторопь охватывает все его существо. С отъездом старшего сына он неизменно чувствовал себя одиноким и осиротевшим, все равно, находился ли среди многотысячного войска, или восседал на шумном, знатном пире, или отдыхал в кругу остальных сыновей и ватаги внуков. И, кажется, только теперь он убедился в том, что у каждого — кто бы он ни был, — живущего под этим бездонным и равнодушным небом, есть только один-единственный неизменный вечный спутник — одиночество.

Помнится, в предсмертный час мать, преодолевая недуг и немощь, сказала ему:

— Сын мой... ты достиг своего желанья. Я же уйду из этого мира в печали и горести. Ты был моим единственным сыном, как

одинокое священное дерево в голой пустыне. Таким же одиноким я тебя и покидаю. Так вот, слушай. Не почитай трона своего выше своих башмаков. От холода и сырости он не спасет. Не думай, что роскошный дворец твой надежнее твоей кольчуги. И его стрела пронзит. Не считай, что твое войско неуязвимее твоего щита. И его глаз совратит. Не полагайся особенно на отпрысков своих, народившихся от разных баб. И они тебя предадут. Да будет тебе известно: много баб и наложниц не заменят одной жены. А ее-то у тебя и нет, сын мой. Бабы, с которыми ты делишь постель, — все равно что кобылицы в одном табуне. Ребенок в утробе им ближе, чем ты на их чреслах. Сам знаешь: стригунок, окрепнув, начнет кусать табунного жеребца. Вот и берегись. Множеством сыновей не кичись. А то у матерого волка было много волчат, да выкусили они его из собственного логова, и окошел он, старый, на холодном ветру. Не трать понапрасну силы, желая угодить всем своим бабам, а почитай одну и заслужи ее веру и любовь. У отца ты был единственным сыном, потому он и передал так рано повод правления тебе. У тебя же сыновей много, и если ты не хочешь, чтобы твои щенки перегрызли друг другу глотки, не уступай трона никому из них до самой своей смерти. И лишившись власти, не околачивайся возле бабы, у которой от тебя много детей. Опираясь на них, она обесчестит тебя, унижит твое достоинство. Держись за бездетную. Униженная своей бездетностью, она сможет защититься от соперниц только тобой и потому будет преданно любить и почитать до последнего часа...

Мать говорила эти слова шепотом, будто опасаясь, что кто-нибудь может их подслушать, говорила очень четко, убедительно, крепко стискивая при этом руку сына, и он, вслушиваясь в мудрую речь, почувствовал оторопь. Высказав все, что находилось на душе, мать плотно сложила бледные дряблые губы, отвернулась лицом, и в тусклых глазах ее, казалось, угасал, постепенно удаляясь в неведомое, теплый жизненный свет. И когда иссушенная хворью и старостью мелко дрожавшая рука ее безжизненно упала на пышную перину, суровый властелин, покоривший половину мира, вдруг ужаснулся и растерялся, как сосунок, насильно отлученный от матери.

С тех пор каждый раз, возвращаясь из далекого похода, он вспоминал предсмертные слова матери.

Таким образом, теперешняя Великая Ханша — вторая жена, занявшая место первой. Она из влиятельного богатого спесивого рода. Он к тому времени был ханом, на гребне власти и удачи, забавлялся прекраснейшими наложницами со всего света, но чтобы обуздать гордыню и приторочить к своему седлу древний могущественный род, косившийся на него за то, что он не принадлежал ни к белой, ни к черной кости, а был как бы пегим, с расчетом и взял себе ее в жены.

Дочь кичливого, честолюбивого племени, видя, как к ногам Повелителя падают одно за другим знамена разных стран, все более привязывалась к нему. На слухи-кривотолки, исходившие от ее сородичей, она перестала обращать внимание. И сородичи, заметив крутые перемены в настрое единокровной дочери, также понемногу охладевали к ней. Отныне они охотнее обращались к самому Повелителю — своему зятю. Тот бесчисленные тяжбы и неукротимые прихоти чванливого рода разрешал и удовлетворял быстро и легко. Теперь же, когда само солнце и луна на небе с опаской взирают на его все сокрушающее копье, сородичи жены не осмеливаются задирать носы и предпочитают помалкивать о своем знатном происхождении, об исконной причастности к избранной белой кости.

Со временем они вовсе перестали упоминать своих досточтимых предков, а восславляли всюду и везде только своего зятя. Потом подросли ханские сыновья, стали участвовать в походах и выказывать удаль и отвагу, и хвастливые родичи жены превозносили уже не столько самого Повелителя, сколько его сыновей, говоря: «В жилах наших племянников все же течет кровь славных предков. Вот увидите, они и своего родного отца превзойдут!»

Великая Ханша, народившая ему трех сыновей, с годами обрела достоинство счастливой матери и уже не смотрела, как прежде, льстиво в рот крутонравому супругу. Более того, в последнее время она всех внуков держала при себе и проживала безвыездно в своем дворце, полагая, что Повелитель должен сам приезжать к ней, если, конечно, чувствует в том потребность.

Несколько лет назад, следуя наставлениям покойной матери, он женился на девочке шестнадцати лет. Повадками и статью она напоминала ему первую жену. Нежная, кроткая, небалованная, не познавшая отравы власти.

В последний поход он — по обыкновению — забрал Старшую Жену, оставив здесь, на родине, Младшую. И вот она, юная ханша, в честь супруга построила башню. Самую видную и высокую из всех, что вознеслись над столичным городом.

Этот тихий, уединенный дворец, в котором хан проводил сейчас свой недолгий отдых перед новым походом, он подарил Младшей Ханше. На склоне лет он решил не разъезжать, как прежде, из дворца во дворец, а обосноваться здесь до конца своих дней.

Может быть, именно это возбудило ревность Великой Ханши? Над его носом пронеслась пчела. «Неуж-жели не мог об этом сразу догадаться?» Листья над головой зашуршали, перешептываясь громче.

Он сам поразился своей неожиданной такой простой догадке. В молодости мысли его были, пожалуй, резвей; они настигали цель мгновенно, точно молодая гончая, а не плутали, будто вслепую, вокруг да около.

Ну, конечно, самодовольная гордычка-ханша, державшая мужа при себе, никак не одобряет теперь его уединения с юной женой. Даже, когда он ставил мечеть в память умершей жены, Великая Ханша, помнится, долго хмурила брови. Если раньше ее постоянно терзала ревность из-за мечети, то теперь ее вовсе сводит с ума новая величественная башня, сооруженная по воле молодой соперницы.

Чем еще, кроме сплетен о близких, может привлечь внимание к себе стареющая ханша? Она хоть рассказами пытается обратить на себя благосклонность мужа. Значит, и красное наливное яблоко — всего лишь черный знак ее душевной скарденности. А коли так, то нечего напрасно ломать голову. И, подумав так, он сразу почувствовал громадное облегчение, словно раздавил червя сомнения, точившего все эти дни его душу.

В эту ночь впервые за долгое время он спал спокойно. И проснулся бодрым. После завтрака велел заложить повозку.

В золотисто-пестрой повозке в сопровождении конной свиты, выехал Повелитель из дворцовых ворот в сторону новой, невиданной башни.

В душе он испытывал неприязнь, если не сказать ненависть, ко всем дворцам и башням покоренных им стран, как, впрочем, и к золотым тронам и коронам врагов. Ему мало было сознавать себя могущественнее всех правителей на свете, он хотел, чтобы и столица

его была краше и богаче всех столиц. И потому он из каждого похода привозил тысячи пленных мастеров-умельцев.

Каждый раз, возвращаясь из дальних стран, он придирчиво осматривал свою столицу. Сейчас он мог быть спокоен: город вырос, могуч и прекрасен, и из виденных Повелителем городов нет ему равных.

Особенно довольным он остался в последний раз, когда Младшая Жена, чутко угадав настрой его души, построила в честь супруга башню, дерзко и гордо устремившуюся ввысь, к небу.

И место для нее выбрано удачно: издалека и со всех сторон сразу бросается в глаза. Открытая взору местность. И все другие минареты, достойные соперничать красотой, находятся на расстоянии.

Вот она, вся голубая, приветливо улыбнулась ему. Душа светлеет, радуется при одном ее виде. Даже бесцветному, вылинявшему в знойную пору небу башня придает необыкновенную голубизну, и над нею небесный купол кажется чище и прозрачней.

Чем ближе, тем заметнее возвышалась башня. И уже не такой улыбчивой она становилась, а строгой, замкнутой. Вблизи, у подножья, это впечатление усилилось: башня отрешенно и сурово подпирала небо.

Противоречивые чувства, все эти дни попеременно овладевавшие ханом, вдруг разом умолкли. Гордая башня, во всем своей блеске возвышавшаяся перед ним, словно подавила и развеяла все сомнения. То, что такого чуда не было ни в одном другом городе мира, приятно тешило самолюбие. Будь оно в чужом, вражеском городе, многочисленная услужливая свита с топорами и ломами давно бы уже набросилась кромсать, рушить каменное чудище, надменно вззирающее на грозного владыку вселенной. На этот раз все нукеры застыли с разинутыми от изумления ртами.

Отныне этой башне суждено глядеть свысока на весь необъятный покоренный мир, точно гордый ханский стяг — символ его всемогущества.

Великий Повелитель углядел, а этом минарете нечто свойственное ему самому: башню видать на краю земли, и она милостиво манит, влечет к себе всех, но — когда окажешься рядом — становится строгой и недоступной, как сам Повелитель.

Невозможно оторваться от башни. Он стоял перед ней замороженный, точно пылкий юноша перед прелестной и загадочной в своей красе женщиной.

Сейчас он испытывал необыкновенную радость, близкую к восторгу, и признательность ко всему миру, достойно восславившему его имя и честь, — к голубой башне, придавшей блеска его могуществу, к прозрачному небу, чистым куполом нависавшему над ней, к мастеру, в течение семи лет изо дня в день по крупице, по кирпичику без устали воздвигавшему такую махину, к юной супруге, преданным женским сердцем догадавшейся о подавленности и усталости его души после изнурительного похода и подготовившей дивный подарок, глядя на который дряхлый дух обретал вдруг орлиную мощь и порыв.

Стоило немного отдалиться, как лик башни постепенно теплел. Голубые плиты, вблизи холодно и даже сурово мерцающие глазурью, на расстоянии начинали улыбаться. Чем дальше, тем труднее было оторваться от этого чуда. Гордая красавица, вблизи не удостаивавшая тебя даже взглядом, вдруг издала таинственно-завлекающе посмеивалась и властно притягивала к себе. Зачарованный, поневоле кружишься вокруг.

При внимательном взгляде можно было убедиться в том, что в башне преобладают не мужская доблесть и достоинство, а сдержанная гордость, скромная благосклонность и душевная ласка, свойственные женщине. Сколько их, сказочных дворцов и минаретов — видел-перевидел он за долгие годы близких и дальних походов, но такой таинственной красоты, сотворенной чудодеем, встречать не приходилось. Необычное обаяние башни как бы околдовало взор и душу Повелителя, и он никак не мог понять рассудком тайну такой магической красоты.

Башня воплотила в себе тоску по возлюбленному женщины, которая оставалась неприступно-глухой к тем, кто жаждал ее близости и благосклонности, и кротко улыбалась единственному, желанному, находившемуся вдалеке, звала его с мольбой и тоскою, суля радость и ласку.

Зодчий, выстроивший эту башню, проникновенно передал неизбывную тоску и любовь юной ханши к своему возлюбленному, так долго не возвращавшемуся из далекого похода...

Вблизи башня ослепляла яркой, броской красотой, а, постепенно удаляясь, окутывалась голубым маревом, точно погружалась в печаль, от которой щемило сердце.

Она выражала немую мольбу: «Неужто покидаешь меня?.. Не уходи... Останься... Ради всего святого останься... побудь со мной... со мной...»

«Стой! Вернись!»

Неожиданный, как окрик, властный зов грубо оборвал все думы, точно поразил его в самое сердце. Повелитель вдруг резко выпрямился, оттолкнувшись спиной от мягкой подушки сиденья, но промолчал...

До самого дворца он старался больше не смотреть в сторону башни. Он не мог сейчас предположить, на какие лады истолкуют завтра праздные нукеры его неожиданный порыв, и потому поспешно откинул голову на спинную подушку и прикрыл глаза.

Неспокойно было на душе, отчего-то мутило, ион не притронулся к обеду. Только отведал ломтик дыни, охлажденной в меде, и от приятного холодка тошнота исчезла. На этот раз яблока не было. У служанки — он это сразу заметил за легкой накидкой на ее лице — глаза были подчеркнута вежливо опущены долу...

Когда служанка вышла, он уставился на монотонно сочившуюся прозрачную воду в хаузе, выложенном посередине дворцового зала из бурых, розовых, голубых мраморных плит, и задумался... Глядя на капли, похожие на слезинки и бесследно исчезающие где-то в глубине бассейна, он чувствовал, что сердце его смягчается, оттаивает. Плотный наст суровости и жестокости, намерзший в душе за долгие-долгие годы, вроде рыхлел, крошился от каких-то неведомых ему нежных чувств, напоминавших ласковый весенний ветерок, и Повелитель весь обмяк, поддавшись печали одиночества. В нем вдруг неожиданно проснулась жалость. Он и сам еще не мог понять, чего ему стало жаль: то ли этой воды, зажатой в каменные тиски и потому исходившей безутешными слезами, то ли сироту-башню, оставшуюся там, в зыбком голубом мареве... Что-то чистое и нежное, охватившее всю его душу, напомнило вдруг снова Младшую Ханшу. Да, да... она, бедная, в облике этой башни передала ведь не только свою многолетнюю тоску по любимому, нетерпеливое желание скорой встречи и неумную страсть, обжигавшую ее невинное существо, но и

намекала на свое безысходное одиночество в среде чуждых ей людей, на обиды, которые приходилось терпеливо сносить, на подавленный дух, на отчаяние, вырывавшееся в безмолвном крике: «Приди же... услышь меня... пойми... защити!» Разве сочетание надменной холодности и кроткой нежности, гордости и покорности, тоски и страсти не означает всеобъемлющего понятия — любовь?!

Уж кто-кто, а он прекрасно знает, что это такое... Когда в те далекие годы скитаний измученная жена, стыдясь опереться на него, бывало, лишь редко, по-девичьи прикасалась к его плечу и невнятно просила: «Сил моих больше нет... поддержи чуть-чуть», — он ясно видел в ее усталых глазах причудливый клубок всех этих человеческих чувств.

Это же сокровенное выражение — точь-в-точь как у матери — он заметил в глазах старшего сына, смущенно скрывааемых под густыми бровями, когда тот перед отъездом в далекую страну едва ли не тайком зашел проститься с отцом.

И вот сегодня, отъезжая от голубой башни, он вдруг на мгновение ощутил все то же редкое, не определимое человеческой речью священное чувство, которое приходилось ему видеть в глазах двух самых дорогих на свете людей. Казалось, теперь он догадывался о тайне, заключенной в красоте той башни. Ему неодолимо захотелось увидеть молодую ханшу, увидеть сейчас же и заглянуть... нет, смотреть долго-долго в ее безгрешные, по-детски преданные глаза.

Он почувствовал вдруг дрожь в сердце. Давно уже не испытывал он такого трепета, такого приятного волнения. И он был сейчас поражен — то ли этим необыкновенным своим состоянием, то ли тем, что мог столько лет прожить так глухо, так немо, не испытывая ничего подобного. Одно лишь желание властно охватило его — скорее, тотчас увидеть Младшую Ханшу. Он даже не мог сейчас отчетливо представить себе ее. Не так уж и часто удавалось оставаться с ней наедине. А на людях, понятно, Повелителю не положено заглядываться на собственную жену... Кажется, большие, черные, как смородина, с влажным блеском глаза придавали ее худощавому личику выражение кротости и печали: нос точеный, маленький, с чуткими ноздрями; подбородок круглый, нежный, и губы не тонкие, которые обычно не в состоянии скрывать горячее желание, и не толстые, чувственные, а в меру полные, пухлые, податливые. Словом, она обладала внешностью,

как принято считать, женщины стыдливой, сдержанной, скромной и верной в любви, которая не обжигает, не ошеломляет дикой, необузданной страстью, а ласкает и согревает ровным душевным огнем, не пьянит колдовскими чарами и дразнящим смехом, а завораживает томной, благосклонной улыбкой.

Именно любовь такой женщины воплотила в себе грандиозная башня. Неспроста, видать, сам пророк Соломон, нашедший путь к людским сердцам через сердце возлюбленной, зная толк в любви и многоликой женской красе, называл ангелоподобными тех, кто невинной нежностью и кроткой женственностью умел без зримых пут связывать мужчин.

И еще говорят: пророк Соломон имел обыкновение наслаждаться вкусом и ароматом сладкого вина, лишь прикасаясь к нему губами. Мудрец понимал, что сладость чувств в их умеренности. А он, Повелитель, в своих бесконечных походах не об услаждении плоти и духа заботился, а довольствовался случайными и грубыми утехами.

Выходит, прожив жизнь, он так и не познал радости выпавших на его долю власти и могущества. Сердце остыло рано и не искало других удовольствий, кроме лицезрения падавших к его ногам вражеских знамен и золотых корон покоренных им владык.

Выходит, власть и могущество, к которым он стремился, корона на голове и трон под ним лишили его многих человеческих радостей, связав по рукам и ногам. Такова тяжкая участь властелина. Сейчас он не может даже вызвать к себе Младшую Жenu, которая находится с ним рядом, в одном дворце. Изведавший за свою жизнь немало обид и унижений, уже привыкший к суровости, он не подпускал особенно к себе даже членов своей семьи, а жен навещал только ночью. Вообще, встречи с женами в дневное время не были приняты, за исключением отдельных случаев, вроде приема послов, совещания с советниками или семейных бесед с участием всех детей и внуков.

Теперь этот обычай, введенный им, невидимыми путами связывал его самого. При всем своем желании он был лишен возможности вызвать ханшу к себе или навестить в ее покоях. Сейчас, когда Старшая Ханша подала ему явно предупреждающий знак, а слуги, наверняка осведомленные обо всем, подстерегают каждый его шаг, нетрудно себе представить, какие вспыхнут кривотолки, если он среди белого дня отправится вдруг на свидание с Младшей Женой...

Он нетерпеливо дожидался вечера. Время, обычно такое скоротечное, вдруг, как назло, поползло улиткой. И солнце неподвижно застряло в зените.

Не находя себе места в одиноком зале, Повелитель снова отправился на прогулку в сад. Он добрел до любимого родника, однако не усидел и здесь, чувствуя, что в мыслях разброд и смятение. Он долго ходил взад-вперед по кривой тропинке и все чаще поглядывал на солнце.

Бесстрашный в бою, на ратном поле, он сейчас не решался подходить к постели собственной жены и, точно неопытный жених, смутно предвкушающий радость первой брачной ночи, с нетерпением и тайной боязнью ждал, ждал, когда, наконец, закатится солнце и наступят желанные сумерки.

Тени от деревьев постепенно удлинялись и уже начали сливаться. Ранние сумерки поплыли по саду. Повелитель вернулся во дворец. От долгого ожидания, должно быть, в сердце опять закрались тревоги и сомнения. В непомерно огромном зале, так ослепительно ярко освещенном светильниками, он вдруг вновь затосковал, остро ощутив свое полное одиночество в этом безбрежном мире. Будь он на поле брани в окружении грозно ошетилившихся копий, не почувствовал бы страха даже при виде летящей на него вражеской конницы. Будь он молодым и пылким джигитом, бросился бы, не раздумывая, в опочивальню ханши. А теперь он вышел из того возраста, когда слепо идут на поводу бесшабашного порыва. К тому же не к старой спутнице своей он стремился, чтобы поговорить по душам; развеять тоску и печаль, а к почти незнакомой — хотя и жена — юной особе. Ведь Младшая Ханша, точно одна из многих безымянных наложниц, с которыми он лишь поспешно удовлетворял мужскую потребность, не говорила ни единого слова. Кажется, уже тридцать лет прошло с тех пор, как Повелитель ни с кем не делится сердечной тайной. И о чем он может сейчас говорить с Младшей Ханшей? Что они скажут друг другу — по существу чужие — мужчина и женщина? Верно: совсем еще молоденькая ханша — его жена. Верно: она не посмеет перечить ни одному его слову, ни одной его прихоти, как и весь этот город, как каждый дом и каждый человек в его столице. Вся страна падает перед ним ниц. Половина мира в его власти. Но ни с одной живой душой, обитающей в этой половине мира, он не может поговорить искренне и

откровенно. И Младшая Ханша — всего-навсего одна из этих многих безголосых его подданных. Оба они, точно пленники, уже несколько дней томятся в этом одиноком дворце. Однако она, жена, не может решиться и прийти к нему, мужу! Разве не сущий ад — этот мир?! И телом, и душой принадлежат ему все живые существа половины вселенной, как говорится, они и на его ладони, и в его кулаке, однако все, все, как один, чужие, чужие... Все ждут от него только высочайшего повеления. Он и раньше хорошо знал, что все в покоренном им мире, — кроме, конечно, его самого, — живут с невидимой петлей на шее, именуемой властью, и покорно барахтаются в тенетах его могущества. Самого-то себя он считал свободным от этих тенет. Но сегодня с горечью убедился: невидимая петля, захлестнувшая горло других, спутала незаметно и его руки-ноги. Раньше люди боялись его взгляда и его слова, теперь и он стал бояться людского глаза и людской молвы...

Вот он, крадучись, точно кот, выбрался из своей опочивальни. Таинственные пути, удерживавшие его до полуночи, и теперь еще не развязались, а как бы продолжали болтаться на ногах.

И узорчатые мраморные плиты на потолке, и сурово молчавшие глухие стены по сторонам, и стылые тени, укрывшиеся за колоннами, и тугой ворс ковров, податливо стелившийся под ногами, и даже светильник в его руке — все-все, казалось, пристально выслеживало каждый шаг Повелителя: тысячи жадно шныряющих из-за углов глаз и неистощимых на сплети, но пока лишь невольно и выжидающе прикушенных губ с великим нетерпением — так мерещилось ему — ждали, когда он переступит порог опочивальни Младшей Ханши, чтобы тут же с тайным злорадством и холопским усердием растрезвонить об этом по всему свету.

Тьма тем людских голов принадлежат ему, но только не их мысли. Тьма тем языков в его власти, но только не их речи. Один он не в состоянии уследить за каждым из этой тьмы, но все они вместе не спускают с него одного глаз. Каждое движение, каждый шаг толпы ему неведомы, но его каждое движение, каждый шаг на виду у всех.

Вот и сейчас в этом одиноком дворце, не смыкая глаз до полуночи, неустанно следят за ним.

Вот два евнуха-привратника — белобородые, красноглазые, одряхлевшие, — приложив руки к груди и сломившись в поклоне,

молча расступились перед ним. Похожие па живые мощи, они всем своим обликом выражают покорность и отрешенность и глаза опустили долу, но едва он пройдет мимо, они посмотрят друг на друга с двусмысленной ухмылкой.

Повелитель весь напрягся и резко, точно кинжалом ударил, обернулся: и впрямь — оба евнуха за его спиной уже подняли, было, головы, но, обожженные ледяным взглядом Повелителя, поспешно склонились и вновь уставились в пол.

Тяжелая дверь упруго отворилась и, захлопнувшись за ним, будто что-то пробурчала дубовым косякам.

Повелитель вступил в еще одну просторную и освещенную посередине комнату. В углу, где зыбился сонный сумрак, кто-то закопошился, скользнул тенью. Распрямляя затекшую поясницу, неторопливо поднялась старая служанка, приставленная к Младшей Ханше. Все ханские жены, поступая к нему во дворец, проходили через ее руки. Она была неизменной служанкой поочередно всех его Младших Жен. И не только служанкой, а советчицей, пестуньей... Эта старая женщина, близко не подходившая за свою жизнь к ханскому ложу, обучала неопытных тайнствам любви и искусству нравиться Повелителю. Хорошо сознавая исключительность своего ремесла, она держалась, не в пример другой прислуге, вызывающе гордо. Ходила с достоинством, говорила важно. И, сейчас, заметив властелина, не засуетилась, не засемила угодливо навстречу, а пошла степенно, стараясь унять старческую дрожь в коленях. Пожалуй, и казначей, верный страж всех ханских драгоценностей, не позволял себе такой вольности. Старуха свысока смотрела не только на всех дворцовых слуг, но покровительственно обращалась с ханшами и даже с самим Повелителем. Старая образина, должно быть, вообразила себе, что без ее услуг он не найдет пути к своим женам. Особенно спесивой становилась она, когда он возвращался на далекого похода. Вот и сейчас поплыла она навстречу, волоча по полу подол серого атласного платья, плыла через весь длинный зал, словно считая в уме каждый шаг.

Все заметнее вырисовывались черты ее серого, в тяжелых складках лица. Сначала четко обозначались кустистые бурые брови. Потом — длинный, с горбинкой нос, хищно спускавшийся на дряблые, истонченные губы. Водянистые, точно пеленой подернутые дремуче-

клейкие глаза, испытывающе долго, будто, не узнавая, выставились на Повелителя и отвернулись лишь тогда, когда он нахмурился. Путаясь в длинных, пышных рукавах, она открыла перед ним дверь.

Повелитель, стараясь скорее избавиться от липучего взора старухи, вошел в опочивальню Младшей Ханши.

Здесь царил сумрак. Он не сразу разглядел ложе ханши. Оно темнело, чуть возвышаясь, в правом углу. Он сделал шаг вперед. На истерзанной постели, среди помятых подушек, вдруг что-то шевельнулось, и одеяло странно взбугрилось в двух местах.

Властелин вздрогнул. Бугры под одеялами замерли. Глаза Повелителя лишились прежней зоркости, и чем пристальнее вглядывался он сквозь сумрак в угол, где находилось ложе ханши, тем заметнее кружилось, мельтешило все вокруг. Шевеление под одеялом возобновилось; в непристойных содроганиях что-то вздымалось посреди развороченной постели и тут же спадало, вдавливалось в пышные перины. Он ступил еще немного вперед. Под одеялом ни признака жизни. Будто сама ханша куда-то бесследно исчезла.

Сумрак натекал вокруг широкого ложа, становился гуще. Здесь струились причудливые запахи цветов, духов, розового масла и молодого разгоряченного женского тела, возбуждая угасшие в дремучих уголках заскорузлой души упоительные чувства. Повелитель явственно ощутил, как напряженные, будто стальная струна, жилы его от этого дурмана приятно ослабевали, смягчались, точно засохшая шкура на теплом пару. Слабость ударила в ноги, прокатилась по животу, и он, боясь упасть, не двигался с места.

Перед затуманившимся взором опять промелькнуло что-то белое над изголовьем. Сердце его сжалось, а сладкий дурман, охвативший его расслабленную плоть, мигом исчез, испарился. Из-под подушек и одеял с края ложа вскинулись, словно в безумии, тонкие оголенные руки. Они изломанно заметались в сумраке, что-то ловили в воздухе и, точно подбитые, упали вдруг на скомканное одеяло и лихорадочно, до боли, до хруста сплелись пальцами. Потом с какой-то произвольной страстью руки сграбастали мягкое, точно невесомое, одеяло, скомкав, притянули его к себе, стиснули, и пышный сугроб постели, сдавленный в тисках объятий, осел, подтаял. Из-под края одеяла он увидел ее лицо, пылавшее, как в жару. Пуховая подушка громоздилась в стороне у изголовья.

Голова ханши неестественно завалилась набок, тонкая шея напряженно вытянулась. Густые волосы рассыпались, наполовину закрыв чистый широкий лоб. Веки смежились. Опухшие губы горели, разлепились. Рот болезненно скривился, жадно ловил воздух. Зубы хищно оскалились, и когда она их стискивала, казалось, слышался скрежет. Эти руки, сдавившие в беспомощности одеяло, этот пересохший, перекошенный рот говорили о неодолимой и ненасытной страсти, охватившей юную ханшу. Прерывистое дыхание женщины, до иступления доведенной низменным желанием даже во сне, больно кольнуло слух Повелителя. Этот хриплый, непристойный стон он слышал впервые подростком. Уже тогда избегавший шумные мальчишеские ватаги, он однажды оседлал коня и поехал к лощине под крутым горным увалом, где ставил силки на ловчих птиц. В это время от небольшого зимовья у подножия увала направилась в лощину женщина. Она шла за водой, и кувшин на ее плече размеренно покачивался, и колыхалась на ее лице легкая просторная паранджа. Едва женщина скрылась за ущельем, на тропинке, круто спускавшейся по каменистому склону, показался густобородый всадник на гривастом вороном коне.

Мальчик заметил и женщину, и всадника, но они его совсем не интересовали. Он был всецело поглощен ястребком, чертившим замысловатые круги над склоном увала. Вдруг снизу, из лощины, донесся сиплый женский крик. Мальчик схватил лук и, прыгая по камням, с выступа на выступ, понесся к ущелью. Раза два он споткнулся, упал, больно ушибся, содрал кожу на ладонях. Голос женщины слабел, доносился все реже, и мальчик, перепуганный, бежал из последних сил. Наконец он добрался до крутого обрыва, под которым находилось ущелье, изготовился прыгнуть, как чутким слухом уловил не крик, зовущий на помощь, не отчаяние, не жалобный плач, а неслышанное доселе, глухое, вразяжку, с придыханием, стенание. Так стонут не от боли, а от неведомой сладостной муки, от наслаждения, так истомленно выстанывает, перхает овца от избытка нежности к ягненку-сосунку, спуская молоко... Мальчик брезгливо пул камень, скатил его вниз в ущелье, и побрел назад к своим силкам.

Некоторое время спустя он увидел, как верзила-всадник проехал ручей на дне лощины и поднялся по крутизне на противоположный берег.

А потом из ущелья показалась женщина и пошла по белеющей извилистой тропинке легкой, танцующей походкой, играя упругими бедрами. Кувшин, наполненный водой, мерно покачивался на ее плече.

Над одиноким зимовьем на краю лощины вился к полинявшему летнему небу еле заметный сизый дымок...

Мальчик почувствовал досаду. Пораненные ладони горели. Непонятная зудящая дрожь, щемящая боль, сильнее, ощутимее, чем в кровь содранные ладони, охватывали его всего, когда он вспоминал тот поразивший его случай. То давнишнее ощущение вдруг овладело сейчас Повелителем. Такая же щемящая боль в груди.

Он с отвращением отвернулся от истерзанного ложа ханши, точно увидел что-то омерзительное, гадкое.

Он не помнил, как выскочил из опочивальни. Не обратил внимания ни на старуху, медленно поднимавшуюся в углу, ни на евнухов-привратников. И только пройдя через все комнаты ханши, спохватился: а ведь теперь прислуга начнет бог весть что болтать по поводу его излишне короткого ночного свидания с юной женой. От этой догадки в груди его заныло, будто бешеные псы рвали ее на части. Он пошел еще быстрее, и чудилось ему сейчас, будто собственная опочивальня находится чуть ли не на краю света.

Усталый, взмокший, добрался он до постели. Ему все продолжало казаться, что за ним изо всех углов несуразно огромного зала со злорадством следят сотни невидимых глаз. Вокруг ни звука, кроме тихого бульканья воды, тонкой струйкой сочившейся в хаузе. И воздух будто загустел от духоты и мрака. Повелителю стало трудно дышать. Он направился к хаузу, но было нестерпимо больно смотреть сейчас на покорную воду, заключенную в камни, все чудилось, что гнев, сковавший грудь железным обручем, вдруг обернется непрощеной, ненужной жалостью. Повелитель подошел к окну, выходившему в сад. Посредине круглого дворца были разбиты пышные цветочные клумбы, а в хаузе бил фонтанчик. Едва Повелитель подошел к окну, как под бледными лучами заходящей луны — то здесь, то там — суетливо скользнули в укромные углы сада какие-то тени. То были сарбазы из охраны и ночные сторожа, собравшиеся вместе и придумывавшие себе какую-то забаву от скуки, но при виде в неурочный час властелина у окна, поспешно разбежавшиеся по своим Местам.

Луна склонилась к горизонту. Неверный свет ее освещал лишь хауз на дворцовой площади и противоположные окна. Та сторона дворца, где находились ханские покои, погрузилась в густой мрак.

Тихо-тихо. Царила ночь, лукавая, полная тайн. Ночь, сомкнувшая уста, закрывшая глаза. Все бесконечные дневные хлопоты и суета сгнули разом, и наступила власть тишины и мрака. Пора воровских дум, воровских поступков, воровских чувств. Пора дьявольского наваждения, когда весь мир точно забирается под душное покрывало. Пора сокровенных желаний, буйства плоти к похоти, торопливо сбрасывающей непрочные путы дневного отдыха. В эту пору каждой живой душой правит искуситель-шайтан. Бесчисленные невидимые твари, порождение неистребимой человеческой скверны, хоронящейся от дневного, божьего света и строгого людского глаза, под покровом ночи ликующе выползают из всех щелей. Человек ведь только днем человек, а ночью его трудно отличить от обыкновенного животного. Ночью он храпит или предается низменным утехам. И только утром, с первыми лучами солнца, с пробуждением души в нем вновь умирает животное и просыпается двуногое существо, именуемое человеком и обладающее свойством стыдиться дневного света и бояться взора и молвы себе подобных. Но каждое из этих двуногих существ спасительной ночью может отключиться от осточертевшей дневной суеты, сбросить тягостные путы напряжения и предаться одиночеству и покою, не видя чужих глаз и не слыша чужих речей. У него, Повелителя, и таких ночей нет. Словно при свете ярко пылающего костра сидит он один-одинешенек даже темной ночью. Воровские глаза, затаившиеся по углам тьмы, видят его отовсюду; ему же совершенно неведомо, что происходит вокруг него за черной завесой ночи. Дневных человеческих забот на нем ничуть не меньше, чем у других, однако он напрочь лишен коротких ночных наслаждений.

Какая все-таки это мука — бодрствовать душевной ночью в одинокой пустой опочивальне в окружении ползучих тварей и двуногих скотов, испаряющих вонючий дух похотливой плоти?! Разве не рай по сравнению с этим — тревожные походные ночи, пропитанные запахом изопревших портянок? Разве не ангелы — безмятежно храпящие в обнимку с копьём и с седлом у изголовья храбрые воины в ночь перед боем, не ведающие о том, суждено ли им

завтра остаться в живых или лежать на поле брани? Разве не истинное наслаждение — чуткая дремь или напряженные, ночь напролет, думы о предстоящей сече? Отчего же эти безумцы так спешили домой?! Что они нашли здесь, у родного очага?!

Мысли Повелителя неожиданно оборвались. Так талая вода, вырвавшись вдруг из привычного русла, в стремительном разбеге ударяется о крутой берег. Вспомнились ему опочивальня жены, откуда он только что вернулся, и непристойное выстанывание шайтаном похоти терзаемой ханши. И в тот же миг отвратительная дрожь вновь охватила его, будто все эти бесчисленные ночные твари и ползучие гады, только что мерещившиеся ему во всех углах, поползли по нему от ног к груди.

Он тут же отвернулся от окна, подошел к хаузу. Начал пристально вглядываться в знакомые вещи, словно желая удостовериться, не во сне ли все это с ним происходит. Он увидел свое пустовавшее ложе. Почувствовал на лице прохладу воды в хаузе. Поднес к позолоченной трубочке, торчавшей из глыбы мрамора, палец, и прозрачная ледяная вода, сочившаяся из неведомых недр земли, точно ужалила его.

Он вздрогнул, весь подобрался.

— Боже милостивый... выходит, это красное яблоко...

Он вслух проговорил эту фразу и осекся, словно испугавшись, что кто-то мог его подслушать. Жуткая догадка вдруг мелькнула в голове, и он испугался, старался не додумывать ее, однако рой навязчивых подозрений и тревог обрушился на него со всех сторон, не давая увернуться пугливой мысли. И она, бедняга-мысль, словно кляча с истершимися копытами, робко побрела по каменистой тропе, выщербленной бесконечными вопросами, и окунулась в густой клубящийся туман сомнений.

Совершенно очевидно. Старшая Жена намекает на Младшую Ханшу. Бабы-соперницы, ослепленные взаимной неприязнью... Мысль резвой рысцой выбралась на привычную колею, однако неожиданный вопрос встал ей поперек дороги и схватил за повод... Ну, конечно, так... Именно так! Разве не собственными глазами я видел только что, как она, раскинув объятия, страстно звала кого-то и даже отдалась ему в безумии? От чего еще, как не от бурных мужских ласк, от истомы млеет молодая, еще не познавшая материнства женщина?...»

Но кто он, этот мужчина, возбуждавший в ней сладострастие? Может, он сам, ее супруг? Нет, не-ет... это исключено. Он не мог в ней, наивной девочке, растравить неумную жажду любви. За две-три ночи, проведенные на ханском ложе, он, опытный мужчина, не заметил в ней, робкой и стыдливой, ни малейшего намека на ненасытность, необузданность желаний. Значит, во сне она так страстно возжелала другого. Другого! Сердце Повелителя больно кольнуло. Он опять явственно ощутил свое полное одиночество в этом недобром мире, и от мимолетной жалости к самому себе наст на душе, смерзшийся камнем, точно стронулся. Но тотчас подумалось: кто перед кем в обиде? Кто кому сделал больнее? И утишившийся было глухой гнев вновь всколыхнулся.

Какой наглец осмелился переступить через его могущественный дух и позариться на священное ханское ложе?! Разве кто-нибудь в подвластном ему мире может посягнуть на то, что принадлежит одному Повелителю? Разве не сопровождают его в походах все мужчины, достойные женской благосклонности? Разве оставался здесь хоть кто-нибудь, кого бы могла удостоить вниманием юная ханша?

Он с усилием укротил нетерпеливое, мстительное желание — как голодный беркут набрасывается на добычу — и принялся спокойно обдумывать ответ.

Кого же могла встретить молодая ханша, пока ее супруг находился в походе? Те, что оставались в ханском дворце, были примерно в его же годах. Вряд ли среди них кто-то способен так распалить молодую женщину. Он перебрал в уме всех придворных мужчин. Каждого оценил, взвесил и так, и эдак, и выходило по нему, что ни один не обладал необходимыми достоинствами, чтобы вскружить голову юной ханши.

Но кто он, кто этот счастливый безумец, сумевший найти дорожку к сердцу его Младшей Жены и заронить в ней такую страсть, что она грезит им и наяву, и во сне?

Мысли, растревоженные, взбаламученные, ревниво обшарили всю округу и опять вернулись на исходный круг. От этих назойливых и неуловимых тревог закололо в висках. Тело медленно наливалось тяжелой, равнодушной усталостью, и не было уже желаний следовать за верткой, все время ускользающей мыслью... В самом деле, стоит ли из-за любовных томлений спящей молодой женщины изнурять себя

ревнивыми догадками? Мало ли что может померещиться во сне или в бреду? А может, приснился ей не кто-нибудь, а именно он, ее Повелитель? Могла же она просто соскучиться по нему за эти долгие годы разлуки и истомиться по сладким ночам на опостылевшем от одиночества ханском ложе? Сколько дней они живут рядом, в одном дворце, сколько ночей она, должно быть, напрасно ждет его, исходя слезами от тоски и обиды?! И вот, наверное, вконец извелась, исстрадалась и забылась к тяжелому, как больной бред, сне. И почудилась желанная любовь, явилось ей, возбужденной постоянными думами о нем, видение...

Если бы она не истомилась по нему, разве приказала бы построить башню, которая привела его сегодня, при осмотре, в восторг и умиление? Разве она, горделивая голубая башня, не воплощение возвышенной любви?.. Любовь...

Счастливая и легкая догадка, только что сбросившая путы сомнения, тут словно вновь ударилась и разбилась об острую скалу, именуемую любовью.

Да, да, совершенно нетрудно разглядеть в голубой башне выражение яркой, неистребимой любви. Это видно сразу и в каждом кирпичике. Но чья это любовь? И к кому она обращена? То ли преданной жены, с мольбой зовущей запропастившегося в походах возлюбленного супруга, то ли любвеобильной неверной красотки, издаലെка манящей любовника?

Разве не смотрел он сегодня долго-долго на нее, не в силах отвернуть взор? И разве не звала чудо-башня его к себе? Чью же любовь воплотил зодчий в своем творении? Что он хотел показать? Если тоску женщины по далекому мужу, то почему при приближении башня обретает надменный и холодный вид? И почему она вновь манит, не и пускает, едва от нее удалишься? Выходит... выходит, зодчий изобразил вовсе не тоску ханши по отсутствующему мужу, а жар своего сердца, свой порыв, свою душевную тягу к ней!.. Свою неодолимую страсть, свою любовь! Да, да, поистине так! В этом и заключена вся тайна тайн голубой башни.

Повелитель еще не знал, радоваться или огорчаться так внезапно и просто возникшему разрешению всех его мучительных сомнений и вопросов. Пелена точно спала с его глаз. Страшная тяжесть, разливавшаяся по всем жилам, сразу исчезла.

Он вновь и вновь, словно боясь потерять нить, повторил про себя поразительное откровение, посетившее его явственно и отчетливо, как действительность. Он был совершенно убежден, что нашел отгадку присланной Старшей Ханшей красного наливного яблока с червячком в сердцевине. Отгадка найдена, теперь нужен бесспорный свидетель, очевидец. И его найти нетрудно. Достаточно расспросить Старшую Жену: все без утайки выложит. Достаточно заговорить с той же служанкой: ничего не утаит. Даже евнухи-привратники и те наверняка кое о чем осведомлены. А уж кто определенно и безошибочно знает все — это старший зодчий. Весь вопрос теперь в одном: кого из них следует вызвать и допросить?

Повелитель приложил ладонь ко лбу и задумался. Но теперь мысли его текли не вяло, не взброд, как до сих пор, а стремительно, окрыленно. И опасливые сомнения о возможном уроне ханскому достоинству и чести в случае необдуманных и скоропалительных поступков он тотчас развеял решительно и без труда. Он ведь прекрасно знает слабые места всех подозрений, так к чему же о том еще расспрашивать и говорить во всеуслышание?! К чему искать каких-то очевидцев? Следует сразу хватать за руку подозреваемого! А те, до которых и дошли кое-какие сомнительные слушки, уж сумеют, опасаясь ханской кары, держать язык за зубами. Промолчат, будто им глотки песком забили. Один только он, Повелитель, властен развязать им язык. Значит, он вызовет к себе самого мастера, построившего голубую башню, допросит его. Из его собственных уст услышит, таким образом, доподлинную правду — подтверждение или отрицание своих домыслов и подозрений. Пусть только наступит рассвет, и Повелитель отправит гонца за мастером. А может, лучше всего отправить за ним старшего зодчего? Наверняка это самое верное... Ведь еще неизвестно, что откроется на том допросе. В случае чего старший зодчий весьма может пригодиться... Повелитель встал. Он только сейчас заметил: в окно струился зыбкий свет. Занимался новый день. Сизая пыльца мерцала в зале. Казалось, и хауз перед ним, и сонная вода застыли, густо покрывшись золотисто-серым налетом, словно кучкой холодного, невесомого пепла под таганом. Чуть-чуть коснись только, и все рассыплется, разлетится в прах. В глубокой задумчивости стоял Повелитель...

Часть вторая
МИНАРЕТ

Надо же было такому случиться!.. Сумей он себя в тот миг пересилить и подавить неуместный кашель, чинная ханская свита, на почтительном расстоянии осматривавшая мечеть, наверняка прошла бы мимо. Но попутал черт: ни и с того, ни сего вдруг запершило в горле.

О нет... отнюдь не «вдруг»... Поджилки его затряслись, когда до него дошла весть о том, что сам Повелитель соблаговолил сотворить намаз в новой мечети. Еще больше растерявшись от того, что, словно мальчишка, выдал свой тайный страх, он покосился на обступивших его мастеровых и заметил на их обычно хмурых лицах неопределенное, зыбкое выражение — нечто размягченно-среднее между радостью и боязнью.

И только немногим, кто был уже в годах мудрости, удавалось сохранить сдержанность и достоинство. Они принялись закручивать кончики усов, как бы говоря: «Что ж... да будет так!» И при этом в глубине их зрачков вспыхивали затаенно-лукавые искорки.

Молодым же было неведомо, как следует относиться к подобной вести — то ли ликовать, то ли огорчаться, — на побледневших лицах застыло замешательство. Он, зодчий, испытывал странный озноб каждый раз, когда по утрам во двор медресе неподалеку въезжала пестро-золотистая повозка. В то мгновение из сотен глоток рабочего люда, копошившегося на строительных лесах от подножья до самого верхнего купола, дружным вздохом неизменно и разом вырывались одни и те же слова: «Вон сам приехал!»

И тогда зодчему чудилось, что эти три слова, исторгавшиеся одновременно из стольких грудей, раскалывая утреннюю прозрачную тишь, докатывались до ушей властелина, степенно выбиравшегося из крытой повозки. И весь день он невольно взглядывал на медресе. «А вон и сам смотрит!..» Этот благоговейный шепот, исходивший от крохотных фигурок на голубом покатом куполе, явственно доходил до зодчего, стоявшего на вершине минарета.

От одного только упоминания о властелине зодчий зябко вздрагивал, будто в затылок вонзилась стрела, и испуганно озирался в

сторону медресе, где, взметнув острые копья, кольцом стояла отборная охрана. Но, убедившись, что ни один воин не шелохнулся, он понемногу успокаивался. Однако покуда солнце не клонилось к закату и пестро-золотистая повозка в сопровождении вооруженной свиты на вороных скакунах не возвращалась в ханский дворец, зодчий не находил себе места.

На четвертый день месяца рамазан на этом месте властелин сам наблюдал, как закладывался фундамент под мечеть. Однако тогда у зодчего не хватило смелости поднять глаза на Повелителя, молча стоявшего среди огромной свиты. Два человека попеременно подавали зодчему маленькие, плотные кирпичики, и он их сосредоточенно укладывал ряд за рядом, от волнения даже не следя за строгостью линий.

С того дня прошло четыре месяца. Пятьсот человек в горах тесали камни. Двести человек шлифовали их до блеска. Девяносто пять слонов доставляли их на стройку... Изю дня в день в течение четырех месяцев с восходом солнца пестро-золотистая повозка въезжала в просторный двор медресе, а в предвечерний час, сопровождаемая вышколенной свитой, возвращалась во дворец. В течение четырех месяцев зодчий бесчисленное число раз слышал: «Вон сам смотрит!»

Три дня назад мечеть закончили. Четыреста восемьдесят колонн — каждая высотой более семи кулаш — поддерживали ее внушительный остов. В этой мечети, построенной сплошь из мрамора и отделанной золотом, правоверные должны молиться за здоровье властелина и благословлять его на священные походы.

Нежно-голубой купол мечети, казалось, придавал голубизны самому небу. Выжженный нещадным летним солнцем до тускло-серой безликости, весь в каких-то белесых пятнах и подтеках, он сегодня, благодаря стараниям умельцев-чудодеев, засиял ровно, прозрачно.

Лишь сегодня, на третий день нетерпеливых ожиданий, грянул, растекаясь с вышины, гортанный голос муэдзина, взывавший правоверных к намазу священной пятницы. После намаза торжественно-благостный Повелитель вышел из новой мечети и любовался снаружи ее красотой. Вокруг мечети величественно возвышались четыре минарета. У подножья одного из них застыл в волнении и молодой зодчий. Повелитель приблизился. Зодчего охватило смятение. Он даже не поднимал головы, словно боясь, что

голубой, прямым шестом устремившийся к небу минарет за его спиной вдруг обрушится, ему на голову. В горле пересохло, дыхание сперло, в груди стало тесно. Он будто окаменел и был готов в эти мгновения стойко вынести любые муки. И тут как назло, точно божье наказание, запершило в горле, что-то некстати зашевелилось там, ища выхода, и он, уже задыхаясь, судорожно повел раза два кадыком и захлебнулся кашлем. Потом еще... и еще. Лицо побагровело, надулось.

Пестрая ханская свита, проплывавшая мимо, круто остановилась. В тот же миг унялся и злополучный кашель. Слезающиеся глаза ненароком скользнули по нерослому человеку в середине свиты. Он, запрокинув голову, смотрел на вершину минарета. Что-то подсказало зодчему, что этот невысокого роста человек и есть всемогущий Повелитель. И зодчий поспешно отвел глаза, еще ниже опустил голову.

— Чей мастер построил? — послышался тихий, ровный голос.

— Из дальнего рода Ор-тюбе, — твердо и спокойно ответил старший мастер.

Выждав, пока удалилась роскошная свита и улегся серебристый перезвон их украшений, он осторожно устремил взгляд вслед и наткнулся на встречные любопытные взоры. Многие рассматривали уже не минарет, а застывшего в трепетном волнении его творца.

Наутро следующего дня перед огромными воротами, крашенными причудливой мозаикой из драгоценных камней, среди шестидесяти мастеров стоял и юный зодчий из Ор-тюбе — Жаппар.

Привратники, вооруженные секирами, провели их внутрь. Приятным ароматом повеяло в лицо, словно из укромного уголка вдруг дохнул свежий запашистый ветерок. То было прохладное дуновение от бесчисленных фонтанчиков в хаузах, искусно расположенных в придворцовом саду. Крупным красным песком посыпанные тропинки были влажны, будто после недавнего дождя.

По обе стороны аллеи на каждом аккуратно подстриженном дереве сидело по одному заморскому павлину, и на их переливающихся многоцветьем перьях, точно бриллианты, поблескивали прозрачные капли.

Шесть индийских слонов, покрытых розовыми атласными попонами и с ярко-пестрыми паланкинами на широких спинах, покоряясь воле дрессировщиков, неторопливо и неуклюже опускались один за другим на колени и, грузно раскачиваясь, вновь не в лад

поднимались. Шестеро ловких и поджарых пышноусых дрессировщиков в ослепительно белых и высоких чалмах, сидя в паланкинах, размахивали короткими дротиками и что-то отрывисто выкрикивали.

Тонконогие косули с любопытством взирали из-за деревьев на это диво, но, едва почуяв приближавшихся людей, разбегались врассыпную.

Шестьдесят прославленных умельцев со всего света подошли сначала к трем мальчикам, смиренно восседавшим на пышном персидском ковре под легким шатром возле могучего тутового дерева, и, опустившись на одно колено, молча поклонились. Приняв поклон, мальчики встали и повели мастеров в глубину сада к тенистой лужайке перед дворцом, где на вышитой плотной подстилке возлежал, подмяв две пуховые подушки под бок, сам Повелитель. Он задумчиво смотрел на выложенный мрамором синий хауз, в котором плавали румяные наливные яблоки, а посередине, вскипая и вспыхивая радужными искрами, взмывал тугой струей белопенный фонтан. Когда до Повелителя осталось шагов двадцать, все спускались на колени и, сложа руки на груди, принимались отвешивать поклоны.

Повелитель едва высунул руку из-под широкого рукава и сделал какой-то знак семерым визирям, почтительно сидевшим в сторонке.

Главный визирь приложил обе руки к груди и направился в угол тенистого навеса.

Вскоре он появился вновь. За ним несколько джигитов несли небольшие плоские чаши на длинных, до земли, шелковых полотенцах.

Главный визирь что-то сказал, но юный зодчий от удивления и волнения ничего не расслышал и не понял.

Джигиты с чашами на вытянутых руках подошли к коленопреклоненным мастерам и со звоном просыпали на их опущенные головы по горсти мелких золотых и серебряных монет. Потом, наклонившись, протянули с подноса каждому небольшой, с кулак, тугой мешочек, завязанный шелковым шнурком.

Главный визирь дернул подбородком. Обласканные ханской щедростью мастера разом встали, отступили на несколько шагов и, отойдя к тутовому дереву на обочине тропинки, расположились в его тени. Повелитель приступил к приему, чужеземных послов. Они также

сначала отвесили поклон трем мальчикам — любимым внукам властелина. Потом мальчики приняли из их рук свернутые трубочкой грамоты и направились к Повелителю. В трех шагах от него они преклонили колени и с низким поклоном протянули свитки. Дворцовые слуги подвели послов под руки, за ними цепью тянулись слуги с подарками. В десяти шагах от Повелителя послы опустились на правое колено, сложили ладони и уронили головы на грудь. Слуги замерли рядом. К послам направились теперь визири и так же под руку подвели их еще ближе.

Послы робко сделали несколько шажков и, не размыкая ладоней, присели на пятки.

Повелитель обменялся с ними несколькими фразами. Мастера под тутовым деревом ничего не расслышали. Многие были впервые допущены в ханский сад и теперь глазели на все это пышное великолепие с разинутыми ртами.

Послов усадили на возвышение через тропинку напротив визирей.

Па почтительном расстоянии от ханской свиты слуги поставили плоские кожаные чаши с дымящимися кусками мяса и, поклонившись, бесшумно удалились. Явившиеся вместо них мужчины в кожаных фартуках, как по команде, вытащили из ножен кривые ножи и с необыкновенной ловкостью начали крошить мясо на мелкие кусочки.

В тенистом ханском саду к струящимся запахам цветов и свежести прозрачных фонтанов примешался густой сытый дух копченой конины, брюшного конского сала, вяленого огузка и нежной сладковатой баранины. Покрошив мясо, джигиты искусно разложили его по золотым, серебряным и глиняным чашкам.

Показалась новая группа слуг с расписными деревянными мисками. Не расплескав ни капли жирного бульона, они поставили миски на землю, добавили какую-то приправу, подготовили тузлук. Потом, перемешав его, разлили половником по плоским чашам с мясом, поверх горки, сложив вчетверо, положили тоненькую лепешку и тоже удалились.

Распорядители дворцовых церемоний поднесли чаши с блюдом Повелителю, послам, визирям, а менее именитых гостей, тех, кто сидел поодаль и пониже, принялась обслуживать дворцовая челядь.

После мяса угощали фруктами. А завершили трапезу хмельным кумысом, настоящим на меду.

Потом в круг вступили посольские свиты, учтиво стоявшие все это время в сторонке. Они несли подарки для властелина и шли медленно, степенно, с поклонами, позволяя насладиться взору диковинными и дорогими дарами — алмазными саблями, инкрустированными драгоценными камнями, шубами из редчайшего меха с вышитым орнаментом, иранскими коврами, слитками золота, жемчугом, рубином, сапфиром, сверкавшими на подносах, шкурами неслыханных зверей. Подойдя к Повелителю, они на мгновение опускались на колени, замирали. Повелитель знаком показывал, что благосклонно принимает подарки. Послы сгибались в подобострастном поклоне.

Посольские свиты чинной цепью потянулись к ханскому дворцу.

Повелитель встал. Высочайший прием был окончен.

Шесть гигантских слонов, опускаясь в колени и касаясь длинными хоботами земли, воздавали честь гостям, возвращающимся с ханского приема.

Стража у ворот опустила копья и склонила головы. В тот же день Повелитель объявил, что в честь окончания строительства мечети устроит большой пир.

На открытой, зимой и летом пустующей равнине за дворцовым садом темной ночью запылали костры, один за другим вырастали шатры. Здесь на площади и раньше проводились многолюдные торжества: всем жителям города были отведены определенные, заранее размеченные улицы-ряды в соответствии с их состоянием, общественным положением, чином и ремеслом. По обе стороны «улиц» протекает звонкий арык. Каждый заблаговременно знал место, где ему полагалось ставить свой шатер.

Уже на следующее утро огромное пространство за садом запестрело разноцветными шатрами. С самого края лепились небольшие, невзрачные шатры сапожников, портных, мелких ремесленников; ближе к середине заметно возвышались более просторные и красочные; а в самой середине торжественно раскинулись пышные шатры честолюбивых и спесивых богачей.

Бесчисленные шатры, заполнившие широкую равнину и словно по ступенькам поднимавшиеся к середине все выше и выше, казались издалека сказочно-пестрой многокрылой и многоярусной ордой-ставкой, горделиво устремившись к поднебесью. И, как завершение

необыкновенного ансамбля, в самом его центре за огромным четырехугольным пологом, высотой в полтора человеческих роста, возвышался величественный ханский шатер. Его венчал купол на двенадцати жердях-шестах в двадцать человеческих ростов. С вершины каждого шеста спадали, словно струясь, разноцветные шелковые ленты. В глазах рябило от этих гигантских ярких гирлянд, точно сплетенных из живых цветов. С четырех углов непомерно огромного шатра тянулись к середине четыре столба, крест-накрест связанные волосяными арканами и с полумесяцем на верхушках, а на их стыке была сооружена крохотная башенка.

Изнутри шатер был отделан ярко-красным сукном с золотой вышивкой. По четырем углам, у основания купола, были нарисованы орлы, взметнувшие перед полетом крылья. В доме с шатром Повелителя расположились одиннадцать юрт его жен. Каждую из юрт окружал туго натянутый шелковый полог разных цветов. Шатер властелина связывали с юртами причудливые, как лабиринт, проходы.

Одиннадцать юрт и шатер находились за общей оградой, вокруг которой выстроились дубовые бочонки с вином.

Шесть вооруженных отрядов, днем и ночью не смыкая глаз, сторожили ханскую ставку. Без особого разрешения главного визиря никто не смел, приблизиться к ней.

Перед гостями Повелителя охрана опускала отточенные копья, холодно сверкающие на солнце.

Между склоненными копьями прошел в ханскую ставку и зодчий из Ор-тюбе. Повелитель оказал ему великую честь, пригласив его в первый день пира, чтобы в своем ре угостить вином.

Трон Повелителя был установлен в середине шатра, а за ним тянулись ступеньками возвышения для многочисленной ханской семьи.

Едва гости чинно расположились по своим местам, как в шатер, звеня подвесками и, кувыряясь, вбежали придворные шуты. На площадке перед тронем они показали шутливое представление, высмеивающее ничтожных правителей-шахов, побежденных великим Повелителем в последнем походе.

Гости, однако, не осмеливались смеяться в присутствии властелина; не смеялся и Повелитель, соблюдая достоинство. Выходило, будто шуты забавляли самих себя.

Наконец представление кончилось, и казначей швырнул на поднос главного шута вышитый мешочек с монетами.

Шуты, склонив головы до земли и мелко перебирая ножками, отступили к выходу.

В этот миг из-за соседнего полога показалась Великая Ханша. Она была в пышном красном платье, вышитом драгоценными нитями. На груди притягивало взор ожерелье, в котором симметрично перемежались рубин и жемчуг. Длинный подол несли сзади на вытянутых руках пятнадцать молодых женщин. Лицо Ханши было густо покрыто белилами, брови насурьмлены. Воздушная вуаль слегка скрывала увядающие черты. На голове возвышался в форме минарета безукоризненный тюрбан, щедро усеянный драгоценными камнями. Края его волной спадали на плечи. Макушку тюрбана украшала золотая коронка с тремя крупными пламеневшими рубинами. Пышные перья филина обрамляли голову ханши, мягко свисая к ее ушам. Сложный головной убор ханши тяжело колыхался при каждом ее шаге, и несколько женщин придерживали его с боков. Черные волосы ханши были распущены на плечи. Огромная свита из ста разнаряженных женщин сопровождала старшую жену Повелителя.

Шествие ханши и ее свиты возглавляла группа евнухов. Они шли размеренной, тяжелой поступью, раздуваясь от важности и спеси, и на многочисленную толпу, низким поклоном приветствовавшую ханшу, глядели свысока, с едва скрываемым презрением.

Ханша уселась чуть позади властелина.

Через мгновение из-за другого полога вышла Младшая Ханша в сопровождении не менее пышной и величественной свиты. Она заняла место чуть пониже Старшей Ханши. А уже за нею расселись семь снох Повелителя.

Ханский шатер мгновенно преобразился, стал похож на сад эдема, по которому разгуливают вечные девственницы-гурии.

Молодой зодчий чувствовал себя как во сне и, замирая сердцем, все глядел и глядел на прелестных женщин, разнаряженных в шелка и атлас, увешанных золотыми, серебряными, бриллиантовыми украшениями, и в глазах его рябило, и слегка кружилась голова от буйства бесчисленных ярких красок.

Когда ханши и их свита, шурша одеяниями, позванивая подвесками, наконец-то расселись, всем поднесли вино и кумыс.

Сначала вышли ханские отпрыски-ханзады — с белоснежными полотенцами в руках, за ними — статные, ловкие, как на подбор, юноши-слуги, неся на золотых подносах маленькие золотые чашки с напитками.

На полпути ханзады преклонили правые колени. Потом шелковым полотенцем осторожно обхватили чашки, поданные слугами, и, подойдя к ханшам, с поклоном протянули им напитки. Как только ханши приняли из их рук чашки, ханзады отступили на шаг и, опустившись на колени и потупив взор, ждали, пока им вернут пустую посуду. Потом все так же, полотенцем обхватив опустошенные чашки, передали их слугам и, вновь поклонившись, вышли из шатра. Среди гостей, на отдельном деревянном возвышении сидели и шестьдесят мастеров. Испить ханскую чашу до дна являлось непреложным законом. К заходу солнца, заметно пошатываясь, уже плохо соображая, что к чему, гости покинули ханский шатер и разбрелись по своим улицам.

Надвигалась летняя ночь. На черном южном небе перемигивались звезды. Дневная духота растворилась во мраке. Между бесчисленными шатрами, как бы перемигиваясь, запылали яркие костры. Вокруг костров толпился возбужденный весельем люд. Вечернюю тишь распарывал могучий рев длинных, как шест, кернаев; им вторили несмолкаемая дробь барабанов, перезвон дутаров, выражавших хмельную радость и восторг жадной до зрелищ толпы, тягучий, глухой напев гыжаков, тонкая трель рожка и других диковинных инструментов. В круг костра то врывались тонкостанные юноши в тюбетейках, в пестрых легких халатах, туго перепоясанных яркими кушаками, и, загораясь от собственной удали, пускались в залихватски-огненный пляс; то вплывали, кружась в истоме, легконогие красавицы, шелестя шелковыми нарядами, мелькая черными, туго заплетенными косичками и белыми, как серебристая рыба в воде, руками.

Разморенные вином и обильной пищей мужчины располагались группами по несколько человек возле медного самовара, с наслаждением потягивали чай и, похохатывая, отпускали двусмысленные шутки.

Ровно потрескивал огонь под огромными казанами, и, когда повара приоткрывали плотные деревянные крышки, сладкий аромат

доспевающего плова струился над землей, наполняя сытным духом всю округу. Черноусые, гладкие шашлычники, засучив рукава по локоть, сноровисто вращали шампуры над саксаульным огнем, и от кебабов, покрывающихся румяной корочкой, сочился жир, с шипением капая на уголья... С усов и молодых, и старых стекало вино.

Слух ласкали сладкие напевы, ноздри щекотали приятные запахи.

Под черным небом причудливо выплясывали над тысячью костров багровые язычки пламени.

Все сильнее разгоралось веселье. Все громче звучал смех под покровом ночи.

На ханском пиру гулял-веселился народ.

Во время таких торжеств строго запрещались козни, интриги, взаимные упреки и обиды. В час веселья человеку надлежит быть выше мелких недоразумений. Важно не переступить границы приличия. Ну, а для драчунов и смутьянов, дерзко нарушающих заведенные порядки, на всякий случай было поставлено на холме поодаль несколько виселиц.

После пира Повелитель отправился в новую мечеть, сотворил намаз, получил благословение святого сеида и выступил в поход на запад.

Богач Ахмет, у которого жил зодчий Жаппар, выдавал дочку замуж.

Три недели продолжалась суматоха на тихой улице, где в вечернюю пору обычно слышалось одно лишь сонное бормотание арыка. И больше всех суетился, раздуваясь от спеси, сам бай Ахмет.

Падкий до шумных торжеств, торговец еще за неделю до свадьбы приказал достать из заветного сундука давно приготовленные праздничные одежды и с утра до полудня вертелся у зеркала.

— Эй, жена, подойди-ка.

А жена в это время то ли сад поливала, то ли лепешки в печекетандыре пекла — не расслышала сразу зов мужа.

— Оу, жена, оглохла, что ли?

Со двора, словно из-под земли донесся заполошный голос:

— Что случилось, бай-ака?!

Торговец возмутился:

— Да иди же, тебе говорят! Жена, торопливо вытирая о подол руки, тотчас присеменила.

— Посмотри-ка на меня.

— Ну...

— Не нукай! Не видишь разве?

— Вижу, бай-ака...

— Что, дура, видишь?

— Вас вижу, бай-ака...

Бестолковость благоверной вывела Ахмета из себя. Сорвав с головы огромную чалму, замахнулся на жену, застывшую в недоумении, и вытолкнул вон.

Молодой зодчий отдыхал на глиняном возвышении у входа, прислушивался к их перепалке и тихо смеялся. Сколько раз приходилось ему быть свидетелем причуд хозяина. Он был неизменен в своих привычках...

Обычно возмущение бая Ахмета проходит не скоро. Но постепенно его ворчание утихает, глядишь — и через часок-другой он торжественно появляется в дверях. На голове — искусно закрученная

десятиметровая чалма, на плечах — багрово-красный бархатный чапан, на ногах — синие сафьяновые кебисы. Тугое брюхо крепко-накрепко затянуто широченным ремнем в серебряных пластинах. На груди чапан расстегнут, чтобы виднелась ослепительно белая шелковая рубашка.

— Как я выгляжу, почтенный устод?

— Отменно, бай-ака!

Бай Ахмет, самодовольно ухмыляясь, спускается по ступенькам беседки и кричит жене, хлопочущей в углу двора:

— Эй, жена... скажи всем: сегодня лавка закрыта.

И, размахивая руками, точно стреноженный, мелко-мелко перебирая короткими ножками, он направляется к воротам.

Возвращается торговец при вечерних сумерках. Едва войдя в ворота, вопит:

— Жена! Осталась у тебя вода в кумгане?

Потом, опустив ноги в теплую воду в медном тазу, он громко рассказывает, желая, чтобы услышали его все — и жена, подливающая из чугунного кумгана кипяток, и Жаппар, учтиво вышедший навстречу хозяину, и дочь, готовящая ужин у тандыра, и ишак, сосредоточенно хрумкающий сено в углу двора, и арба-двуколка, задравшая оглобли кверху, и глиняный дувал, местами обвалившийся и почерневший от времени, и редкие звезды, тускло мерцающие на еще белесом небе, и тихая улица, убаюканная монотонным бормотанием арыка, и любопытные соседи, и темнеющие вдалеке таинственными силуэтами ханские дворы и сад, и даже весь необъятный мир — услышали длинный и восторженный рассказ бая Ахмета о том, чьи купеческие магазины он посетил сегодня, кому показал свой торжественный наряд, с кем поспорил, пошутил, поругался, кого задел за живое, на чьего перепела делал ставку, сколько чайников зеленого чая выпил в чайхане — в се, все до самых мельчайших подробностей. Закончив рассказ, он сбрасывает на руки жены чалму, чапан, шальвары, рубаху, кушак, сафьяновые остроносые кебисы, нагружая ее до самого подбородка, и, вспомнив вдруг что-то очень важное, неожиданно спрашивает:

— Кстати, сколько приготовила стеганых одеял?

И, выслушав ответ жены, строго наставляет:

— Смотри, свадьба на носу... не оплошай...

Бай Ахмет придает лицу озабоченное выражение и, достав табакерку, долго нюхает душистый табак. Потом два раза кряду оглушительно чихает, отчего вздрагивает все подворье и, словно избавившись с этим чихом разом от всех забот и тревог, а заодно и от всех слов, он удовлетворенно молчит. После обильного ужина он валкой походочкой, точно раскормленный селезень, отправляется на мужскую половину, плюхается в постель рядом Жаппаром и, едва коснувшись головой подушки, могуче всхрапывает. Молодой зодчий, невольно прислушиваясь к «ночному пению» своего хозяина в два голоса — туда и сюда, то понемногу затихающему, то вновь нарастающему с необыкновенной силой, долго не смыкает глаз.

Тихо-тихо в большом городе великого Повелителя. Огни под треногами за глиняными дувалами давно погасли.

Все спят. Один Жаппар бодрствует. Ворочается с боку на бок, изводит себя бесконечными думами и лишь к утру погружается в забытие.

Просыпается он от неожиданной тишины. Еще не соображая, в чем дело, оглядывается вокруг: постель бая Ахмета пуста. Но тут доносится до слуха зодчего тихий скрип двери на женской половине, и Жаппар, улыбнувшись в полусне, поворачивается на другой бок.

Наконец пришел день свадьбы, которого едва ли не больше всех других ждал сам бай Ахмет. В четырех местах во дворе раскалили казаны для плова; на длинных шампурах над саксаульными углями доспевал кебаб. В тандырах-печках жарко пылал огонь.

Причудливая смесь запахов струилась вокруг: во дворе — запах блюд, на мужской половине — запах вина и пота, на женской половине — запах фруктов и духов.

Пиршество продолжалось весь день. Время от времени взмывали над гулом людских голосов звуки дутара и треск барабанов. На мужской половине в кругу, под четкую дробь бубна, плясал, прищелкивая пальцами, тонкий подросток, а мужчины, плотным кольцом обступившие его, гулко били в такт кулаками по потной, волосатой груди; на женской половине, извиваясь, танцевала девушка, а женщины дружно и восторженно хлопали в ладоши.

С заходом солнца в комнату мужчин кази, специально приглашенный по случаю бракосочетания, позвал жениха и свидетеля со стороны невесты. В расписную чашу освященной водой он бросил

серебряное кольцо. Прочитав молитву-благословение, кази попросил жениха выпить глоток из чаши, которую тут же через свидетелей передал на женскую половину. Когда и невеста отпила глоток, чаша вернулась к кази. В присутствии сватов и свидетелей с обеих сторон он благословил священный брак.

Вновь расстелили дастарханы. Веселье продолжалось. А в полночь жених передал на женскую половину весть: он горит желанием увидеть невесту.

Женщины забежали, засуетились. Все взяли в руки зажженные свечи и приготовились встретить жениха. В комнате за шелковой шторой-занавесом невеста осталась одна.

В сопровождении ватаги джигитов жених направился женскую половину. И только распахнулась дверь перед ними, как началась суматоха, поднялся гвалт. Женщины с криками набросились на джигитов, стараясь отбить и них жениха. Джигиты, ухмыляясь, защищались. Запахло горелым. На ком-то загорелась одежда, кто-то опалил невзначай бороду и спешно прикладывал к ней подол чапана. Все же, как и положено по обряду, женщинам удалось завладеть женихом. Его подхватили с двух сторон, повели к невесте, остальные тайком кинулись за ним.

Потеряв жениха, джигиты вернулись на мужскую половину, вновь подсели к дастархану.

Жених в это время щедро одаривал женщин, чтобы они смилостивились над ним и показали невесту. Девушки пели и танцевали, веселя и подбадривая жениха.

А невеста, притихшая, задумчивая, терпеливо восседала одна-одинешенька на пышной горке из сорока сложенных одеял-корпе — приданое, которое она завтра увезет с собой. Лишь вдосталь одарив и утешив бойких подружек невесты, взволнованный жених получил возможность пройти за занавес. Молодым принесли чашу плова и свежие фрукты.

Наступила глубокая ночь. В комнате, заставленной тюками, увешанной коврами, всюду валялись одежды невесты, на полу стояли ее кебисы. Молодых уложили на брачную постель. Игривые молодки, выходя из комнаты, загасили свечи и прильнули к окну и двери, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Некоторое время они стояли молча, затаив дыхание, потом вдруг пришли в радостное возбуждение и

принялись понимающе переглядываться, хихикать. Вскоре шорохи и возня в комнате улеглись, и смех сразу слетел с лукавых губ молодаяк. Пошептавшись, одной поручили постучаться к новобрачным.

На стук вышел жених, молодаяк ловко скользнула внутрь и скоро вернулась с подарком. Что-то шепнула сверстницам, застывшим в великом нетерпении, и те радостно и облегченно рассмеялись, всей ватагой заспешили к матерям жениха и невесты, чтобы обрадовать их доброй вестью и получить от них положенный подарок.

На другой день, с утра, изрядно утомленный жених направился на мужскую половину, чтобы в последний раз попить с друзьями. Отныне он хозяин дома, глава семьи и не пристало ему возиться с холостяками.

Джигиты, как это обычно бывает, начали подтрунивать над молодым супругом, намекать на его любовные подвиги на брачном ложе. Один Жаппар угрюмо молчал, а вскоре и вовсе покинул расшумевшихся сверстников-зубоскалов.

У него раскалывалась голова от гвалта и суматохи со вчерашнего дня. До тенистого тутового дерева у ворот он еле доплелся.

Пир кончился в середине второго дня. Жених, по обычаю, уехал к себе, невеста осталась пока в отчем доме. Бай Ахмет, словно не решаясь расстаться с праздничным одеянием, слонялся без дела из дома во двор и назад. Невеста, как заперти, сидела в комнате с ширмой-занавесом. Соседки, наперебой обсуждая подробности прошедшей свадьбы, перемывали посуду.

Жаппар чувствовал себя разбитым. На людей, суетившихся перед его глазами, смотрел с удивлением, словно не понимая, зачем они тут.

И ночь почудилась ему невыносимо душной, он метался в постели на мужской половине, потом не выдержал, встал, сунул босые ноги в кебисы и выбрался во двор. Полная луна заливала мир молочным светом. Казалось, даже ветхий глиняный дувал выбелила чья-то волшебная рука. Выморочная тишина стояла вокруг. Только однообразный сухой хруст доносился из угла двора: серый ишак отрешенно хрумкал сено.

Жаппар прислонился к деревянной опоре навеса, подставил грудь ночной прохладе. Вдруг что-то глухо шмякнулось неподалеку. Жаппар посмотрел в сторону ворот, но ничего не увидел. Неужели померещилось? Он прислушался. Ни звука. Только ишак в угловом

загоне с треском жевал свое сено. Странно, звук был такой, будто грузный мешок ударился оземь. Шлепая просторными кебисами, Жаппар вышел из-под навеса. И опять показалось, что кто-то воровски шмыгнул в тень за домом. Зодчий остановился, затаил дыхание. Сердце гулко заколотилось. Наконец, решившись, он стремительно шагнул в тень, и тут же кто-то выскочил из-за угла и кинулся к дувалу. Хлюпая кебисами, Жаппар бросился следом. Беглец затравленно оглянулся, потом полез на дувал, но сорвался и прижался к стене. И, когда Жаппар настиг его, вдруг с облегчением сказал:

— Э, так это ты, оказывается... А я-то думал, Ахмет-агай.

Жаппар по голосу узнал жениха. Тот, встопорщив черные кустистые брови, как-то странно осклабился, то ли с неприязнью, то ли с жалостью, посмотрел на зодчего и спокойно, уверенно, широкой развалочкой направился к дому. За ним по земле волочилась несуразно длинная тень.

У угла длинная, как шест, тень переломилась, метнулась напоследок, точно хвост собаки, и исчезла.

Жаппар застыл, как в полусне, и растерянно смотрел на пустынный под зыбким светом луны хозяйский двор.

С той ночи в течение еще недели продолжались посещения жениха. В полночь раздавался под окном глухой звук, а через мгновение — скрип двери на женской половине.

Однако через неделю жениху почему-то расхотелось придерживаться исконного обычая, по которому полагалось посещать невесту тайком, под покровом ночи, не попадаясь на глаза ее родителям, и так в течение целого года, лишь, после чего он вправе забрать богом данную супругу к себе. То ли он что-то заподозрил, то ли наскучило каждую ночь лезть через дувал — кто знает. Через неделю он посреди белого дня увез невесту из родительского дома.

Теперь, возвращаясь вечером после работы домой, зодчий Жаппар чувствовал какую-то непонятную тревогу и пустоту. Вокруг дома тянулся все тот же старый, обшарпанный, местами обвалившийся дувал. В одном углу громоздилась арба-двуколка, задрав длинные оглобли. В угловом загоне все так же отрешенно и монотонно хрумкал сеном серый ишачок. И все же словно опустел двор, обезлюдел, потускнел. Бай Ахмет, хотя и по-прежнему поглаживал тугой живот, однако уже не говорил так громко в восторженно. Остепенился Ахмет,

поскучнел Ахмет. Жена и вовсе бессловесной стала. Лишь по едва заметному колыханью черной паранджи и длинного, до пят, коричневого чапана можно было догадаться, что душа еще не покинула ее иссохшее, покорное тело.

Комнату, в которой во время свадьбы находилась ширма-занавес, теперь предоставили Жаппару. Здесь юная байская дочка проводила первые брачные ночи. Здесь еще не успели выветриться запахи духов, мазей, сурьмы, белил и нежного женского тела. Ложась к ночи в постель, Жаппар, обуреваемый тревожной истомой, жадно ловил эти запахи, такие непонятные и одновременно знакомые и приятные ему, рисовал в своем воспаленном воображении сладостно-желанные картины. Едва он закрывал глаза, как из угла крохотной комнатки неслышно приближалась к нему, точно плывя по воздуху, трепетная красавица в легкой, почти прозрачной накидке и с распущенными шелковистыми волосами; но стоило только чуть приоткрыть веки, как ничего не было, кроме тусклого и зыбкого лунного света, струящегося в маленькое окошко. Так он лежал долго, то открывая, то вновь закрывая глаза, наслаждаясь дивным видением, пока не тяжелели веки, пока не наваливалась на него усталая дрема. Но и во сне не покидали его неясные грезы. Легкая тень полуобнаженной девы совсем рядом, на расстоянии протянутой руки, будто стелила себе постель. Вот она, таинственная дева, невесомо легла на белоснежную перину и замерла в ожидании. Он весь охвачен неумной истомой, то жар, то холод прокатывается по телу, но отчего-то не в силах он шелохнуться и только изводит себя страхом, желанием, сомнениями. Он хочет подняться, но неведомая сила придавила его к постели. Он даже не в состоянии повернуть голову, она словно выросла в подушку. Он уже не видит прикорнувшую рядом деву, но чувствует, каждой частицей своего жаждущего любви тела чувствует ее. Он пересиливает себя, онемевшей рукой осторожно тянется к затаившейся деве; вот рука дотянулась до пуховой подушки и вдруг коснулась чего-то жесткого и ледяного. Жаппар просыпается в испуге. После таких тревожных мучительных ночей он и на работе чувствовал себя разбитым, квелым. Все валилось из рук. С тех пор, как бай Ахмет выдал дочку замуж, молодой зодчий стал замкнутым, молчаливым, мнительным.

Отправляясь в поход, Повелитель строго наказал не торговать на открытых городских площадях, в садах и на улицах, ибо нетерпимо,

чтобы в лучшей в мире столице, надрывал глотки торговый люд и из-под копыт лошадей, ишаков пыль поднималась до небес; по распоряжению Повелителя для торговли должна быть построена длинная, на несколько верст, крытая улица с купеческими лавками и магазинами по обе стороны и с хаузами, в которых днем и ночью бьют фонтаны.

С тех пор круглые сутки кипела работа на стройке: рабы из крепости разрушали дома и дувалы на пути будущей крытой улицы; ночь напролет расчищали площадки, а утром приходили мастера со строителями-рабочими и продолжали тянуть длинный ряд купеческих лаков. Крытая улица для будущего базара дошла уже до центра города. Зимой промерзшая земля серьезно мешала грунтовым работам. То ли безмерно уставал Жаппар от несмолкаемого грохота сотен каменотесов и бесконечной суеты на стройке, то ли очерствел душой и успокоился, только в последнее время он уже не метался во сне. Облик таинственной девы, преследовавший его, тоже заметно померк, поблек. Юная дочка купца Ахмета, которой пылкий зодчий втайне любовался каждый день, теперь навсегда, должно быть, исчезла, упрятанная за одним из бесчисленных дувалов-лабиринтов большого города, и со временем чудилось, что это милое, улыбчивое создание все больше и больше удаляется, как бы растворяясь в мираже далеких воспоминаний. И все же нет-нет, да и вспоминалась она, прелестная Зухра, так явственно, так живо, что у Жаппара больно сжималось сердце, словно касался его невзначай ледяной холод. Раньше постоянно в нем боролись тоска и страсть, попеременно одолевая друг дружку, теперь они обе точно обессилели.

Что-то изменилось в молодом зодчем. В его жестах, движениях, взгляде, манере хмурить брови чувствовались внутренняя решимость, затаенная печаль, сдержанность. Казалось, он весь сосредоточился на работе и отныне ничего не желает видеть, кроме поднимающихся на его глазах кирпичных стен.

Под его руками ряд в ряд бесконечной цепью ровно и прочно укладывались кирпичи, словно очищенные от его смутных надежд, туманной печали, удушливой тоски. Изо дня в день росла, удлинялась крытая улица. Уже скоро два года, как отправился Повелитель в далекий поход. Главный мастер покоя лишился, подгонял, поторапливал строителей, старался во что бы то ни стало исполнить

наказ властелина к его возвращению. Спозаранок приезжал главный мастер на стройку, внимательно и придирчиво следил за работой. Вот и сейчас оставил он легкую повозку у ворот и торопливо вошел под навес, где трудились каменотесы. Однако на этот раз он не задержался возле них, не обмолвился ни единым словом, а стремительно направился вглубь, где воздвигались стены. Может, опять поступил какой-нибудь срочный заказ? Мимо него шныряли носильщики, но и им главный мастер не сделал замечания. Отчего он такой озабоченный и серьезный? К кому он спешит? Какое дело гонит его спозаранку? Вот он повернулся и направился прямо к нему, молодому зодчему. Подошел, поставил ногу на груду кирпичей, задрал голову.

— Жаппар, бросай все...

Что это значит? Жаппар недоуменно уставился ему в лицо.

— Собирайся! Идем во дворец. Тебя вызывает старший визирь.

Легкая повозка главного мастера быстро доставила их к белому дворцу старшего визиря. Охранники открыли ворота, расступились. Жаппар послушно последовал за главным мастером. Они прошли несколько прохладных, гулких, просторных залов дворца, вступили, наконец, в огромную голубую комнату, где в середине, на возвышении возле фонтана, восседал старший визирь. Он великодушно принял их поклон, пристально оглядел Жаппара с ног до головы; потом задумчиво пожевал губами и, словно решившись сказать что-то необычайно важное, открыл рот и опять устремил на молодого зодчего пытливый взгляд.

— Ты сказал ему, зачем я его позвал? — спросил он у главного мастера.

— Нет, господин, — ответил тот, сгибаясь в низком поклоне.

— Тогда выслушай меня, устод Жаппар. Младшая Ханша решила обрадовать великого Повелителя и в честь его возвращения из далекого похода построить минарет. Мы решили вам доверить эту честь...

Старший визирь со значением выкатил большие умные глаза. Видно, это было в его манере — предельно лаконично высказать важное решение, а потом исподлобья наблюдать, какое впечатление это произведет на собеседника.

Жаппар, словно не в силах выдержать тяжелый взгляд пучеглазого визиря, низко склонил голову.

Старший визирь покосился поверх Жаппара в сторону входной двери и лениво, вразтяжку, без всякого выражения проронил:

— Надеюсь, вы все поняли...

Жаппар взглянул на главного мастера, как бы спрашивая, что и как следует в таких случаях сказать, однако тот сидел безучастно, с непроницаемым лицом, будто ничего не слышал.

Жаппар молчал, соображая про себя, что могло бы означать странное поведение главного мастера, но тут вдруг вспомнил, что старший визирь, сидящий перед ним, дожидается его ответа и молчание становится уже неприличным, и торопливо и смущенно промолвил:

— Да... все понял...

Целый месяц выбирал Жаппар место для будущего минарета. Не осталось такого уголка в большой столице, где бы он ни побывал, пробуя грунт под ногами и внимательно оглядывая окрестность.

Наконец двуколка, на которой разъезжал молодой мастер, остановилась на открытом холме неподалеку от сада, где находился дворец Младшей Ханши.

Казалось, более удачного места для минарета не найти. Холм заметно возвышался над основанием равнинного города. И грунт был плотный, надежный, не супесь и не суглинок. Осадка в будущем должна быть незначительная. Здесь был не шумный, пестро застроенный центр, но и не слишком отдаленная окраина. А самое главное — на виду. Все открыто, всюду простор. Знаменитые мечети, медресе и ханские дворцы находились отсюда на почтительном расстоянии. Вокруг ничего примечательного, что могло бы привлекать взор. К северу от холма стоял лишь единственный дворец Младшей Ханши. Но и его не видно было из-за густо разросшегося, диковинного сада.

Здесь, на этом холме, после долгих колебаний и раздумий, собственными руками вбил молодой мастер кол.

И сразу ожил холм, весь изрытый сусликами. Со всех сторон, вздымая пыль, потянулись сюда груженные арбы. Горы жженого кирпича выросли вокруг подножья. Могучие рабы, раздетые по пояс, поблескивая бронзовыми, потными спинами под ослепительным солнцем, копали землю, шаг за шагом, взмах за взмахом, пядь за пядью вгрызаясь в ее чрево. С каждым днем на глазах рос вал вынутаго

грунта, и вскоре уже не видно стало черных от загара плеч рабов-землекопов. Жаппар от волнения был сам не свой. Целыми днями ходил и разъезжал он вокруг холма, разглядывая со всех сторон место, где предстояло построить взлелеянный в душе минарет.

И настал тот день, когда сорок землекопов, вырыв котлован, вышли на божий свет. Теперь в котлован опустился сам Жаппар. И хотя здесь, под землей, было удивительно прохладно по сравнению с поверхностью, где пекло нещадное солнце, Жаппару уже через день-другой стало скучно и неуютно. Он спешил подняться наверх, рвался к свету. Порой чудилось, что если он вскоре не выберется туда, на белый свет, обрамленный синим небосводом, то здесь его навсегда заполонит какое-нибудь подземное чудище. И он с нетерпением ждал кожаные носилки, на которых спускали к нему сверху кирпич и раствор.

Наконец он выложил основание минарета и выбрался наверх. Казалось, из-под земли выростал могучий каменный ствол, которым поневоле любовались все прохожие. Молодой мастер испытывал приятное волнение и гордость этих восторженных взглядов. И когда он видел, что кто-нибудь из многочисленной толпы, хлопчущей там, внизу, всецело поглощен созерцанием его рождающегося творения, все его однообразные движения, привычная монотонная работа искусного каменщика, тяжелый труд, утомлявший мышцы и оуплявший разум, вдруг сразу обретали особый смысл и значение. В такие мгновения усталость как рукой снимало.

Упорно, день за днем растил он стены минарета и с каждым новым рядом все заметнее удалялся от земли, от рабов, месивших внизу глину. Теперь рабы доставляли ему камни и кирпичи на носилках, поднимаясь по внутренним шатким лестницам. В узком, как труба, минарете он целыми днями пребывал в одиночестве. Поредели ряды любопытных зевак, с нескрываемым восторгом наблюдавших за растущей на глазах башней и ее строителем-чудодеем. Правда, от них теперь и толку никакого не было. С высоты крутых и круглых стен люди внизу казались игрушечными, точно нарисованными, с нелепо растопыренными руками и ногами, и мастер уже не мог видеть восторга в их глазах и не мог услышать лестной похвалы из их уст. И кирпичи снова не в меру отяжелели. И усталость, как прежде, сковывала мышцы. Размеренная, бесконечная кладка кирпича к кирпичу чем-то напоминала шажки стреноженного скакуна и

утомляла, надоедала своим однообразием. Теперь он с особым нетерпением ждал, когда рабы поднимутся к нему и вывалят из носилок кирпичи к его ногам. Он обостренно прислушивался к каждому звуку. Сначала снизу докатывался глухой, раскатистый гул, как из пустой бочки, потом все явнее, резче, четче слышались шаги. Рабы были из далеких, неведомых стран. Он не понимал их, они — его. Но когда где-то рядом чувствовался крепкий, острый запах соленого мужского пота, обычно ему неприятный, молодой мастер говорил рабам что-то радостное. И они, невольники, сверкая зубами, приветливо улыбались в ответ, хотя и не понимали его.

Башня между тем уже возвышалась над ближайшими домами и строениями. Узкие улочки близ лежащих махалля и суэта в крохотных двориках — все было видно, как на ладони. По узким щелям меж приземистых мазанок взад-вперед двигались, копошились, точно какие-то чудные существа, пешие и верховые на ишаках. Их странный, неуклюжий с вышины птичьего полета облик и бестолковая, беспорядочная возня на земле вызывали невольную улыбку. Особенно базар ничуть не отличался от муравейника. Даже многокрасочные, яркие товары, всегда радующие глаз, отсюда, с вершины, казались бесцветными и незначительными.

Странно: люди вроде бы себе назло придумали эту мелочную, бессмысленную суету. Словно мало им необъятного божьего пространства, будто боятся они простора, еще при жизни добровольно замуровали себя в душные каменные мешки, в тесные расщелины, где изо дня в день толкутся, как в ступе. Совершенно непостижимо, почему эти беспокойные двуногие смертные, копошащиеся в гигантском сером муравейнике, так восторгаются и дорожат своей мнимой жизнью, где, сшибаясь, как льдины в половодье, бьются и хватают друг друга за глотки ради богатства, чинов, положения, славы и прочей мишуры. Мудрено ли не свыкнуться в эдаком котле, постоянно сталкиваясь друг с другом?! Какая злая сила, смешав, сгрудила их в одну кучу, когда столько безлюдной, вольной шири вокруг?! Живи они вразброс по беспредельной степи, какой вражина позарился бы на них? И, наоборот, разве не велик соблазн растоптать, расшвырять, развеять кишаций муравейник? Великий властелин, разрушивший за свой век не один подобный муравейник, из года в год расширяет свой собственный. Для чего, к примеру, понадобилась вот

эта строящаяся башня? Для того, чтобы ласкать взор всякого встречного-поперечного? Или привлечь внимание врага, намекая, что здесь, у подножия минарета, раскинулся еще один человеческий муравейник? Или, наоборот, в знак предостережения, чтобы никто не приблизился к этой смрадной свалке, чтобы оставались на вольной воле?.. Для чего?.. Какой смысл?.. Он, мастер, во всяком случае, не знает. Он просто получил еще в прошлом году задание от пучеглазого старшего визиря и принялся за дело. Говорят, такова воля Младшей Ханши, которая там, в густом саду, из какого-то уголка наблюдает за ним. И зачем ей понадобился этот каменный столб — шайтан знает. Когда посещали его подобные непрошенные мысли, ему вдруг нестерпимо хотелось на простор, чтобы избавиться и от этого шумного, многолюдного города, от бесконечных и путаных, как улочки, дум. Его неодолимо тянуло в великую степь, чьи причудливые миражи зыбились, играя, под боком неприглядных глиняных окраин. Однако в какую бы сторону он ни повернулся, куда бы ни посмотрел, всюду перед его глазами тянулись невзрачные, унылые, как непролазная осенняя грязь, глиняные дувалы и стены, похожие на огромный, наводящий тоску своим однообразием серый полог. И чтобы не задохнуться в этой смрадной житейской грязи, он отчаянно карабкается, лезет вверх по крутой каменной башне, туда, к синему, прозрачному поднебесью.

И только теперь Жаппар понял, почему нужны минареты. Оказывается, они выражают высокое и гордое стремление рода человеческого отрешиться хотя бы на мгновения от всего привычного и низменного, бескрылого, что притягивает, придавливает, клонит неодолимо и со всех сторон к земле, где на уровне ослиного хвоста незначительное кажется значительным, а ничтожное — великим, где повседневную мелочную недостойную суету зачастую выдают за подлинную жизнь, отрешиться от всего мнимого и подняться, взлететь, может быть, даже наперекор судьбе, на высоту, вострепнуться непокорным духом, чтобы можно было узреть истинно величественное, чем прекрасен и сам беспредельный мир, и высшее творение жизни — человек. Ведь неспроста даже суслик и тот время от времени испытывает потребность оставлять свою опостылевшую, вонючую норку и растянуться поодаль у подножия холмика, выставив солнцу круглый бочок, и смотреть, смотреть маленькими глазками-

точками, жадно и с наслаждением, на нескончаемый божий мир, смутно ощущая, что помимо подземных мышинных забот существует еще и другая, таинственно непостижимая жизнь, в честь которой он и выводит свою торжественно-писклявую песню.

Быть может, этот минарет, точно прорвавшийся из земли, не просто выражение гордой и дерзкой человеческой мечты, а неодолимый порыв, неумная тяга самой земли, многотерпеливой и многострадальной, к безмятежно раскинувшемуся над ней загадочному голубому небу? Разве эти маленькие жженые кирпичики в его руках еще вчера не были недостойной серой глиной под копытами ишака? А вот сегодня, словно, одухотворенные некоей чудодейственной силой, передающейся через его руки еще недавно бесформенной глине, превращаются в вполне осознанную, прекрасную, манящую цель — в гордо устремившийся ввысь минарет.

В прошлом году, когда на этом месте собственноручно вбил кол, он также, стоя на гребне древнего кургана, подолгу вглядывался в выжженное солнцем небо, но ничего не увидел тогда, кроме всего лишь на миг всплывавшего из мрака небытия и тут же исчезающего видения. Таинственно-величавый минарет, возникавший вдруг перед его глазами, так же неожиданно исчезал, будто проваливался сквозь землю. Но еще год назад здесь, на холме, испещренном норками сусликов, он твердо знал, что дивное видение, рисовавшееся в его воображении, превратится, непременно превратится из сказки в быль и станет великолепным минаретом, способным вызвать радость и восторг.

...Вспомнились события восьмилетней давности.

Вслед за серым ишаком, изо всех сил тащившим вверх по крутому склону песчаного увала два больших полосатых корджуна, понуро брели отец и сын. Полмесяца продолжался уже их утомительный путь. Лишь возле одиноких, редких колодцев, покрытых сверху саксаулом и кустарником и расположенных друг от друга на расстоянии двух, а то и трехдневного пути, они останавливались на недолгий привал.

Отец брел чуть впереди и время от времени резко останавливался и распрямлял, морщась от боли, онемевшую от долгого подъема спину, застывал, держась за бока, а потом, обреченно вздохнув, вновь продолжал путь.

И только безропотный серый ишачок не выказывал усталости. Откинув назад длинные пыльные уши и повесив голову, мелко-мелко, точно заведенный, перебирал точеными ножками. За многие века он крепко усвоил, что в неволе у двуногих ему все равно нечего ждать покоя. Он знал, серый ишачок, вернее, чувствовал нутром, что в этой унылой пустыне где-нибудь, да и будет короткая остановка, где и напоят его, и на выпас отпустят. И сделают это двуногие не ради него, не из-за жалости к нему, а, прежде всего ради себя самих. А коли так, то нечего роптать на судьбу, нужно покорно идти вперед и вперед, не оглядываясь по сторонам. Эту нехитрую истину серый ишачок познал едва ли не с рождения.

Однако замыкавшему куцее кочевье смуглому худощавому юноше все это давно наскучило и надоело.

Отец проболел всю зиму и лишь в весенний месяц новруз поднялся с постели. Он вдруг с лихорадочной жадностью принялся за хозяйство: вспахал свой клочок земли, разровнял пашню граблями, посеял джугару. Потом взрыхлил почву под чахлыми фруктовыми деревьями, сиротливо торчавшими возле приземистой, плоскокрышей мазанки. Почистил, пообрезал ветки.

Все это он проделал молча, потом собрал всех детей и каждому, кроме Жаппара, дал наказ. Некоторое время спустя он вместе с Жаппаром собрался в путь. Жители маленького зимовья, затерявшегося в степи, стоя возле своих лачуг, долго смотрели им вслед.

Когда они, навьючив на серого ишака обшарпанный, выцветший полосатый корджун, вышли из ворот, соседки нетерпеливо спросили у матери:

— Куда это подался мастер-горшечник?

Мать недоуменно пожала плечами.

На какой путь решился вдруг отец, не знал до сих пор и сам Жаппар. Разное рассказывали люди об его отце. Но что было правдой, что досужим вымыслом, а то и просто сплетней, не представляли толком и сами дети. Более того, тайной было само появление горшечника. Однажды ненастной осенью прибыл он с каким-то караваном в эти края, да так и остался на зимовке. Молчаливый, замкнутый крупный чернолицый мужчина оказался незаурядным умельцем: под его пальцами словно оживала самая обыкновенная

глина. Вскоре он зажил самостоятельно: и искусном горшечнике нужда была большая. Взял в жены девушку-сироту. Пошли один за другим дети. Из них он особенно любил и постоянно держал при себе первенца Жаппара. Была у отца странная привычка — смотреть на все и всех пристально и строго; он замечал каждое движение, каждый порыв и прихоть самих детей, и только когда он смотрел на старшего, глаза его теплели, смягчались от непонятной нежности. Но и нежность он проявлял по-особому. Он не обнимал детей, не обнюхивал их, как это принято у степняков, даже в знак одобрения не хлопал их по спинам. Но удивительно: от Жаппара он каждый раз отводил, прятал как бы суровый, колючий взгляд. И Жаппар это чувствовал, но не мог себе уяснить, чем он заслужил отцовскую милость. Во всяком случае, уже года два сын, выполняя поручения отца, не озирался боязливо по сторонам, как прежде, а держал себя вольно и достойно.

Отец время от времени выезжал на поиски глины. Из зимовья на берегу безымянной речушки, не то впадавшей в могучую реку, не то вытекавшей из нее, он выходил, ведя на поводу ишака, спозаранок и весь день плутал по степи, по оврагам, буеракам, возвращаясь к вечеру с полными разномастной глины корджунами. Два года назад, в весеннюю пору, в один из таких своих походов взял он с собой сына. Отец шагал впереди, на расстоянии брошенной палки, а сын-подросток, еще не ходивший далеко от аула, трусил позади верхом на ишаке. Они прошли низину-лужайку за аулом, где паслись козлята и ягнята, и поднялись на песчаный косогор. Отсюда, с вершины, все виднелось далеко вокруг. Там, внизу, в лощине, окруженной бокастыми рыхлыми барханами, притаился их кишлак — разбросанные там, сям, точно горсть джугары на дастархане бедняка, невзрачные, плоские мазанки. Крохотные участки земли, огороженные полуобвалившимися дувалами, издали напоминали хитросплетение мозаик. Над крышами вился, точно пук растеребленной шерсти, сизый дымок. Родной кишлак, который, чудилось ему, не просто исходить от края до края, теперь со стороны, с гребня бархана, казался особенно маленьким и убогим. Чуткое, пылкое сердце подростка, испытывавшее боль, сочувствие и жалость ко всему маленькому и беззащитному, сейчас, при виде неказистого, в бурых пятнах кишлака в низине, неожиданно и странно дрогнуло.

Колотя пятками неторопливого ишака, мальчик спешил за отцом, ушедшим вперед. Рыхлая супесь постепенно сменилась твердым суглинком. Путники поднялись на ровное, как доска, плоскогорье. Горизонт, казавшийся в кишлаке таким близким и доступным, здесь, на плато, необычайно расширился. Небо, одним краем задевавшее землю, тут, на просторе, стремительно рванулось ввысь.

Отец с каким-то упорством шел все дальше и дальше будто задался целью непременно дойти до горизонта. А Жаппару тот зыбившийся вдаль таинственный горизонт чудился недостижимым. Гладкое, со скудной растительностью плоскогорье тянулось бесконечно: сколько бы ни трусил покорный ишачок, а казалось, будто стоит на месте.

Солнце перевалило зенит, а отец, угрюмый, суровый, шел не останавливаясь. Лишь после обеда впереди на однообразной равнине появился круглый холм. Вначале он оказался довольно высоким, но при приближении холм оседал на глазах, будто какое-то чудище подтачивало его снизу, а когда путники подошли уже совсем вплотную, он как бы и вовсе слился с равниной.

Отец поднялся на его макушку и долго стоял, всматриваясь в далекую даль. И хотя он отправился на поиски глины до самого холма не поинтересовался почвой под ногами. Но и добравшись до холма, он, казалось, забыл про глину, а высматривал что-то совсем другое там, за горизонтом. Вдали дрожало, зыбилось, курилось голубоватое дремотное марево, словно стараясь смягчить суровый, жесткий взгляд отца. Мальчик был заметно взволнован от этого бескрайнего пространства, от необычной, звенящей тишины, от величавого спокойствия вокруг. Временами он чувствовал нечто похожее на оторопь, по спине прокатывался холодок, будто он один на один столкнулся неожиданно-негаданно с каким-то чудищем-великаном, который, и в страшном сне не снился. У серого ишачка тоже слезились глаза; он удивленно помаргивал и прядал ушами. Мальчик тщетно силился понять, в чем заключалось притягательное колдовство беспокойного и куда-то манящего миража у далекого горизонта и почему у отца, так жадно вглядывавшегося вдаль, все мрачнее становится лицо.

С той поездки в мальчика точно вселился дух тревоги. Отныне он будто задыхался в тесной лощине, укрывавшей их кишлак. Он уже не

мог, как прежде, увлеченно копаться в крохотном садике за их мазанкой. Его неодолимо влекло на простор. Теперь он с охотой выгонял на выпас козлят и ягнят маленького кишлака. Выбирался подальше из узкой лощины, отпускал козлят на лужок, а сам, лежа на спине, зачарованно смотрел на небо. И постепенно к необъятному миру, словно онемевшему от извечной тишины, вдруг возвращались звуки, которые, казалось, только и поджидали мечтательного подростка. Вначале под необъятным и бездонным куполом небосвода неожиданно оживал невидимый жаворонок; вскоре к его звонкой трели подключалось многоголосое щебетанье и с неба, и с земли; возле норок грелись на солнышке, лоснясь тугими боками, суслики и, разморенные теплом и истомой, блаженно пересвистывались. Немного поодаль с удовольствием щипали нежную весеннюю мураву ягнята и козлята, и их хрумканье слышалось подростку очаровательной мелодией. Звуки и шорохи заполняли весь мир. А перед глазами голубело бескрайнее небо.

Очувтившись наедине с беспредельным мирозданием, подросток долго-долго лежит на приятно теплой земле, предаваясь неизъяснимым грезам, погружаясь в омут неведомых мечтаний. Он с упоением впитывает радость и восторг, навеянные, благодатной тишиной и щедрой природой, чуждой спешки, суеты и мелочных, совсем необязательных, ненужных забот. Взгляд не может налюбоваться таинственной игрой теней, переливом красок, заполняющих пространство между небом и землей. Легкое белесое облачко, как бы нехотя, невесомо поднимавшееся над краем горизонта, мерещилось тайным посланником невидимого творца вселенной, отправленным, чтобы разведать, узнать, что происходит в подлунном мире. Неслышно скользнула по небосклону пушистая тучка, отбрасывая прозрачную тень; казалось, мягкие ладони оглаживали нежно поверхность земли. Вот, неуловимая тень чуть коснулась и погруженного в свои сладкие видения подростка.

Он вздрагивает, как от прикосновения потусторонней силы. Но тут облачко скользит-проплывает дальше, солнышко, вновь выглянув, припекает заметнее, и благодатная дрема продолжает убаюкивать мальчика. Хрупкая грудь его, еще не познавшая стужу жизни, наполняется благодатным теплом весеннего солнца, и мечты

бесконечной вереницей, дивно разрастаясь, проходят перед его затуманенным взором.

От долгого лежания немеет спина, тяжестью наливаются ноги. Мальчик приподнимается на локтях. Звуки утишились, улеглись. Солнце склонилось к закату. Но словно беспокоясь за мечтательного подростка, который, забывшись, может остаться один в безлюдной степи, оно, повиснув у горизонта, вприщур наблюдало за ним. И, только заметив, что мальчик встал, поднял лежавший в сторонке прут и направился к своим ягням, оно удовлетворенно скользнуло за горизонт.

С наступлением сумерек вместе с дойными верблюдцами, с ревом спускающимися по песчаному косогору, возвращается с выпаса и козопас в кишлак, зажатый лощиной.

То, что Жаппар сторонится кишлачных мальчишек, день-деньской резвящихся на пыльных пустырях между мазанками, и предпочитает одиночество, должно быть, по душе отцу. В свою мастерскую, куда он очень неохотно допускал посторонних, отец однажды сам привел Жаппара. В мастерской, приютившейся в углу дувала, пахло сыростью и горелой глиной.

Едва отец сел за гончарный круг и раскрутил нижнее колесо станка, тихий закуток наполнился резким, дребезжащим скрежетом, точно в клочья разрывавшим тишь, и черный, до блеска отполированный круг начал вращаться с невероятной быстротой. Сухая пепельно-серая глина, бог весть из какой дали доставленная на ишаке, сначала превратилась в тугое месиво, а потом на стремительном гончарном круге обрела новые, замысловатые формы.

Жаппар с жадным любопытством, словно на чудо в руках заезжего фокусника, смотрел на тугие оголенные икры отца, в холодно-пристальные глаза, неотрывно следившие за вращением колдовского круга. Он впервые видел чудодейственную силу согласованных человеческих движений. Казалось совершенно непостижимым, как из чего-то обыденного, незначительного — из ничтожной глины, разбросанной между степными травами, из воды, неизвестно откуда вытекающей и куда исчезающей, от неверного пламени, рождающегося из сухих и ломких ветвей саксаула и превращающегося в дым, из мимолетных, почти неуловимых

движений могут появиться удивительно красивые вещи, способные радовать взор.

Вскоре отец усадил за гончарный круг сына. И Жаппар чутко уловил: чтобы сотворить прочный и красивый кувшин, нужны не только глина и вода, не только ярко пылающие под кузнечными мехами уголья саксаула, но и недюжинная сила, огромное напряжение всех мышц, зоркий взгляд, способный замечать каждую песчинку, каждую крупинку, бесконечная борьба надежд и сомнений, наматывающая душу и нервы, — все девяносто ответвлении чувствительных жил, стремление и старание, жестокая, постоянно преследующая неудовлетворенность собой, великое, поистине святое терпение, и, должно быть, еще многое другое, чему нет точного названия в человеческом языке.

На старое верблюжье седло в углу среди хлама теперь уселся отец. Он так же пристально и придирчиво следил за каждым движением сына, как еще недавно наблюдал за работой отца Жаппар. Однако на лице отца не было ни тени удивления или восхищения. Сын чувствовал на себе лишь его неумолимый, колючий взгляд. Казалось, опытный мастер-горшечник своим суровым взглядом хотел, как бы подстегнуть, закалить душевные порывы неокрепшего юнца.

С утра до вечера чувствовал Жаппар на себе пытливый взгляд отца, и тогда впервые осознал, что истинного мастера оттачивает и закаляет посторонний глаз. Понял он тогда также, почему отец не пускал любопытствующих в свою мастерскую. Подлинный мастер не может и не должен раскрывать каждому встречному-поперечному тайны своего ремесла, точно так, как знающая себе цену гордая красавица искусно укутывает в шелка свои прелести, одним лишь мимолетным взглядом умея возбудить желание. Люди не должны видеть капельки пота на измученном челе мастера, его усталость, отчаяние, мучительно сдвинутые брови, достаточно того, что они видят творение его рук — пусть любуются, удивляются, восторгаются. Для мастера-творца нет большего счастья.

Мастеру отнюдь не безразлично, как смотрят на изделие его рук. Ему свойственно смущаться, съеживаться, замыкаться в себе под неодобрительным, уничижительным взглядом и, наоборот, испытывать ликующую радость, гордость при виде удовлетворения или восхищения в чужих глазах. Больше всего радовался опытный

горшечник не вполне опрятным поделкам сына, а тому, что он неравнодушен к вниманию людей, чуток к постороннему взгляду и похорошему честолубив. Он благодарит судьбу за то, что в одном из его сыновей теплилась искорка вдохновения. И с того дня со всей страстностью и упорством принялся обучать сына своему кровному ремеслу.

Отныне Жаппар просиживал целыми днями в сырой тесной мастерской отца. Вскоре он научился не замечать резкого запаха горелой глины. И к визгливому скрежету гончарного круга быстро привык. Он уставал от этой утомительно-однообразной работы, однако ни скуки, ни тем более отвращения не чувствовал. Наоборот, постигая тайну за тайной, он все больше и больше привязывался к отцовскому ремеслу.

Однако, должно быть, опасался опытный гончар, что нелегкий этот труд отпугнет сына, утомит, наскучит раньше времени, и потому иногда на целую неделю запирали мастерскую. Пусть поразвевается сын, отдохнет. Мальчик слонялся несколько дней без дела, не находил себе места и занятия, рвался в мастерскую, к станку, к гончарному кругу.

Вскоре появились в кишлаке первые кувшины, сотворенные Жаппаром. Однажды он увидел девушку, шедшую с его кувшином за водой. Это его так поразило, что он шел за ней до самой реки. Стройная, тоненькая девушка, слегка покачиваясь, дошла до крутого берега, наполнила его кувшин водой и, мягко ступая по пухляку, медленно направилась в кишлак. Юный гончар, сдерживая дыхание, юркнул, задувал. Почудилось ему, что догадается прелестная дева, зачем он бредет за ней...

Теперь в кишлаке, пожалуй, нет такого дома, где бы не пользовались кувшинами Жаппара.

И все, наверное, шло бы своим чередом, если бы отца не позвала, таинственная дума в далекий путь.

Казалось, пескам не будет конца-краю. Сколько ни бредешь — вокруг ни живой души. Изредка что-то промелькнет перед утомленными глазами, подойдешь — не то куст тузгена, не то саксаула. Куда они идут — Жаппару неизвестно, и это делает путешествие по унылым бесконечным пескам еще более бессмысленным.

Жаппару стало невольно брести по зыбучим барханам — все вверх и вверх — вслед за угрюмым отцом и покорным ишаком. Юноша бросается навзничь на раскаленный песок. Над ним в извечном молчании застывшее небо. Обшарь его глазами от края до края — ни единого облачка не заметишь. И только у горизонта, возле узкой полоски между небом и землей, что-то зыбится, дрожит. Чем выше, тем прозрачнее бездонное небо. И, кажется, хранит оно великую тайну, и недоступен его язык человеку. Юноша вскакивает и, вспахивая ногами сухой, податливый песок, бежит вдогонку серому ишаку.

К вечеру, когда солнце повисло над горизонтом, горбатые барханы начали редеть, впереди простиралась песчаная равнина. И только тут отец остановился и внимательно огляделся окрест.

Пески были испещрены загадочными морщинками... Отец долго вглядывался в причудливые кольца и извилины, нарисованные пустынной бурей на мягком песке, казалось, он читал суры из священной книги, переписанные каким-то сверхъестественным каллиграфом на это бескрайнее пространство. Потом, еще раз оглянувшись, решительно повернул к востоку.

У стыка красных песков с бурыми подзолами началась продолговатая впадина. С наступлением сумерек приземистые песчаные холмики стали отбрасывать более длинную тень, и оттого они словно вырастали, тянулись к редким перистым облакам, откуда-то появившимся на потускневшем небосклоне...

Серый ишак будто погружался в черный омут... Пологий поначалу склон впадины становился все круче. Отец, видно, не решался углубиться в мрачные заросли. Дойдя до такого места, откуда еще вполне проглядывался край впадины, он остановился и привязал ишака к саксаулу. Потом отвел Жаппара в сторонку шагов на двадцать. Здесь, в густой саксаульной чащобе, он нашел небольшой лаз, точнее, довольно узкую щель, откуда было удобно наблюдать за краем впадины, и приказал Жаппару залечь.

— Смотри в оба, пока я не вернусь!

Отец, отстраняя рукой кривые саксаульные сучья, осторожно двинулся вглубь. Сухой валежник потрескивал под его ногами. Вскоре треск утих. Видно, и отец нашел себе удобное укрытие...

В тугайных зарослях сыро и прохладно... Запах прели и пылицы жузгена щекотал ноздри. Багрово-красные лучи заходящего солнца точно застряли в верхушках саксаула, не в силах пробить непролазную чащобу. В зарослях быстро смеркалось. Сквозь узкую щель едва просматривалась песчаная полоска впадины. Жаппар, зябко поеживаясь от одиночества, прислушивался, но ни шороха не расслышал. Усталость от долгой, изнурительной ходьбы понемногу одолевала его, веки отяжелели, поневоле смеживались. Юноша стряхивал с себя сонливость, с усилием открывал глаза.

И вдруг он увидел через щель: впереди, будто что-то промелькнуло. Жаппар протер глаза, глянул пристальней. Да, верно: путник на верблюде. Голова обмотана высоченной чалмой. На приличном расстоянии огибая чащобу, путник подстегивал, торопил длинношеего рыжего дромадера, спешил в сторону Песков. На луке верблюжьего седла колыхалось, покачивалось что-то тугое, похожее на узелок. Должно быть, бурдюк с водой. Жаппар только теперь почувствовал, как пересохло у него во рту, как нестерпимо хотелось пить. Может, остановить путника, попросить напиться. Вспомнились слова отца: «Смотри в оба!» Кружилась голова, сердце колотилось. Он застыл, не отрывая взгляда от быстро удалявшегося одинокого путника. Только теперь увидел: в правой руке путник держал белый остроконечный посох, увешанный разными побрякушками. Выходит, дивана... Бродячий заклинатель. Юродивый. Эти странные люди, одетые в пеструю рвань, изредка заезжали и в их кишлак. И сразу же подумалось Жаппару: а может быть, туда, в его родной кишлак, и направляется сейчас дивана? Непонятная тоска охватила душу. Вздохнул Жаппар, заскучал, запечалился. Вон уже и не видно стало одинокого путника на верблюде-дромадере.

Голова раскалывалась, клонилась на грудь. Юноша наскреб горсть влажной, холодной глины и приложил к горячему лбу.

Солнце нырнуло за дюны. В щель было видно, какплыли вечерние тени. Еще некоторое время спустя непроходимую чащу плотно обступил сумрак. Казалось, ночная тьма повисла у самого края впадины, не решаясь проникнуть в саксаульные заросли. Небо белесое, бледное. В неверном освещении белый песок за опушкой обрел золотистую окраску. Кривые, затейливо переплетенные ветви кустов точно сомкнулись, скованные мраком.

Узкая, как лезвие ножа, лиловая полоска света над краем обрыва, постепенно слабея, вскоре совсем погасла. В небе робко зажглись редкие звезды. Казалось, им было неловко за ранний восход, и они смущенно переглядывались, перемигивались, но понемногу освоились на необъятном небосводе, осмелели, видя, что их становится все больше и больше, и вот они, ночные звезды, замерцали уже сотнями, тысячами, зароились, наливаясь ярким светом, нависли над чащей в пустыне, где черной ночью скрывались неведомо от кого отец и сын.

Черная южная ночь укрыла пустыню. Сразу же повеяло свежестью. Сон, необоримо наваливавшийся все это время на юношу, точно рукой сняло. Тяжесть спала с век. К глазам вернулась зоркость. Непроглядный мрак, плотно обступил со всех сторон. Ни звука, ни шороха. Тяжелая, тягучая, как смола, тишина. Все время чудилось, будто неведомая опасность подкрадывалась неслышно, по-кошачьи. В висках стучало. Оторопь сковала юношу. Он замер в ожидании, когда невидимое чудовище пустыни вонзит в него свои кровавые когти. Однако опасность не спешила обрушиться на него. Она, словно пес, хватающий исподтишка, выжидала в сторонке, в двух шагах, зорко следила за каждым его движением, сторожко прислушивалась к каждому шороху. И Жаппар впервые подумал про себя, что лучше иметь перед собой видимого врага с занесенным для удара мечом, чем обмирать от страха в жуткую, выморочную ночь.

Она длилась, бесконечно. Вдруг в чаще послышался шорох. Потом шорохи усилились. Кто-то шел напролом, пробиваясь сквозь заросли кустарников и саксаула. Вскоре в чаще затрещало, захрустело, точно пламенем охватило сухостой. Корявый пень саксаула, за который давно уже держался оробевший юноша, точно живое существо, как бы прильнул, прижался к нему; казалось, даже пень всерьез встревожился перед гулким, стремительно и неудержимо накатывавшимся треском. Жаппар еще в детстве слышал о диковинных зверях, обитающих в непроходимых зарослях. Он принюхался, пытаясь уловить запах, свойственный диким зверям, однако ничего не учуял.

Треск усилился, сливаясь в жуткий гул. Точь-в-точь косяк одичавших животных ошалело мчался в зарослях, круша все на своем пути.

Сухой ком застрял в горле Жаппара. Он хотел отнять руку от корявого пня, но не мог: пальцы свело, как в судороге.

Грохот, накатываясь, почти настиг его укрытие и вдруг, как захлебнувшись, откатился назад. Только теперь ослабли и разжались занемевшие пальцы. Упругая ветвь дрогнула, и саксаул издал невнятный шорох. Но Жаппару он померещился грохотом камня, обвалившегося с горы. На мгновение, казалось, и треск валежника на краю чащобы умолк. Может, и там услышали шорох и насторожились? Жаппар от волнения не знал, куда девать руки.

Он опустил на корточки и дрожащими руками крепко стиснул колени. А недавний грохот угас, унялся, словно и не было ничего. Юноша напряг слух. Все вокруг вновь погрузилось в безмолвие.

И вдруг прямо впереди, будто рядом, ярко вспыхнул огонь. Жаппар не поверил своим глазам, крепко зажмурился. Когда он снова открыл глаза, огонь впереди разгорался еще ярче. Длинные языки пламени жадно метались по сторонам, вытягивались вверх, и неожиданное ночное зарево, раздвигая мрак, заметно притушило тусклый блеск звезд. Вокруг огня копошились какие-то люди, мелькали фантастические тени. Некоторые выныривали из аспидно-черной темноты, швыряли что-то в огонь, и тогда пламя, взметнувшись, сыпало ослепительными искрами. Что это были за люди, Жаппар не догадывался. От обрыва к огню, причудливо перекрещиваясь, тянулись тонкие длинные тени. Присмотревшись, юноша увидел на стыке света и мрака несколько оседланных лошадей. Поводья были крепко привязаны к луке. У тех, что стояли ближе к огню, сверкали при отблеске пламени ножны, навешанные на седла. Страх понемногу проходил, уступая место удивлению и любопытству. Должно быть, лиходеи, коль держат при себе оружие и рыщут по безлюдной пустыне под покровом ночи. Возможно, именно их опасался отец, хоронясь в тугайных зарослях? А чего ему бояться? Разбойникам с большой дороги, подстерегающим богатые купеческие караваны, брать с отца ровным счетом нечего...

С опаской поглядывал Жаппар из-за своего укрытия на ночных людей, безмятежно расположившихся вокруг ярко пылавшего костра. Вот они тесно уселись в круг, что-то оживленно обсуждают, головами кивают, руками размахивают. Долго следил за ними Жаппар, наблюдая за причудливой игрой несуразно длинных теней, разглядывая высокие мохнатые шапки и длинные сабли, болтающиеся на поясах. Юноша понемногу приходил в себя. Тот липкий страх, настигший его вместе с

мраком, отпустил его. Как ни странно, костер, горевший впереди, и эти люди, нарушавшие ночную тишь, успокаивали его, словно разделяя одиночество. Стая хищников с оскаленными клыками, чудившаяся недавно в его воспаленном воображении, тоже исчезла. Ощущения притупились. Вновь тяжело навалились усталость и сон. Тени по-прежнему мелькали у костра, но они уже просто казались нелепым видением; юноша недолго боролся с дремой, сон сморил его.

Проснулся оттого, что кто-то коснулся его плеча. Рядом стоял отец. Он молча подал знак: «Ступай за мной». Они направились к саксаулу, где с вечера томился на привязи покладистый серый ишак. Отец повел его на поводу, пошел в сторону обрыва, по которому они спускались вчера.

Едва они выбрались из чащи, забрезжил рассвет. У опушки юноша посмотрел туда, где ночью горел костер. На том месте чернела круглая проплешина. Но ни одной живой души вокруг.

Жаппар поразился. Выходит, в полудреме он и не заметил, когда и как ушли эти странные люди. Вскоре отец с сыном выбрались на широкую караванную дорогу, покрытую пухляком. Далеко впереди, сливаясь с горизонтом, виднелись пестрые горы. А ближе в прозрачном утреннем воздухе темнело что-то огромное, зубчатое. Неподалеку, на расстоянии конских скачек, торжественно тянулся в сторону предгорья невиданный доселе Жаппаром красочный богатый караван. Впереди каравана, вокруг могучего слона с золотистым шатром-паланкином, гарцевали всадники-нукеры. Караван сопровождала с двух сторон конная охрана. В самом конце ехал еще один отряд, вооруженный копьями. Длинное нарядное кочевье степенно спустилось в низину, плотно окутанную голубоватой дрожащей дымкой. Отец с сыном брели позади, стараясь не упустить из виду караван, но и с опаской поглядывая на грозных воинов, вскинувших над головой острые копья. Должно быть, эти воины разожгли прошлой ночью костер на краю чащобы. Жаппару теперь ясно стало, почему отцу понадобилось укрываться на ночь в густых зарослях тугая. Ведь все дороги и тропы, выходящие из Великих песков, зорко охраняются вооруженными отрядами, и не приведи аллах попасть им в руки в неурочный час. Не пощадят случайного путника. Но юноша еще не догадывался тогда о том, что эти воины были нарочно высланы вперед, как дозорная часть, обязанная

обеспечить безопасность продвижения каравана мимо буераков, ущелий, тугаев и прочих разбойничьих притонов. Не знал он и того, что в золотистом паланкине за шелковыми занавесками сидела новая жена великого Повелителя — Младшая Ханша. Обо всем этом он узнал потом, во время чаепития, из уст словоохотливого хозяина плоскокрышей приземистой мазанки, которую отец еле разыскал среди узких и извилистых, как лабиринт, улочек, зажатых между глиняными дувалами на окраине большого города.

То был бай Ахмет, хозяин дома, где и поныне обитал мастер Жаппар. Ахмет долго стоял тогда перед ними, не узнавая отца. Толстый чернявый человек, уверенно расставив ноги, застыл у двери. Маленькие, узкие глазки на широком лоснящемся лице смотрели подозрительно.

Отец обстоятельно все объяснил:

— Вы что, почтенный Ахмет? Неужто запомнили меня? Я гончар из Ор-тюбе. Помните? Когда вы приезжали по торговым делам, не раз у меня ночевали. Еще говорили: «Будешь в городе, останавливайся у меня». Вот я и разыскал вас...

Хозяин узнал наконец гостя: приветливо приложил руки к груди. Потом открыл ворота. Грузно переваливаясь, провел гостей в дом. В отдельной комнатке трое мужчин долго пили чай. Тут-то купец и выложил все последние городские новости.

Отец в конце беседы сказал:

— Как видите, привел я сюда сына. Пока еще жив, хочу поручить его вам. Недавно проходил через наш кишлак один дервиш. От него я узнал, будто хан намерен построить в городе новую мечеть и для этого отовсюду собирает мастеров. Помогите, чтобы мой сын попал к ним.

Выяснилось, что купец Ахмет едва ли не всех знает в городе, кроме людей из ханского дворца. После душевной беседы за духмяным зеленым чаем на базаре с такими же, как он, купчишками, день-деньской зазывающими прохожих в свои крохотные, как птичье гнездо, лавчонки, оба мастера-гончара из Ор-тюбе, отец и сын, за какую-нибудь неделю оказались в числе строителей новой ханской мечети. Но едва выложили ее основание, отца свалила застарелая хворь.

Всего два месяца посчастливилось юному мастеру работать бок о бок с отцом. На стенах минарета, становившихся с каждым днем

круче, он чувствовал себя как неоперившийся птенец, и сжимался весь, съеживался под любопытными взглядами. И так он беспокойно озирался по сторонам весь нескончаемый день — с того мгновения, как солнце поднималось на высоту аркана, до того, как оно, изойдя нещадным жаром, скрывалось за горизонтом на виду у всех: робкий юноша, испытывал скованность и неловкость и, не смея поднять глаза, застенчиво косился то на солнце, то на других мастеров-каменщиков, копошившихся на стенах мечети, то в сторону соседнего медресе, откуда, по слухам, наблюдал за ними, не спуская глаз, сам Повелитель.

Как на раскаленных углях чувствовал себя Жаппар. Он изводил себя на работе; волнение, какая-то лихорадочная дрожь, нетерпение не оставляли его. Однажды, измученный, вернулся он после работы домой. Отец поманил его слабеющей рукой. Глаза Жаппара при виде угасавшего отца наполнились слезами; он даже не мог разглядеть его лица. Все поплыло вокруг, закачалось, замелькало, будто их комната невзначай погрузилась на дно озера. И в этом колыхающемся мире неподвижно белело беспомощное, высохшее тело старого гончара из Ор-тюбе. Из впалой груди вырывались хлюпающие звуки, не то стон, не то мольба, не то плач; они становились все реже, все слабее, а вскоре и вовсе оборвались. Сухая, жесткая рука безжизненно выпала из горячих ладоней юноши.

Теперь в большом и чужом городе он остался совершенно один. Он даже не мог вспомнить, что хотел перед смертью сказать отец. Одно только слово, точно невнятный лепет, застряло в памяти: «Не уезжай!» Теперь, взобравшись на макушку минарета, он ряд за рядом клал кирпичи, каждый раз на мгновение взглядывал вперед и больше ни на что не обращал внимания. Да и на что смотреть? Все одно и то же: приземистые глиняные домики и редкие пыльные чинары. Голубоватое небо во всю свою мощь и ширь, точно упиваясь своим величием, раскинулось над огромным пестрым городом. Юноша мастер уже заканчивал тот первый в своей жизни минарет, но с вышины его он так и не увидел ни горизонта, ни бескрайней бурой степи, по которой пришли они с отцом сюда.

Да-а... то было восемь лет назад.

И вот опять растил он стены нового, более высокого минарета. И снова, как тогда, кладя кирпич за кирпичом, каждый раз на миг смотрел вперед. Глиняных приземистых домиков стало еще больше,

дувалы еще плотнее, улочки еще теснее, и, казалось, они закрывали горизонт серой, как зола, пеленой. Еще недавно соперничавшие по высоте с новой башней и расположенные неподалеку медресе, мечети, минареты теперь безнадежно остались внизу, словно осели, растворившись в мгlistой дали. С невиданной высоты уже проглядывались загородные сады. Жаппар настойчиво поднимался все выше, навстречу необъятному, прозрачному небу, где не за что было уцепиться... Он был уже во власти неумного азарта: с каждым новым рядом стремился еще дальше, еще выше. С таким отчаянием со дна омота рвется утопающий на божий свет.

И те загородные сады, темневшие вдаль, с каждым днем становились ниже, неказистее, неприметнее, пока не превратились в пеструю лиловую полосу, обрамлявшую серо-мутное пространство города. Вскоре стало возможным различить и линию горизонта, еще недавно сливавшуюся с пестро-лиловой полоской садов. Белесое, застывшее море над нею поредело, поразвеялось, и все отчетливее просматривалась густая синь.

Как-то после полудня, когда в прозрачном воздухе растаяла хмарь, сквозь стылую синеву вдаль Жаппар вдруг углядел что-то рыжеватое. Не веря своим глазам, он положил мастерок на кладку, тыльной стороной руки смахнул пот со лба и взгляделся пристальнее. Да, он не ошибся: густая синева горизонта приоткрывала рыже-бурое пространство. Так видится дрожащее дно сквозь прозрачную глубину.

Жаппар весь подался вперед, вытянул шею. Об этом мгновении он давно мечтал. Голубоватая легкая кисея горизонта, долгое время застилавшая ему даль, сейчас будто сжалась над зоркоглазым юношей, не устояла под его жадным нетерпеливым взглядом, дрогнула и отступила, раздвинулась. Серо-бурое пространство, притаившееся за смутным пологом горизонта, теперь ширилось, разрасталось на глазах, обрамленное дрожащей синеватой полоской.

Поднимаясь кирпич за кирпичом, ряд за рядом выше, выше, Жаппар уже не в силах был избавиться от ощущения, будто из-за дальней дали неудержимо накатывалась грозная и могучая волна, готовая вот-вот разом накрыть, захлестнуть все на своем пути — и кусты, и непроходимые заросли тугаев, и кажущиеся издали неприступными минареты, и голубые купола мечетей, и слепленные из желтой глины мазанки и дувалы. И еще мерещилось ему, что простор,

стремительно надвигавшийся из-за открывшейся вдруг черты, спешит сюда, чтобы освободить его, одиночку, пришельца, сироту, лишившегося своей вольной степи и заживо замурованного в кирпичные стены...

Он не спустился с вершины минарета, пока не закатилось солнце и не сгустились сумерки. Наутро, чуть свет, он вновь был там же. Лишь на минарете, имея возможность видеть перед собой огромное пространство, загадочно простиравшееся за столичным городом Повелителя, он находил себе успокоение. Однако никаких перемен в той манящей дали он не заметил. Целыми днями с нетерпением ждал Жаппар, когда улетучится дымка у горизонта — затейливая игра теней. Но лишь после полудня миражи куда-то исчезли, простор открывался, сквозил, а пустыня, о которой так тосковала душа, оставалась безмолвной, безучастной ко всему на свете, не приближаясь и не отдаляясь. Это приводило его в уныние. И она, пустыня, точно этот опостылевший город, убивала своим равнодушием пылкие мечты молодого мастера, скрывала в своем безбрежном лоне родной и любимый до боли клочок земли, делая вид, что ничего не знает и не понимает. Радостная надежда, которой он жил всю эту неделю, разом погасла. Вершина минарета уже не влекла его. Раньше минарет чудился ему единственной дорогой, по которой он мог выбраться из душной теснины ханской столицы на желанный и вольный простор. Ну, что ж... из духоты и тесноты он, пожалуй, выбрался, на это он еще оказался способным, но вдохнуть жизнь в безликое пространство, избавить его от немоты и бездушия ему, очевидно, не под силу. И, выходит, напрасно он столько радовался и ликовал, когда поднимался хотя бы на вершок, будто одолел горную вершину, напрасно тянул жилы... Одни муки достались на его долю.

Теперь он чувствовал себя человеком, который по наивности пытался перейти широкую и бурную реку, вымачивая брод камнями, но потом запоздало понял, что ничего не выйдет из этой затеи, и застрял на середине пути, не смея ни вперед шагнуть, ни назад отступить. Идя по утрам на работу, Жаппар с досадой и неприязнью косился на сотворенный им минарет, который хоть и вознесся горделиво над землей, однако до поднебесья так и не дотянулся.

На стены минарета он поднимался с трудом, задыхаясь. Ноги наливались тяжестью, подкашивались, голова кружилась.

И работа как-то разладилась, мастерок валился из рук. Дни тянулись утомительно-бесконечно. Солнце, казалось, стояло на привязи. За городом, разморенная зноем, дремала бурая пустыня. И город точно вымер, окаменел. На улочках внизу не видно живой души. Воздух застыл, загустел, стал вязким, тяжелым, словно закисшее молоко. И даже на самой вершине минарета не чувствовалось свежего дуновения.

Ослепительное солнце выжгло и еле различимую отсюда бурую пустыню, и недавно еще темно-синюю полосу загородных фруктовых садов, и само небо над городом окрасило все в лиловый цвет спаленной травы — гармалы, из которой осенью женщины готовят щелочь. Казалось, некое чудовище, сказочный злой великан, засучив рукава, разводил на земле гигантский костер и сжигал все дотла, чтобы из горы пепла и щелочи варить потом в необъятно-огромном казане черное, как деготь, мыло. И раскаленное солнце чудилось все сжигающим огнем под тем непомерно громадным казаном.

Странная тяжесть и безразличие сковали движения. Жаппар будто беспощадно барахтался в вязкой жиже. Внимание рассеивалось, мысли путались, при всем своем желании и старании он не мог сосредоточиться. Перед глазами нет-нет, да и возникало вновь давно забытое видение, от которого сладко сжималось сердце. Неприглядная в своей убогости лощина, где прошло его детство, родной кишлак. Вон и ягнята, резвясь, спешат на выпас, и над ними вьется-тянется сизый шлейф пыли... Стройная, гибкая девушка, слегка покачиваясь, идет к реке. Множество косичек трепещет, извивается на ее спине. На плече девушки кувшин. Его, Жаппара, кувшин...

Он вздрагивает вдруг, будто кто-то ущипнул его невзначай, встревоженно оглядывается вокруг. Все то же: полдень, изнуряющая, отупляющая жара, кирпичные стены минарета. Внизу — сонный, точно вымерший город. Над головой — выгоревшее, пепельное небо.

Жаппар вспоминает только что промелькнувшие видения, родной кишлак. Почему он не остался там? Делал мы, как прежде, свои кувшины. Разве не все равно, кем ты проживешь свой короткий век в этом мире: чабаном или торгашом, горшечником или строителем ханских минаретов? В конце концов, все они копошатся и суеются ради существования. И еще неизвестно, кто больше преуспевает, кто больше наслаждается жизнью. И может выгадывает тот, кто ни на шаг

не отрывается от земли живет себе, как предопределено самой судьбой, а не бросается очертя голову в неведомый омут, где кипят страсти, повседневно, ежечасно отчаянно борются надежда и сомнения, где на долю одинокой душе выпадают одни лишь муки и страдания... Жил бы он себе тихо и скромно в своей ветхой лачуге за глиняным дувалом, даже представления не имея о тоске и одиночестве, царящих в многолюдном городе. И что только так властно притягивало уже обреченного отца в этом человеческом муравейнике. Что он в нем нашел? На что надеялся? Лишь на полгода хватило его здесь. Умер на чужбине, вдалеке от родного очага. Жена и дети даже горсть земли не смогли бросить на его могилу. И все ж у ворот смерти успел прохрипеть: «Не уезжай». Что это означало?

Остался Жаппар... Только много ль радостей изведаль? В том ли смысл и прелесть жизни, что попеременно оказываешься в объятиях то слепой, в цветастые лохмотья наряженной надежды, то убогой скуки, волочащей по земле свой измызганный, серый подол?

Почему отец так страстно желал, чтобы из его сына вышел чуткий мастер с божьей искрой в груди? Почему не обучил какому-нибудь простому, неприметному ремеслу, с каким худо-бедно прожил бы положенный век, не ведая ни горя, ни сомнений, ни обманчивых желаний? Помнится, отправляясь на поиски глины, отец подолгу стоял в безлюдной степи, задумчиво и отрешенно глядя куда-то вдаль. Неужели он тогда мечтал об этом городе, лежащем теперь у ног сына, несуразном, нелепом муравейнике, разморенном от зноя и покрытом пылью?!

Теперь вот и он, следуя заветам отца и зараженный его неумной страстью, устремился навстречу миражу-мечте, все выше, выше, отчаянно ловя точку опоры в безбрежном пустом пространстве. Строить основание на зыби, искать опору в пустоте — напрасные потуги, безумная затея.

То ли от невыносимой жары и духоты, то ли от тоски и отчаяния, отравлявших сознание, в глазах молодого мастера потемнело, и все вокруг поплыло, точно в мареве. Опасаясь упасть с высоты минарета, он поспешно спустился на две ступеньки. Странная, зыбкая пелена перед глазами словно густела, мрачнела, и шершавые кирпичики, едва схваченные раствором, еще не обмазанные глиной, тоже вдруг стали терять розоватый оттенок, и будто уплывали из-под рук, растворяясь в

загадочной сутемени. Жаппару померещилось, что он повис между небом и землей. И только черную зияющую полость под ногами, узкий гулкий колодец, по стенкам которого он поднимался на вершину минарета, все размывающий зыбкий мрак еще не успел проглотить. И вдруг в черном, жутковатом колодце под ногами неожиданно вспыхнул яркий свет; потом, преломляясь, во все стороны устремились оранжевые лучики, по стенкам замелькали-заиграли блики; они разрастались, приближались, принимали фантастическое обличье. Казалось, кто-то невесомый, молчаливый неслышно подкрадывался к нему. Уже почти поравнялся. Вот он встал прямо перед ним. Тоже будто завис, окутанный густой текучей хмарью, между белесым небом и серой бездонной пучиной. Казалось, коснись они невзначай друг друга или столкнись в парении, и оба неминуемо сорвутся в мгlistую пропасть. Странное видение чуть пошевелинулось, сделало еще один шаг к нему... По телу пробежала дрожь. И тогда все таинственное, как болезненное наваждение, разом развеялось, исчезло, все стало на свои места и приняло привычные обличье и окраску. Под ногами, на деревянном настиле, валялась куча шершавых розоватых кирпичей. Мастерок, весь измазанный раствором, чудом удержался на краю кладки. Смутный, неверный мир, каким он снится порой в дурном сне, растворился, улетучился, как серебристая осенняя паутина в жаркий полдень. Жаппар застыл, опешил, все еще находясь между сном и явью, не в силах различить, где видение, где подлинная действительность. Если это загадочное видение, окутанное колыхающимся маревом, было явью, то куда оно исчезло так мгновенно? Но если явь и есть то самое мгновение, когда все окружающее — только действительность, то откуда вдруг взялась эта дивная молодая фея в золототканых одеждах? Что ей понадобилось в недостроенном, сыром, липкой глиной измазанном минарете? Ну, конечно, никакая она не фея; просто судьбе угодно пошутить, посмеяться над бедным каменщиком, сомлевшим от нестерпимой жары и духоты... Через редкую воздушную накидку, увитую золотыми нитями, пытливо взирали на него большие, черные, как смородина, жгучие глаза. И если бы не эти живые глаза и тонкие, насурьмленные брови над ними, можно б было подумать, что игривый ветер занес на вершину минарета чью-то кисейную накидку. Таинственная хрупкая женщина, почудившаяся ему феей из древнего сказания, стояла

безмолвно перед ним, облаченная в прозрачный, ослепительно белый шелк.

Жаппар, все еще борясь с наваждением, дерзко обвел ее глазами с головы до ног. Он должен был, наконец, убедиться: живая, из плоти и крови, женщина стоит перед ним или прекрасная мечта вновь поддразнивает его. Острый взгляд мастера мгновенно заметил удивленно раскрытые, жгучие, чуть раскосые глаза. От черных искр, мерцавших в глубине зрачков, казалось, вот-вот вспыхнет легкая накидка.

Женщина, должно быть, догадалась, что мастер от растерянности не верит своим глазам. Тоненькими пальчиками подхватила она подол длинного парчового платья, даже под легкой накидкой блестевшего в лучах солнца, мелко ступая, подошла к краю кладки, глянула вниз испуганно отшатнулась. Рукой она при этом невольно потянулась к пышному саукеле, чтобы не уронить невзначай, и на нем, посередине, над лбом, ослепительно сверкнул рубин. Она хотела что-то сказать, но то ли раздумала, то ли не знала, что следует говорить в подобных случаях, промолчала и смущенно улыбнулась.

От этой неожиданной улыбки, от легкого стыдливого румянца белое кроткое личико с большими горящими глазами вмиг ожило и стало еще прекрасней. Улыбка почудилась Жаппару знакомой. Более того, и сама молодая женщина, и ее невинная, неземная красота напомнили что-то близкое, дорогое, виденное уже однажды.

Все так же чуть приподняв подол платья, женщина направилась к ступенькам, ведущим вниз. На повороте под мелькнувшим платьем он увидел на миг ее тугие икры, плотно обтянутые белыми атласными шальварами.

Крохотная, легкая фигурка под пышной, прозрачной накидкой медленно удалялась, погружалась во тьму узкого ущелья.

Жаппар все еще не мог прийти в себя. Хотя дивную женщину в белой накидке и проглотил мрак, но ее смущенная улыбка, застывшая в уголке вишневых губ, и черные блестящие глаза, смотревшие в самую душу, словно навеки остались с ним в вязком воздухе на вершине минарета. Он стоял неподвижно, боясь вспугнуть то чудное видение, что неведомой негой наполнило сердце, и еще долго глядел, растерянный, ошеломленный, на пустое пространство, окутанное хмарью. Потом нехотя потянулся рукой к мастерку.

Нет, все-таки, где и когда он мог увидеть эти нежные, сочные губы и угольно-черные, блестящие глаза? Ведь неспроста эта загадочная женщина показалась ему такой знакомой. Кто она?.. Или кого она напоминает? Даже походку ее он будто знает издавна и видел много раз. Однако с кем же он сталкивается каждый, день? С рабами, подносящими ему раствор и кирпич, с хозяевами дома, где уже столько времени живет. Выходит, ни о какой знакомой не может быть и речи. Выходит, и на этот раз просто показалось... Пстой, пстой... Может, это и была сама Зухра, хозяйская дочка, выданная замуж? Ведь и ее он впервые увидел точно так же неожиданно. Правда, он жил с ней в одном доме, видел, как она молча ходила, удивительно легко и неслышно, по двору, и лишь изредка смутно и отчего-то тревожно угадывался ее стройный, гибкий стан под просторным и длинным до пят шелковым платьем. А лицо ее всегда скрывалось под чадрой. На мужскую половину она, конечно же, никогда не заглядывала.

Однажды юный мастер пришел домой, когда купец с женой где-то задержались. Кто-то тихо напевал во дворе. Он оглянулся, подошел к навесу и увидел Зухру. Она, легко и высоко подпрыгивая, сбивала с урючины спелые плоды. Чадра соскользнула на плечи, но девочка-подросток, увлеченная своим занятием, не обращала на это внимания. Вскоре она, должно быть, почувствовала на себе его пристальный взгляд, быстро оглянулась и обожгла его огненным взором. Он оробел. Зухра вскинула брови и смерила его долгим взглядом, не то любопытно-шаловливым, не то осуждающе-капризным. Он тогда впервые увидел открытое девичье лицо, широкий белый лоб, прямой маленький нос и пухлые, цвета спелой вишни, губы. Зухра вдруг спохватилась, вспыхнула вся и, поспешно поправляя чадру, побежала к дому. Он все глядел вслед, не в силах оторваться от трепыхавшегося на ходу платья...

С того дня, приходя домой, он невольно высматривал юную байскую дочь. Обостренный слух чутко улавливал каждый шаг девушки, молчаливо хлопотавшей возле матери, и даже едва различимый шорох ее платья. В отсутствие отца и Зухра оживлялась более обычного, старалась почаще попадаться на глаза юному постояльцу и, делая вид, что помогает вечно озабоченной матери, шмыгала взад-вперед по двору. Мельканье ее просторного платья и легкой чадры, которая, казалось, слетит с ее головы от малейшего

ветерка, навевало приятную, волнующую кровь истому, и в душе молодого мастера рождалось, зрело, крепло неведомое чувство счастья.

В какой опустошительный и горестный огонь превратилось то робкое и загадочное чувство, он понял лишь тогда, когда во дворе бая Ахмета навсегда умолк желанный шорох платьев Зухры. Только теперь он осознал, как глубоко запала ему в душу девочка-подросток под воздушной чадрой. Долго потом горело сердце от тоски и желания, долго клял себя за нерешительность и беспомощность. Со временем смирился со своей судьбой, убедил себя в том, что та мимолетная радость никогда уж к нему не вернется. Так каким же образом Зухра вдруг очутилась сегодня здесь, на головокружительной вершине минарета? Как отпустил ее сюда ревнивец-муж с мрачными, кустистыми бровями? И как случилось так, что, видя ее перед собой, любуясь ее красотой, он вновь не промолвил ни единого словечка? Она, возможно, простила ему ту первую его растерянность, но сегодняшнюю его беспомощность, молчание она, конечно же, не простит. В ее представлении он теперь живой труп, без огня в груди, без гордости и чести. Искреннее сочувствие, до сегодняшнего дня не угасавшее в ее сердце, отныне наверняка превратится в холодную неприязнь.

Он глянул вниз. У минарета стояли четыре крытые повозки. Женщина в белой накидке, казавшаяся отсюда, с вышины, пушинкой над пепельной, выжженной землей, стремительно направилась к одной из них. За ней тянулась пышная свита. Несколько слуг бросилось вперед, распахнуло перед маленькой женщиной дверцу повозки, обтянутой золотистым атласом. Две женщины в желтых накидках, поддерживая таинственную гостью под руки, помогли ей подняться по навесным ступенькам. При входе в повозку от резкого движения белая накидка на мгновение взметнулась и тут же, словно ревниво оберегая ту, что находилась под ней, от чужого, худого глаза, вновь опустилась. Поджарые, горячие кони, беспокойно перебиравшие ногами, рванули с места. Голубая шелковая занавеска на окошке трепыхалась, билась, играя со встречным ветром.

Молодой мастер зачарованно глядел вслед быстро удалявшимся повозкам. Сизый шлейф пыли, долго не оседая, волочился позади. Нарядный кортеж вскоре исчез за высокой оградой вокруг густого

сада, в котором находился дворец Младшей Ханши. Только теперь Жаппару стало ясно, что за гостья удостоила его своим вниманием.

Все вокруг вдруг лишилось привычных очертаний. Из степи медленно наплывали вечерние сумерки, окутывая окрестности серой дымкой. Безразличный и вялый спустился молодой мастер с минарета. Как всегда, помылся. Рабов давно уже угнали в крепость. Возле минарета стояла одинокая серая повозка, в которой его возили на работу и домой. Еще утром, выйдя из повозки, он по привычке бросил взгляд на голые, корявые, еще не облицованные стены минарета и поморщился как от боли: на фоне голубого чистого неба его творение казалось грубым, несуразным и даже уродливым. Со смешанным чувством удивления, досады и откровенного отчуждения смотрел он на каменную, никому не нужную громаду, тупо устремившуюся ввысь. Впервые сегодня он так явственно увидел и осознал всю ее претенциозную никчемность. Видно, одно желание руководило им — скорее бы подняться над лабиринтом глиняных дувалов, чтобы увидеть простор степей. И ради этой одной-единственной цели он клал кирпич на кирпич, ряд за рядом, и уже вполне довольствовался этим. И ночью, во сне, неотступно преследовало его вчерашнее видение: белая, невесомая, как мираж в знойный месяц, накидка и голубая шелковая занавеска, которую трепал на окошке повозки игривый встречный ветер. И этот легкий, трепетный мир, овеянный свежим осенним дуновением, прозрачным утренним воздухом и чистым, бездонным небом, казалось, грубо разрушала совершенно неуместная здесь каменная махина. И от этого несоответствия, внутреннего несогласия душа молодого мастера омрачилась, опустела.

Он, как всегда, вел кладку и после каждого кирпича растерянно поглядывал в сторону сада за высокой каменной оградой. Все чудилось ему, что из какого-нибудь окна, укрывшегося в тенистом саду дворца, смотрит на него юная ханша. И каждый раз, конечно, видя это каменное чудовище, воздвигнутое им, она испытывает боль и унижение. Уродство, должно быть, убивает хрупкую, нежную, как ее накидка-кисея, мечту.

У Жаппара опускались руки. Он швырнул к ногам красный плотный кирпич.

Прозрачный, синью пронизанный воздух застыл, как гладь степного озера после бури.

Он был раздавлен. Он не знал, как дальше быть, что делать... Его волнения, старания, многомесячные труды неожиданно потеряли всякий смысл. Он понимал, что должен, как все эти долгие дни, продолжать кладку кирпич за кирпичом, ряд за рядом, но руки не слушались, это было уже выше его сил. Была у него цель, преследовавшая неотступно, — вырваться из тисков невзрачных глиняных дувалов и увидеть бескрайний голубой горизонт, словно выплеснувшийся из чаши вселенной. Это желание осуществилось. Увидел он, наконец, и долгожданный горизонт, точно через окошко глянул на беспредельный божий мир, только радость от этого оказалась недолгой и непрочной: желанная цель изо дня в день неумолимо удалялась, уплывала. Еще недавно этот минарет, дерзко устремившийся ввысь, казался ему могучей рукой доброго и все сильного великана, освободившего его из затхлого, душного мирка городской окраины и поднявшего на спасительную высоту; однако теперь минарет будто держал его на привязи, не позволял свободно парить в поднебесье, сковывал порывы и потому походил на темницу-зندان, построенную только не под землей, а над ней. Словом, мастер чувствовал себя пленником, невольником, который не в силах и на землю опуститься, и в небо взмыть... Будто завис между небом и землей. Это, может быть, не менее мучительно, чем, скажем, заживо гнить в темнице. Там ты тоже связан по рукам и ногам, однако избавлен от любопытных глаз. А тут ни один не проходит, не взглянув на тебя. И каждый при этом волен судить о тебе как ему заблагорассудится. А что неприятнее чужого глаза и страшнее людской молвы?

Нет такого человека, который не терялся бы под пронзительным осуждающим взглядом, способным копьём вонзиться в грудь или стрелой в затылок. И, вероятно, нет большей муки, чем знать, что именно на тебя глазают издалека и именно о тебе ведут досужие разговоры, но не знать, не догадываться, почему глазают и что говорят. Все это так, и тем не менее большинство человеческого рода отчаянно рвется к славе. Едва ли не в каждом сидит соблазн быть на виду толпы; для многих бесславная жизнь подобна затворничеству в темнице. А между тем, если честно признаться, большая слава и постоянная жизнь на виду — и есть подлинный ад. В темнице тебя угнетают и холод, и сырость, и бессилие, и безмолвие, и мрак — все это верно, но даже у

такой жизни есть своя очевидная определенность. Но в чем прелесть и смысл мнимой свободы, если ты постоянно будто голым ходишь посреди белого дня по улице, ежась под бесцеремонными взглядами встречных-поперечных и гадая, почему один усмехнулся, другой выпучил глаза, а третий показал тебе вслед язык. И все-таки все желают известности, каждый норовит показать себя. Вот эта человеческая слабость — неумная жажда славы обрекла его на муки одиночества и загнала на вершину минарета, где он торчит на забаву скучающему глазу и праздному языку, словно овечий катышек на камышинке... Теперь ему стало совершенно ясно, что и больного отца, который вместо того, чтобы благоразумно сидеть в своем крохотном кишлаке, делать кувшины и худо-бедно доживать у родного очага свой век, пустился в далекий и опасный путь. В чужой, неведомый город, гнала, лишив покоя, опять-таки эта самая пагубная страсть — желание добиться признания и славы. Теперь вот и он, Жаппар, оседлал строптивую лошадку удачи, именуемую еще зачастую мечтой; многие безумцы хватили ее за шелковую гриву и даже до поры до времени, случалось, скакали на ней, пьянея от счастья, но потом почти всегда оказывались на земле, у ее ног.

И сегодня, ясным утром, когда солнце еще не раскалилось и воздух не лишился прозрачной синевы, стоял он — уже в который раз! — на вершине, у края кладки, и потерянно озирался вокруг, не испытывая привычного нетерпеливого желания продолжить работу.

Все тот же город простирался внизу. Неказистые глиняные домики стояли там-сям, вразброс, похожие на обмусоленные мальчишкой кусочки сушеного творога на убогом дастархане. Небосвод был чист, без единого облачка, но непроницаем и равнодушен ко всему на свете.

Взгляд Жаппара долго блуждал в пространстве между небом и землей и, не найдя зацепки, вновь устремился в сторону сада Младшей Ханши.

Дворцовая площадь, укрытая сверху пышной листвой, сегодня — совершенно неожиданно! — открылась перед ним как на ладони. Оказывается, стремясь скорее увидеть манящую полосу горизонта, он совсем не обратил внимания на то, что находилось поблизости. Между тем дворец Младшей Ханши, ревниво оберегаемый от постороннего глаза, днем и ночью охраняемый вооруженными сарбазами, доступный лишь вольным птицам, прекрасно просматривался с высоты минарета.

Ошеломленный этим открытием, он пригляделся пристальней и отчетливо увидел и белесые тропинки в саду, и круглые, как наперсток, зеленые лужайки, и зеркально-гладкие голубые запруды-бассейны. Нетерпеливая дрожь проснулась в нем. Руки сами потянулись к кирпичам, сваленным у ног. Ему хотелось скорее поднять кладку еще выше. Поднять на такую высоту, чтобы взору его были доступны все уголки таинственного дворца. И тогда... тогда он, безымянный молодой мастер, станет во всей вселенной единственным человеком, которому с высоты птичьего полета позволено любоваться вдосталь дворцом, куда грозный и всемогущий Повелитель запрятал прелестную юную ханшу. Даже сам всеильный владыка, покоривший немало стран из трех сторон света, не может обозревать укромный сад своей жены так, как это доступно молодому зодчему.

Куча кирпичей у его ног таяла на глазах. Мастер Жаппар в тот день даже не заметил, как стемнело.

Наутро, взяв в руку мастерок, он первым делом посмотрел в сторону сада ханши. Конечно же, подумал он, не исключено, что и юная ханша, сидя у одного из бесчисленных окошек, с любопытством наблюдает за ним. Теперь у него появилась ясная цель: он должен закончить минарет, чтобы он нависал над головой в любом — даже самом укромном! — уголке ханского сада.

Ранее, бывало, выложив ряд, он позволял себе передышку и предавался раздумьям. Теперь же работал споро, без пауз. Если будет так работаться и дальше, то через неделю минарет достигнет желанной высоты. Потом главное: его необходимо отделать, украсить так, чтобы он удивлял и восхищал взор каждого. Нужно оживить эту несуразную каменную громаду, вырвать ее из безмолвия, придать легкость, изящество, блеск, найти особый цвет, оттенок, отражающий извечную гармонию неба и земли. Для этого сначала нужно найти форму, удачно завершающую вершину минарета. Если закончить минарет на одном уровне, ровно, то это придаст ему незавершенный вид, и тогда башня при любой высоте все равно будет смахивать на обрубок. Заузить вершину, сделать ее острой, как копье, — вряд ли целесообразно. Получится, будто минарет впивается своей вершиной в грудь неба. Видно, минарет следует завершить в форме купола, голубого, как небо, чтобы не оттенять завершающую грань, а придать линиям мягкость, незаметно сливающуюся с небесной ширью. Тогда минарет обретет

некую таинственность, загадочный облик, и не сразу будет понятно, то ли он устремился с земли в небо, то ли с неба стремительно летит к земле. А это как раз то, что ему, мастеру, надобно. Он вовсе не желает, чтобы его минарет своей мощью и величием внушал ужас и страх или, наоборот, казался красивой и невинной игрушкой, которую каждому хочется мимоходом прихватить. Важно, чтобы его красота вызывала не просто восторг и удивление, не только радовала взор, но и поражала своей таинственностью, тревожила многозначительностью и загадочностью. Перед глазами мастера вновь мелькнула шелковая занавеска на окошке золотистой повозки. Встречный ветер словно заигрывал с ней...

Счастливая мысль точно пронзила Жаппара. Он нашел наконец то, что так долго искал. Ну, конечно, он должен придать башне такую же легкость и игривость. Она будет являться перед взором неожиданно и поражать сознание, покажется белой, гладкой рукой истомленной любовью красавицы, рукой, протянутой к одному из ангелов, незримо обитающих на необъятном голубом небе. Пусть даже Повелитель, возвращающийся утомленным из далекого и опасного похода, увидит в ней руку, радостно приветствующую его.

«Нужно о синильной краске позаботиться, — подумал молодой мастер. — Надо собрать дермене, запастись пеплом от перекаченного поля...»

И тут его охватило нетерпеливое желание скорее закончить кладку стен и приступить к осуществлению мечты, так неожиданно вспыхнувшей в его душе. Он сейчас больше всего на свете боялся лишиться того дива, так отчетливо представшего перед ним в этой прозрачной сини утреннего воздуха. От одного этого прозрения ему стало не по себе; казалось, злая рука искусителя Аезила одним движением сотрет прекрасное видение. Уже охваченный страхом, он широко открытыми глазами посмотрел вдаль: необъятный лазурный простор зыбился перед ним.

Внизу лежал все тот же ханский сад. На открытой площади степенно прогуливались молодые женщины, словно разморенные негой лебеди плыли по озеру. Жаппар не заметил, откуда и когда они здесь появились. Вскоре стайка разнаряженных красавиц потянулась к зеркальному пруду на краю зеленой лужайки. С двух сторон пруда высились две подставки, похожие на башенки. Белая сетчатая

занавеска была протянута между ними. На берегу пруда то здесь, то там кучками лежали красные яблоки.

Женщины подошли к пруду и начали раздеваться. На зеленую травку белыми островками легли пышные парчовые платья. Из-под белоснежного белья враз вынырнули, купаясь в розоватых лучах утреннего солнца, статные, как на подбор, молодые нагие женщины. Уже в следующее мгновение, ликующе взвизгнув, они попрыгали с бережка в лазурный пруд. Взбурлилась, заискрилась водная гладь, точно иссеченная градом коралловых бус. Замелькали над водой белые руки, вздымая тучи брызг. Порезвившись, несколько купальщиц выбежали на берег и принялись швырять в пруд темно-красные наливные яблоки. Остальные с хохотом ловили их, высоко выпрыгивая из воды. Забава разгоралась: женщины, барахтаясь в пруду, затеяли шумную возню, отталкивали друг дружку, стараясь поймать яблоко. Вместе с женщинами расшалились и волны; белогривый гребень волны, накатываясь, жадно целовал тугие острые груди, на мгновение мелькавшие над вспененной водой. Черные блестящие волосы купальщиц рассыпались по смуглым гладким плечам, шее и грудям, словно оберегая их от настойчивых ласк. Сонный пруд в ханском саду заколыхался, разыграл волнами, будто в него разом пустили тысячу серебристых фазанов, и выплескивался на берег. Юные купальщицы, одна другой краше, подзадоривая друг дружку, выпрыгивали высоко, резвились, будто упругие белые волны. Веселая зыбь обычно тихого ханского пруда взволновала сердце молодого мастера.

Наконец купальщицы уgomонились: успокоился и пруд, вновь засверкал зеркальной гладью. Сорок красавиц уселись вокруг пруда, опустив ноги в воду, стали на солнышке греться-загорать, друг дружке волосы расчесывать, косы заплетать. Потом опять все разом вскочили, направились к лужайке, где белела их одежда. Истомленные, разморенные, чуть порозовевшие от солнца, красавицы степенно пошли ко дворцу.

Едва они скрылись за кучами кустов перед дворцом, из разных уголков сада выбежали десять мужчин и начали длинными сачками вылавливать яблоки в пруду.

Работа опять застопорилась. Жаппару казалось, что стоит только на одну пядь поднять кладку, и ему уже никогда не увидать подобной красоты. Все эти долгие месяцы башня неуклонно рвалась ввысь, а

теперь она будто достигла желанной вершины, ни на вершок не хотела подниматься.

Отныне каждый раз, когда юная ханша и ее свита купались в пруду, мастер не спускал с них глаз, надеясь, что они посмотрят в его сторону. Однако ни одна из сорока прелестных купальщиц, резвящихся в воде и загоравших на бережку, ни разу не глянула на возвышавшийся неподалеку минарет. С обидой и надеждой следил он за ними и тогда, когда они одевались и лениво-разморенной походкой удалялись во дворец. Купальщицы точно сговорились: никто не оборачивался, не достаивал ни его, ни башню взглядом.

Когда сорок красавиц, медленно ступая, скрывались за кустами кустов, ханский сад мгновенно пустел и терял нарядность и привлекательность. Тускнел и зеркальный пруд, словно посыпанный пеплом. Гасли живые краски многоцветных, ярких, как иранский ковер, клумб.

Пусто и грустно становилось и на душе молодого мастера. Опечаленными, как у верблюжонка-сироты, глазами подолгу смотрел он на еле заметную, извивавшуюся внизу белесую тропинку, по которой только что прошла со своей свитой юная ханша. Но тропинка, ревниво скрывающая даже след ханши, загадочно молчит и будто ухмыляется ему в лицо. Мысленный взор молодого мастера одиноко плутает по песчаной тропинке, ныряющей в купы зарослей перед дворцом, тоскует по сорока красавицам, но не решается преследовать их дальше, растерянно бродит возле зеленых кустов и возвращается назад ни с чем.

И эти душевные муки продолжаются изо дня в день. Жаппар с опаской поглядывает на солнце, желая, чтобы оно не спешило, не заходило, надеясь, что ханша со своей свитой выйдет на прогулку. Однако после утреннего купания ханша уже не показывается в саду. Извелся джигит от тоски и уныния. Горячий, строптивый скакун, понесший было его к яркой мечте, вдруг вновь обернулся рабочей клячей, понуро бредущей по извилистым тропинкам повседневной жизни. Только теперь Жаппар осознал, что ему, невольнику и бедняку, с малых лет копающемуся в глине, даже думать о ханше и грезами будоражить свою душу — уже кощунство и непростительный грех. И он, пугаясь самого себя, озирался по сторонам: не догадался ли кто о его смятении и предосудительном смутном желании? Однако кому

какое дело до одинокого мечтателя, томящегося на вершине минарета под самым небосводом! Ведь по существу он все равно что отбившийся от стаи взъерошенный воробей на ветке чинары. Никто его и всерьез не принимает. Не потому ли ханша и ее свита, ничуть не стесняясь, догола раздеваются на его глазах и, вдоволь накупавшись, возвращаются во дворец, даже не взглянув в сторону минарета?..

Значит, для того, чтобы обратить на себя взор гордой ханши, он должен придать своему минарету такое великолепие, какого обитатели стран Двуречья и не видывали. Если бы только удалось воплотить свой замысел — построить минарет таким, каким он почудился ему однажды в счастливый миг, — тогда и ханша поневоле залюбовалась бы им. Разве устоит она, если сорок красавиц из ее свиты начнут, поцокивая от восторга языками, расхваливать на разные лады его творение?! Нет, наверняка будет сгорать от любопытства, и тогда — кто знает! — может, восхитится и величественным минаретом, и построившим его молодым зодчим.

Сердце вновь забилося пылко, нетерпеливо. Мастер твердо решил отделать свой минарет так, чтобы им не могли не восторгаться ханша и ее свита. Он заставит их смотреть на себя и говорить о себе!

По его велению неподалеку от минарета построили десяток глиняных печей-тандыров, каждая величиной с шестикрылую юрту. В них стопили целые горы цитварной пыли и красильного корня, из золы которых потом готовили лазурь. Несколько мастеров обжигали мозаичные плиты, шлифовали их, красили в небесно-синий цвет, переливающийся в лучах солнца. Уже через месяц десять мозаистов, поддерживаемые канатами, приступили к облицовке минарета. Сам зодчий, не находя себе места, бегал вокруг своего творения, постепенно облачившегося в голубой наряд. Иногда он уходил далеко, на расстояние кочевья, и оттуда отрешенно взирал часами на преображающийся минарет. Издалека он казался тонким шестом, смутно виднеющимся на дрожащем бледно-синем фоне. Окутанный маревом минарет словно подавал таинственные знаки и силился что-то сказать.

Долго смотрел Жаппар на безмолвного своего первенца, пытаясь понять, угадать, что же ему хочется высказать. И сидя в повозке, не отрывал от минарета взгляд. И стоя на земле, все что-то высматривал. Часто, приставив ладонь ко лбу, пристально следил за солнцем,

которое со сдержанной улыбкой плыло по ясному небосводу. Случалось, задумывался, замирал в тихой безлюдной степи, прислушивался к чему-то, всматривался в небо, будто оттуда ожидая сокровенного знамения.

Потом, вдруг спохватившись, садился вновь в повозку и мчался в другую сторону. И здесь он опять застывал в полной отрешенности, точно замороженный чьей-то могущественной волей, и молча взывал к таинственному духу, растворенному в прозрачном воздухе и видимому только ему, одному зиждителю. Иногда лицо его искажала презрительная гримаса, будто что-то недостойное, низменное оскорбляло выношенное в душе прекрасное видение, он качал головой, отплевывался, а то и вовсе закрывал лицо руками и садился на корточки. Должно быть, на него находило черное отчаяние, и ему уже ничего не хотелось видеть вокруг себя. Скулы резко обозначились, желваки бугрились на исхудалом лице, он молчал и скрипел зубами, словно изгонял из себя джинна сомнения и неверия, и старался забыть мелочную суету, губившую вдохновение. Причудливые пестрые тени и видения, мельтешившие перед глазами, постепенно уплывали, растворялись в густеющем мраке, а вместе с ними куда-то исчезало и то, что приводило его в смятение, и он, понемногу успокаиваясь, осторожно открывал глаза, смотрел на голубевший вдали минарет и вдруг вскакивал, как безумный, вспыхивал от неожиданной радости, открыв что-то неведомое и очень важное для себя, что страшно было расплескать, потерять.

Повозка мчала его к минарету. Домчавшись, он как одержимый поднимался по лестницам к мастерам-мозаистам, облепившим крутые стены башни, что-то долго и горячо им втолковывал, от нетерпения размахивал руками, потом спускался вниз, внимательно разглядывал мозаичные плиты и, прихватив охапку, спешил к тандырам — печам для обжига.

За эти месяцы он изнурил себя до неузнаваемости. Лицо обрело пепельный цвет. Кожа, казалось, приросла к костям. Одни глаза лихорадочно поблескивали, смотрели строго и пытливо, все время что-то беспокойно выискивали.

Еще недавно громоздкий и неуклюжий минарет, бездушной машиной возвышавшийся над землей, теперь неузнаваемо преображался на глазах. Все чаще оглядывались и засматривались на

него прохожие, убеждаясь, что новый минарет совершенно непохож на другие минареты в городе, однако никто не мог точно определить чем. Поражали цвета, причудливые переливы оттенков, бесконечно меняющихся в зависимости от местоположения солнца. Все это казалось таинственным, непостижимым. Отделку купола Жаппар завершил сам. Прошла еще одна зима, куца, как всегда в этих краях, и без холодов. Наступила ранняя, но теплая весна, когда даже ночью не застывает жир. Деревья в ханском саду распустили почки, потом дружно зацвели, окутались сиреневой дымкой, воздух стал густым, вязким, и в нем запорхали бесчисленные синие, белые, оранжевые бабочки — лепестки цветов.

Приближалась пора, когда юная ханша в сопровождении пышной свиты совершает по саду утренние прогулки. Те дни Жаппар ждал с нетерпением. Вскоре наступили и они. Однажды из-за куп густозеленых деревьев перед дворцовой площадью показалась группа молодых женщин в воздушных белых платьях. Они сделали несколько шажков и остановились. Потом спохватились и торопливо, вразброд направились к зеркальному пруду на краю лужайки. Чем-то взбудораженные, они не разделись и не прыгнули в воду, как прежде, а, уже не скрывая изумления, с открытыми ртами уставились на минарет. То-то же, гордые красотки!.. Заметили наконец! Ну, ну, смотрите, любуйтесь, восторгайтесь! Жаппар злорадно и самодовольно усмехнулся. То ли от удовлетворенной мести, то ли от долгожданной радости, распиравшей грудь, на мгновение серый туман застил глаза.

Голубой минарет был близок к завершению. Только со стороны дворца зиял еще зазор под куполом. Отсюда Жаппар незаметно наблюдал за ханским садом.

Он не спешил заделывать зазор. Жалко было расставаться с дивным видением, которым судьба одаривала его ежедневно. Стоило заложить кирпичами небольшую щель под куполом, и сорок красавиц, похожих на гурий в саду эдема, исчезнут для него навсегда.

На зеленой лужайке возле пруда чинно прогуливались сорок изнеженных, истомленных красавиц. В середине, выделяясь белоснежным саукеле, увитым жемчужными нитями, плыла прелестная ханша. И когда она со своей свитой, сбившейся в тесный круг на берегу пруда, долго и восторженно смотрела на минарет, молодой мастер чувствовал себя самым создателем, всевышним

творцом, из райского сада благоговейно взирающим на дело рук своих. Каменный минарет, не однажды омрачавший душу и разбивавший его мечту, теперь вновь обернулся крылом счастья, взметнувшим его в недосыгаемую высь. Но когда он вспоминал о том, что счастье это мимолетно, обманчиво, что через несколько дней оно его покинет навсегда, молодой мастер становился сам не свой, душа его ныла, обливалась кровью, будто ее рвали зубами собаки.

И тогда он принял отчаянное решение. Он не спустится с минарета и не заделает зазор под куполом, пока не придет палач с секирой в руке и не уведет силком его отсюда.

Вскоре на вершину минарета поднялся сам главный мастер. Должно быть, он догадывался о том, что творилось в душе Жаппара. Главный мастер принес весть: Повелитель возвращается из великого похода. К его приезду следует закончить минарет и дочиста убрать вокруг весь строительный хлам. По словам путников, новый минарет хорошо просматривается уже у границы Великих Песков. Вернется Повелитель, проведет великий пир в честь очередной победы, одарит драгоценностями своих бесстрашных бахадуров-воинов, а вместе с ними — наверняка и зиждителя храма-минарета, и тогда слава о нем облетит весь подлунный мир.

Жаппар молчал, понуро опустив голову, будто и не слышал, о чем говорил главный мастер. Заметив, что говорит впустую, главный мастер умолк, пытливо оглядел молодого напарника, точно ощупал его опытным, пронизательным взглядом, и сразу сообразил, что тот находится во власти страстного, всепоглощающего чувства. Он покосился туда, куда устремился застывший, отсутствующий взгляд молодого зодчего, и увидел там, далеко внизу, на зеленой лужайке ханского сада, юную ханшу со своей свитой, которые с любопытством разглядывали минарет.

Главный мастер ушел, не проронив ни слова. Весть о скором возвращении Повелителя мгновенно облетела весь город. И обитатели махалля, где жил Жаппар, и строители, помогавшие заканчивать минарет, с утра до вечера только об этом и говорили. И лишь одному Жаппару, казалось, не было дела до этой новости.

Между тем горожане каждое утро, поднявшись с постели, первым делом смотрели на новый минарет и всякий раз видели все еще не заделанный зазор под куполом. Однако ни один из смертных, не

желающих видеть холодный блеск секиры в руках палача ни наяву, ни даже в страшном сне, не говорил о том ни единого слова, смутно догадываясь о тайне зазора, но строго держа ее за зубами. И опять-таки лишь сам зодчий ничего не чувствовал, не слышал. Даже ханша, наверняка не зная, о чем думают горожане, была встревожена дерзостью молодого мастера.

В тот день, когда к Повелителю отправили нарочного, утром из ханского сада выехали две повозки и понеслись в сторону минарета. Жаппар, стоявший на вершине башни, все видел. Через некоторое время издалека, будто из-под земли, послышались глухие шаги, эхом отзывавшиеся внутри полого минарета. Кто-то поднимался по узкой винтовой лестнице. Молодой зодчий насторожился, прислушался: звуки шагов сливались со стуком его сердца. Он метнул взгляд в сторону ханского дворца: на зеленой лужайке не было ни души. В безмолвии застыли и купы деревьев; густая тень покорно лежала у их ног. Казалось, весь мир, затаив дыхание, вместе с ним, Жаппаром, прислушивался к четкому, глухому стуку, приближавшемуся, как неотвратимый рок, откуда-то снизу, из мрачной глубины минарета.

Зябкая дрожь пробежала по спине Жаппара. Неведомое чувство — не то страх, не то ужас, не то покорность и смирение перед неминуемым — охватило его. Должно быть, так чувствует себя человек в предсмертный час, слыша, как приближается к нему, грохоча железным скипетром, ангел смерти. Молодой зодчий не шелохнулся, держался стойко и спокойно прислушивался к грозным шагам, готовый, если это нужно, принять смерть.

Он, не отрываясь, глядел себе под ноги, где зиял мрачный бездонный колодец. Все громче становился звук шагов. Жаппар весь напрягся, мышцы будто окаменели, жилы натянулись, напряжинились. Вот, вот, сейчас... сейчас сверкнет что-то во мраке... Ну, конечно, секира палача. Ведь кто осмелится встретить грозного Повелителя так, как он, не достроив башню, оставив, как вызов, зияющий зазор под куполом?! Какой владыка потерпит такую дерзость? Сейчас услужливый палач одним махом отсечет голову строптивцу и прикажет немедля заделать зазор главному мастеру.

Как замороженный, смотрел Жаппар в зловещую черную пасть под ногами. Звуки, доходившие снизу, становились резче, жестче и словно сверлили темя. «Терпи, — уговаривал себя Жаппар, — все

вытерпи!>> Мысли путались, и сейчас у него не было другой опоры, другого утешения, кроме этих слов. В горле пересохло; в глотку точно загнали кляп; он задыхался; сознание помутилось. «Ну, и пусть... пусть, — обреченно подумалось. — Так даже лучше. Сейчас, увидев секиру палача, даже не вскрикну. В одно мгновение душа покинет тело. И никто этого не увидит, не услышит. Пусть... хорошо!»

Шаги уже были рядом. Он с усилием повернул онемевшую шею, глянул в сторону ханского сада. «Хоть бы увидеть ее в последний раз... увидеть, перед тем, как ее палач снесет мне голову...» На зеленой лужайке по-прежнему ни живой души... А солнце стоит уже в зените... И зеркальный пруд застыл в безмолвии... Значит, и на прогулку сегодня не выйдет, и купаться не станет... Но почему слышен зловещий стук шагов?..

Холодный свет блеснул перед глазами. Нет, то был не блеск отточенной секиры в руках палача. Тут же он уловил легкий шорох, что-то белое промелькнуло, рядом и укрыло тусклый блеск жемчужины на руке.

«Ах, она сама пришла... Да, да, она... сама!» Прямо перед ним, точно такая же, как тогда, в первый раз, стояла юная ханша. То же белоснежное парчовое платье, та же прозрачная невесомая сетчатая белая накидка... Она не поднялась на последние ступеньки лестницы, будто опасалась, что там, на вершине, ее может сдуть ветром. Большие, влажные, как у верблюжонка, глаза смущенно улыбались... Пухлые и красные, как две вишенки, губы чуть вздрагивали. С него будто разом свалился тяжелый железный обруч, сковывавший его с раннего утра. Он, обезумев, бросился к ней.

Пылкость молодого мастера испугала женщину; она отшатнулась, отступила еще на две ступеньки.

Только теперь он опомнился и, устыдившись своего порыва, застыл на месте.

Она глядела на него доверительно и нежно. Юная прелестная женщина, почти еще девочка с большими невинными глазами. Что-то неуловимо трогательное было в ее взгляде, не то испуг, не то смущение, не то какая-то затаенная боль, которую невозможно было выразить никакими словами. Точно так же, с неясной тревогой и надеждой, бывало, взглядывала на него и Зухра. Да, да, совершенно такой же взгляд — взгляд-обещание, взгляд-тревога, взгляд-

нежность... Только у Зухры не пылал над лбом крупный рубиновый камень и не белела так ослепительно драгоценная накидка... И если сейчас... сейчас же, в этот миг, он не скажет ей свои сокровенные слова, то и она, как когда-то Зухра, исчезнет для него навсегда. И тогда он всю свою жизнь промается, как неприкаянный, с болью, тоской и досадой в сердце....

Жаппар осторожно откашлялся, пытаясь что-то сказать, но голоса не было. Ханша с затаенной печалью глядела на него. Он протянул к ней руки, она не отстранилась, не противилась. Он сам не заметил, как осторожно притянул ее к себе, как она, мягкая, хрупкая, легкая, покорно прильнула к нему, вся исчезая в жарких объятиях. Он вдруг со сладкой болью почувствовал, что это и есть единственное мгновение счастья, отпущенное скрягой-судьбой, что уж больше никогда оно не повторится и не вернется. Он сильнее прижал к себе маленькую, податливую фигурку ханши, прильнул сухими жесткими губами к ее пухлым, сочным, как спелая вишня, губам, чувствуя, что млеет, тает от восторга и счастья...

Минарет был закончен в обещанный срок. Он возвышался спокойно и горделиво, сияя и купаясь в лучах солнца, ждал возвращения грозного Повелителя, чтобы приветствовать его издалека, еще за несколько перевалов до столичного города.

Потом Жаппар узнал, что Повелитель соизволил лично осмотреть новый минарет, что он долго и в задумчивости стоял возле него, любовался им и уехал приятно пораженный и довольный. Однако проходили дни, а из ханского дворца не было никаких вестей.

И однажды, когда в знойный полдень прискакал за ним нарочный, чтобы немедля доставить его в ханский дворец, Жаппар сразу понял, что там его ждут отнюдь не почести и подарки. И когда угрюмый серолицый старик, одиноко восседавший, нахохлившись, как стервятник, у мраморного хауза в середине сумрачного и прохладного дворца, впился в него колючими, пронизывающими насквозь и все видящими глазами, молодой зодчий не смог ничего утаить...

Часть третья

ЛЮБОВЬ

За последние три месяца Младшая Ханша заметно исхудала. От бесконечного томления у окна, сквозь разноцветную мозаику которого сочился мертвенно-пестрый свет, личико ее осунулось, побледнело. Нежная, упругая шея, еще недавно соблазнительно гибкая, теперь увяла, истончилась. Заострились и скулы, а под глазами даже сквозь густые белила проступали темные тени, такие же, как стойкий сумрак в ее одинокой опочивальне...

Ханша с досадой отвернулась от круглого зеркала, которое, точно злорадствующая соперница, подчеркивало каждый ее изъян.

Ни звука, ни шороха, кроме бесконечного монотонного шепота фонтанчика в круглом хаузе посередине огромного пустующего зала. Днем и ночью, ночью и днем бормочет, нашептывает он свое нескончаемое буль-буль-буль.

Иногда на нее накатывалось слепое отчаяние, и она подбегала к хаузу, готовая сокрушить его в безумии, но при виде покорной, в бездушный мрамор зажатой прозрачной струйки ярость мгновенно гасла, как свеча на сквозняке, уступая место печали и беспросветной тоске.

Ханша бессильно опускалась на мраморное возвышение, покрытое толстым, пышным ковром. Так она сидела долго, потерянная, раздавленная...

Стоило чуть удалиться от хауза, как невинно капавшие чистые слезы фонтанчика вновь сливались в таинственный шепот, который, точно искуситель, приводил в смятение ее измученную душу. Случалось, ханша засыпала прямо на ковре возле хауза. Она боялась отходить даже на шаг от мраморного возвышения. Всюду ей мерещился злорадный шепот.

Тихий лепет прозрачной воды, вскипавшей где-то в глубине, но с покорной вялостью сочившейся из узкого отверстия, казалось, переключался со скользким, неуловимым шушуканием старухи-привратницы, рабов-евнухов и придворных девушек за огромной дубовой дверью, обитой золотом. Более того, ханше чудилось, что и

бесчисленные листья на деревьях в саду шелестели, перешептывались, рассказывая друг другу что-то нехорошее о ней.

Порой ханша отправлялась на прогулку, выбирая дальние, одинокие тропинки в ханском саду, и, случалось, из-за деревьев с любопытством взирали на нее косули и пятнистые олени, и в их влажных, круглых глазах будто стояло немое удивление: «Ах, это и есть та самая молодая ханша, о которой нынче сплетничают все?!»

В последнее время она не выходила из своих покоев.

А властелин упорно не давал о себе знать. Каждое утро она со смутной надеждой заглядывала в глаза служанок, приходивших ее одевать, но они подозрительно отмалчивались. С какой-то необъяснимой робостью заходили они к ней и так же смущенно удалялись, пряча глаза, словно боялись, что ханша подслушала невзначай их тайный разговор в прихожей.

А совсем еще недавно, когда она только переступила порог ханского дворца, они все души в ней не чаяли и радостно увивались вокруг. Даже угрюмая старуха служанка с бычьим загривком при ней становилась необычно приветливой и доброй. Бывало, в канун многолюдных ханских торжеств старуха хлопотала изо всех сил, стараясь, чтобы ее ханша по пышности и великолепию нарядов, свиты и церемоний перещеголяла ненавистную Старшую Ханшу. И когда в Большом дворце, во время высоких приемов, две враждующие старшие служанки с нескрываемым высокомерием и злорадством косились друг на дружку, юная ханша еле сдерживала смех...

Да-а... сумрачная старуха любила и лелеяла ее, как родную дочь.

Сердечно привязаны были к ней и другие служанки и девушки из свиты. Почти все они были старше ее. И, должно быть, потому ее не столько почитали, как жену Повелителя, а больше обихаживали, как младшую сестрицу. Никто, казалось, не завидовал ей, а все только радовались, будто их единокровная младшая сестренка вышла замуж за всесильного хана. И не было для них большего удовольствия, чем одевать ее, втирать в ее гладкую кожу благовония. Поднимаясь на рассвете, они ходили на цыпочках, толпились у двери, с нетерпением ожидая, когда она проснется.

Едва она открывала глаза, как в опочивальню к ней врывается стайка разнаряженных девиц и начинала весело порхать вокруг, точно пестрокрылые бабочки. Юная ханша смущалась под их

бесцеремонными взглядами, зарывалась в подушку, укутывалась в одеяло, но множество рук тянулось к ней, подчиняя своей воле. И когда ее нежного, горячего спросонья тела касались мягкие ладони служанок, она вся замирала от истомы.

Как-то раз после вечерней трапезы старуха служанка разогнала всю свиту и осталась с юной ханшей наедине. У старухи странно блестели глаза. Тонкие лиловые губы под вислым, крючковатым носом беспрестанно шевелились, змеились, шлепали, шелестели. Ханша, ничего не понимая, со смутным страхом глядела на старую служанку. А та, казалось, нашептывала таинственную молитву, намекала на что-то неведомое, постыдное и при этом точно буравила ханшу бесцветно-проницательными глазами. Вечерние сумерки вокруг быстро сгущались, скользили, а вместе с ними будто кружилась и сама опочивальня.

Вскоре старуха, как заведенная отвешивая поклоны, попятилась к выходу. И когда она вышла, опочивальню накрыл плотный таинственный сумрак. Казалось, свет от бесчисленных свечей вдоль стен разом весь скопился на высоченном потолке. Зябкий мрак, все теснее обступая обмиравшую ханшу, усугублял загадочность старушечьих речей. Она почувствовала вдруг слабость, головокружение, непонятная тошнота подкатывала к горлу, и ханша уже направилась было у хаузу, как увидела входившего к ней Повелителя. Странная, смутная темень, окутавшая опочивальню, сразу развеялась. И уже ничего не кружилось вокруг, словно все обрело извечную определенность и твердость, едва нога Повелителя коснулась пола ее покоев.

Она застыла, безмолвная, растерянная, и со страхом смотрела на приближавшегося к ней властелина. Вот он уже подошел на расстояние протянутой руки, и тут она вспомнила, что следует поклониться великому Повелителю, и ханша поспешно склонилась в неумелом, покорном поклоне, но кто-то подхватил ее под локоть, бережно приподнял. Вконец смутившись, она вскинула голову и встретила спокойный, ласковый взгляд Повелителя...

Наутро она проснулась чуть свет и с волнением, непонятным беспокойством ожидала прихода служанок. Лицо ее пылало, голова кружилась, она еще никак не могла осознать, что же с ней случилось, с

радостью и кротостью прислушивалась к своему телу и сильнее зарывалась в пуховые подушки.

Вскоре распахнулась дубовая дверь. Сначала надменно вплыла старуха служанка, за нею впорхнула радостно возбужденная свита.

При виде толпы женщин юная ханша мучительно покраснела, сжалась, стыдливо отвернула головку, спрятав лицо в рассыпавшиеся густые волосы.

Свита была оживленней и веселей обычного. Девушки кинулись целовать ханшу, подняли целый переполох. А потом, позже, когда великий Повелитель несколько ночей кряду удостоил своей любовью юную ханшу, свита и вовсе ликовала.

Однажды, вслед за этим, заметив на себе косые взгляды со стороны служанок и свиты Старшей Ханши во время приема послов в ханском дворце, юная жена впервые ощутила ледяной холод женской ревности. Тогда она метнула осторожный взгляд на Старшую Ханшу и заметила на ее надменном лице тень грозного гнева. Она сама не знала почему, во именно это сразу успокоило ее разволновавшееся сердце и принесло какое-то сладостное удовлетворение.

О том, что соперничество — тайное или явное — горше яда и слаще меда, она узнала значительно позднее.

Но с этого дня она вдруг враз избавилась от скованности и смущения перед служанками и свитой, смутно и неожиданно ощутив в себе уверенность и даже некое превосходство. Ей вдруг во всей ясности открылось, что тяжелый, многими драгоценностями украшенный тюрбан молодой и любимой ханши кажется легче птичьего пуха, когда ловишь на себе восхищенные или завистливые взгляды.

Теперь она с особым вниманием и жадностью прислушивалась к рассказам старухи служанки и девиц из свиты, охотно обсуждавших пышность и великолепие дворца Старшей Ханши.

Накануне нового похода Повелитель перебрался в свой одинокий дворец в столице. О том, что он делает, как живет, доходили до юной ханши разные кривотолки. Ей доносили даже то, что говорили на верховном совете, как выступал тот или иной наместник, когда и на какое ханство двинет свои полчища великий Повелитель. Почти все эти вести оказались потом заурядной сплетней. Но один слух подтвердился полностью: Повелитель действительно готовился к

походу и решил забрать с собой внуков и Старшую Ханшу. Тем самым можно было догадаться, что поход продлится не год и не два, а значительно дольше. Юная ханша, узнав об этом, лишилась покоя. Несколько раз она порывалась пойти в ханский дворец, но так и не осмелилась. Весть о том, что Повелитель остановил свой выбор на Старшей Жене, угнетающе подействовала и на юную ханшу, и на свиту. Они уже не смотрели друг другу в глаза. Ходили как в трауре. Прекратились и недавние безмятежные прогулки в ханском саду.

Мучительная неопределенность длилась несколько месяцев, и вдруг однажды, в вечерний час Повелитель пожаловал сам. Когда служанка шепнула ей, что великий властелин уже выходит из повозки, остановившейся у входа, она еле удержалась, чтобы не выбежать ему навстречу. Но Повелитель не сразу вошел к ней, а направился в свои покои. И опять заставил ее терпеливо ждать до ночи. Юная ханша не находила себе места в огромном дворце, потерянно слонялась из угла в угол. Потом уже в безнадежной печали встала у окна, прижалась лицом к холодному стеклу и тут услышала легкий скрип двери. На большее ее терпения уже не хватило. Забыв про приличие, для самой себя нежданно осмелев, радостно запорхала ему навстречу.

Но и потом, посреди ночи, оставшись на брачном ложе наедине с размякшим, ласковым Повелителем, она не могла вспомнить ни одного слова из тех, что давно уже хранила в сердце. Только и спросила, набравшись храбрости:

— Сколько продлится ваш поход, мой Повелитель?

Он долго и пристально посмотрел ей в глаза, потом погладил ее тонкие, дрожащие руки и спокойно ответил:

— Это знает один аллах...

На другой день город оглушила дробь походных барабанов. Повелитель выступил в поход.

Пригорюнилась юная ханша, почувствовав вдруг себя совершенно одинокой в многолюдном ханском дворце. И тогда ей неожиданно открылось, что единственно близкий человек, который связывает ее с непостижимо огромным миром, — суровый и угрюмый Повелитель, по годам намного ее старший, в чьих серых, пронзительно-холодных глазах при виде ее вспыхивают искорки нежности и ласкового сочувствия. При нем она не испытывала такой жуткой опустошенности.

Видя, как озабоченно хмурила бровки юная ханша, приуныли, притихли и служанки, и девушки из свиты.

Вот так, в семнадцать лет убедилась она в древней истине: нет на свете страшнее муки, чем одиночество.

Одинокие длительные прогулки в пышном ханском саду тоже не утешали. Плоды наливались жизненными соками, и, казалось, каждый листик, каждая веточка торжествовали радость бытия. Восторг и наслаждение жизни неумоимо воспевали и крошечные птахи, порхавшие с дерева на дерево, и бесчисленные озабоченные пчелки, собиравшие нектар с цветов. Время от времени налетал шальной ветерок, и тогда, охваченные трепетом, возбужденно перешептывались и ликовали листья.

Вместо желанной бодрости от таких прогулок юная ханша обретала усталость, очутившись помимо воли на извилистой, глухой тропинке неутоленной страсти, неведомых желаний, неясных томлений, изводивших душу и навевавших грусть и тоску, сковывавших все ее порывы и стремления, словом, ее охватывали безысходность и неопределенность, незаметно, исподтишка подтачивавшие волю, она в смятении возвращалась в сумрачный, опостылевший дворец и подолгу сидела, уставившись в безмолвное пространство.

Желая вывести ее из дурного расположения, девушки из свиты выказывали перед ней свое искусство. Но величаво-тягучая мелодия только усугубляла тоску, задевая чуткие, ей самой неведомые струны души и навевая щемящую скорбь, а полные истомы танцы девушек, то, как они вскидывали насурьмленные брови, играли большими, черными, как у верблюжонка, глазами и улыбались белозубо, казались ей фальшивой забавой, намерением утешить ее, точно капризного ребенка. Ей чудилось, что все веселятся и смеются только через силу.

Наигранное веселье не могло развеять смуту на душе. Наоборот, она испытывала неловкость от того, что доставляет свите столько хлопот. Она выдумывала всякие причины, твердила о головной боли, недомогании и изо всех сил избегала подобных развлечений.

Видя, что ни прогулки в саду, ни развлечения не в силах избавить юную ханшу от затянувшейся тоски, свита растерянно примолкла. Угнетающая тишина и уныние овладели дворцом.

Старуха служанка выбилась из сил, не зная, как еще угодить юной ханше, и водила ее то в сад, показывала ей диковинные цветы, клумбы, то расстилала перед ней со всех сторон света привезенные тюки редких материй — махфис, рация, шамсия, шадда, машад, тафсила, гульстан, мисрия, абидрия, лулия, сабурия, мискалия, сафибар, хидн, атлас, парча, шелк, — предлагая сшить платья на любой вкус и фасон, то старалась обрадовать ее взор драгоценными камнями, кольцами, перстнями, серьгами, подвесками, ожерельями, браслетами, кулонами, подаренными самим ханом, полководцами, правителями, наместниками, послами и родственниками; то предлагала выбрать себе шубку из редкого меха — соболя, песца, выдры, барса, белки, красной лисы; однако ко всему осталась безразлична и холодна юная ханша.

Вконец убедившись в том, что никакими драгоценностями ханшу не соблазнить, старуха навевалась к ней в часы одиночества и заводила нескончаемые разговоры обо всем на свете. Однако ничто, даже дворцовые слухи и сплетни, ничуть не волновало ханшу; казалось, она, хмурая, отрешенная, не внимала ее словам.

И все же многоопытная, хитрая старуха нашла-таки ключик к омрачившейся душе своей подопечной. Стоило ей однажды заговорить о том, какие почести воздаются Старшей Ханше в далеких завоеванных странах, как на юном, безучастном доселе личике вдруг обозначилось оживление. В черных, погасших глазах, бессмысленно устремленных в угол огромного зала, промелькнуло любопытство. Тогда старуха, не скрывая своего ликования, начала обстоятельно рассказывать обо всем, что приходилось ей видеть и слышать во дворце Старшей Ханши, которой прислуживала долгие годы. Имя высокородной ханши старуха, однако, не осмелилась трепать своим грешным языком, зато уж досталось вдосталь ее служанкам и спесивой свите.

По словам старухи выходило, что с тех пор, как Повелитель зачастил во дворец Младшей Ханши, Старшая Жена и ее приближенные исходят злобой и ненавистью. К тому же бесчисленные подарки, текущие со всех сторон света, достаются отныне не одной Старшей Жене, как прежде, и с этим она никак не желала смириться. И сама Старшая Ханша, и ее многочисленная прислуга в последнее время только и шушукаются про то, что, дескать, великий Повелитель все самое ценное и редкое, поступающее из покоренных стран,

отправляет в дар своей Младшей Жене. За это они больше всего и ненавидят юную счастливую соперницу.

Старуха осторожно косилась на юную ханшу, но, не замечая на ее грустном личике ни тени гнева, с истовым усердием продолжала рассказывать. Тонкие, дряблые губы под крючковатым носом, испещренные сеткой мелких, как паутинка, морщин, неустанно шевелились, подрагивали, точно озабоченный паук, плели таинственную вязь; казалось, они не угомонятся, пока не оплетут невидимой сетью простодушную ханшу.

Теперь старуха живописала, будто на нить нанизывала, все, о чем сплетничали во дворце Старшей Жены. Там якобы утверждали, что единственное достоинство Младшей Ханши — ее юность и красота. И не красота даже, а просто смазливость. А в остальном ее, дескать, со Старшей Ханшей и сравнить невозможно. Предки ее не родовиты. Она всего-навсего дочь заурядного, захудалого тюре; во всем ее роду не найдешь именитых; да и Повелитель взял ее в жены без особого желания, просто исполнил предсмертную волю матери; да и ей, новоиспеченной ханше, нечего задирать нос; Повелитель, конечно, велик, и на троне золотом восседает пока прочно, но никто не может скрыть, что он старик, и вряд ли она, молодуха, способна понести от него, только промается зазря, не испытав женской радости и материнского счастья; а когда, не приведи создатель, случится непоправимое, всю жизнь проведет в одиночестве и тоске, в горести обнимая собственные колени...

Незримая паутина искушения, ловко сотканная старой колдуньей, будто опутала, оплела юную ханшу. Ущемленная в самое сердце, она побледнела, а в темных застывших глазах, точно в потухавшем очаге под шальным ветром, мгновенно, вспыхнула искорка.

Старуха тотчас догадалась, что задела, наконец, больное место; но, прибегая к извечной женской уловке, начала поспешно и, конечно, тщетно развеивать ею же посеянные подозрения.

Недаром, должно быть, говорят, что ревность обжигает и льдом, и огнем. И впрямь: какая же это ревность, если от нее не огнем горит лицо и не льдом застывает сердце!

И, разумеется, пустоголовые служанки Старшей Ханши, дочери богатого и влиятельного рода, богом данной супруги самого Повелителя, привыкшей к почестям и славе, принимают ее, Младшую

Жену, за несмышленную девчонку с не обсохшими от материнского молока губами и намереваются подчинить ее своей воле. Как бы не так! Ох, и заблуждаются же они, бедняжки! Придется им, пожалуй, довольствоваться тем, что шушукаться по углам и в бессильной ярости кривить губы.

Уж коли сам всемогущий Повелитель покровительствует ей, своей юной и прекрасной возлюбленной, то холуйские сплетни и кривотолки во дворце Старшей Ханши — все равно что шелест ветра или писк мышки. Пусть не больно кичится Старшая Ханша тем, что она первая. Пусть прикусит свой длинный язык. Не погасить ей очаг любви и сладостных утех, где сам великий из великих предается отдохновению...

Священное негодование полыхало в дряхлой груди старухи. Тонкие ноздри трепетали, губы змеились, голос наливался силой. Редкие, жесткие щетинки под крючковатым носом грозно встопорщились...

Заметив, что старая служанка в своем усердии распалаясь все больше и больше, ханша смерила ее удивленным взглядом. Старуха спохватилась, не перестаралась ли, умолкла на полуслове и вскочила, будто вспомнив какую-то неотложную заботу.

Рассказ старой служанки, полный неведомых намеков, недомолвок и тайн, разбудил, всколыхнул душу юной ханши, точно шквальный степной ветер; бодростью и силой налилось ее маленькое упругое тело.

Вкрадчивая речь об интригах, злословии во дворце Старшей Ханши, об ее повадках и замыслах точно разорвала веревки равнодушия и безразличия, сковавшие молодую женщину. Казалось, все ее мысли и желания, увядавшие в безнадежном тупике, вырвались, хлынули неожиданно на вольный простор...

Оставшись наедине с собой, она попыталась обдумать, осмыслить спокойно и трезво все, о чем ей так прозрачно намекала старуха. Старшая Ханша, находясь за тридевять земель, умудрилась-таки больно поранить ее невинное сердце и разбудить в нем недобрые помыслы. Видно, своенравная Старшая Жена вообразила себе, будто Младшая Ханша — всего-навсего бессильный, безвольный ребенок, хотя и возлежит на ложе Повелителя в пышном дворце.

И, несмотря на свою юность и неопытность, Младшая Ханша поняла, вернее, почувствовала каким-то прозорливым, сугубо женским чутьем, что утешить отравленную душу можно, лишь ответив болью на боль, мстью на мсть. По юному чистому личику ее пробежала холодная тень. В глубине черных, как смородина, влажных зрачков блеснул жестокий лучик, похожий на искорку на острие обнаженного кинжала. Неведомая ярость взбодрила тело. Движения стали уверенными, походка — упругой, стремительной.

Зоркая свита мгновенно заметила перемены, происшедшие в ханше. Все ходили радостные, оживленные, хотя никто и не осмеливался выразить свой восторг с прежней непосредственностью.

Ханша распорядилась доставить ей во дворец немедленно все драгоценности, меха и материи, которые она еще вчера отвергала.

Она придирчиво осмотрела товар, выбрала себе что по душе, растолковала, старой служанке из чего, что и как необходимо ей сшить. Старуха охотно внимала ее распоряжениям и даже подбадривала осторожными и дельными советами. Ханша при этом не удивлялась, как прежде, не застывала, как наивная девчонка, с разинутым ртом, и не соглашалась поспешно, а слушала с важным видом, выражала сомнение, задумывалась и лишь потом великодушно кивала головой.

Дошла старуха в душе ликовала, убежденная, что юная ханша отныне познала упоительный вкус власти. Она увивалась вокруг своей воспитанницы, всячески угождала ей, суежилась, легко управляя своим рыхлым, грузным телом. Она усердно докладывала ханше о богатстве ее личной казны, о том, чего следовало бы раздобыть еще, из каких краев и стран.

Ханша незамедлительно отправила ее к главному визирю, поручив достать все необходимое, все редчайшее из ханской казны.

Главный визирь не очень приветливо встретил старую служанку и толком ничего ей не ответил. Ханша возмутилась и тотчас отправила нарочного с поручением немедленно вызвать визиря к себе. Тот, почуяв неладное, поспешно прибыл во дворец Младшей Ханши, еще с порога согнулся в угодливом поклоне и доложил, что просьба прекрасной повелительницы будет непременно удовлетворена, что он уже распорядился доставить из вelayетов все желанные драгоценности, материи, духи и благовонные мази и даже уже отправил в путь верных людей.

Видя, как главный визирь, уважаемый самим Повелителем, склонил перед юной ханшей свою достойную голову, старая служанка удовлетворенно хмыкнула, словно эти почести предназначались ей.

Во дворце Старшей Ханши поднялся невообразимый переполох, когда докатилась весть о том, что юная соперница пригласила лучших портных и шьет для себя диковинные наряды.

С нетерпеливой жадностью принялась Младшая Ханша за новое и приятное дело. Слухи об этом, обрастая подробностями, дошли вскоре и до Старшей Жены, находившейся при Повелителе в далеком походе. И оттуда, из той неведомой дали, доходили до Младшей Жены слова Старшей, полные яда и ревности. Юная ханша торжествовала, узнав о том, как беснуется старшая соперница, и рана в сердце, нанесенная злыми сплетнями, понемногу затягивалась. Она впервые испытывала ни с чем не сравнимую сладость утоленной мести и с неиссякаемой женской изворотливостью придумывала все новые, еще более изощренные способы отмщения.

Торжественные прогулки в сопровождении свиты вновь участились. Едва припекало солнце, как ханша спешила к пруду, подолгу купалась и затевала веселые игры в воде. Каждый день, спозаранок, слуги складывали на берегу пруда под легкими, разноцветными тентами кучи румяных, только что снятых яблок. И в полдень, когда яблоки источали вязкий, густой аромат, юная ханша отправлялась со своими девушками к хаузу.

Резвясь в прохладной воде, по которой плавали краснобокие яблоки, ханша испытывала сладостную истому от соприкосновения упругих, жадных до ласки волн к изнеженному, напоенному дурманом назойливых желаний и беззаботной юности зрелому женскому телу. Здесь, в голубой воде хауза, она предавалась бездумной, пьянящей свободе молодой плоти, ее уже не тяготили ни показная спесь величественной ханши, ни необходимость подчеркивать исключительность своего положения, ни пышные, постылые одежды, увешанные тяжелыми драгоценностями, и ей хотелось, чтобы это ощущение свободы и влекущей жажды загадочных желаний длилось долго-долго, и она не спешила выходить из воды.

Потом, приятно утомленная, с тревожным волнением в крови, она ложилась на мягкую подстилку под легким шатром на берегу хауза. В вязкий аромат ханского сада вливались сладкие запахи духов и нежных

мазей: молодые служанки принимались растирать смугло-розовое тело ханши. Но легкое прикосновение их пальцев вызывает лишь щекотку, а разгоряченная плоть жаждет более грубых, сильных ощущений. Опытные женщины знают, по каким ласкам тоскует тело юной ханши. Они не жалеют силу своих рук, их пальцы как бы невзначай, мимолетно касаются потайных мест, и ханша вздрагивает, вытягивается, замирает от удовольствия и нестерпимого желания. Руки служанок проворно мелькают над ней, искусно втирают в нежную, гладкую кожу заморские благовония. У ханши кружится голова, мутнеют зрачки, тяжелеют веки и чуть вздрагивают длинные ресницы, тело млеет от мучительной истомы, пальцы судорожно сжимаются. Медовая услада окутывает ее. И чудится ей, что нежится она в саду эдема и девушки из ее свиты — истинные гурии.

Ну, конечно, разве можно на грешной земле испытать столько счастья, столько наслаждений сразу? И уму непостижимо, даже просто нелепым кажется, что ее всесильному супругу нужно затевать какие-то опасные походы и месяцами, а то и годами пропадать где-то за тридевять земель, когда здесь, рядом, под боком находится сказочный рай. Живи, радуйся и наслаждайся.

Но тут она спохватывается, вспомнив, что сомневаться в праведности и разумности всех деяний и замыслов великого властелина — кощунство, непростительный грех, и поспешно пресекает преступную мысль, против ее воли вырвавшуюся на простор. В такие мгновения все свои сомнения и подозрения, словно гончую собаку, настигающую верткую добычу, она переключает, обрушивает на ненавистную соперницу — Старшую Ханшу, обвиняя ее во всех смертных грехах. Несчастливая! Уж чего-то она потащилась-поплелась за Повелителем в дальние страны?! Сидела бы уж дома...

...Язвительная мысль о сопернице доставляет юной ханше такое радостное облегчение, точно мгновенное удовлетворение самого жгучего, самого нетерпеливого желания, вызванного крепким, однообразным растиранием бедер и поясницы. Ей вдруг чудится, что не раскаленное полуденное солнце смотрит на нее с вышины, а глаз подлой соперницы, от злобы и ненависти наполненный кровью. Ну, ну, смотри, смотри, тварь ползучая, любуйся тем, чего у тебя нет, пусть гложет тебя зависть, пусть изводит тебя ревность, ну, смотри, смотри же!.. Ханша проворно переворачивается на спину, подставляет

женщинам острые, упругие груди с коричневыми набрякшими сосками. Разве старая ее соперница обладает такой красотой? Разве есть у нее такое молодое, чистое, полное соблазна тело? Как бы не так! Потому она и завидует ее молодости. Потому она и ревнует так дико Повелителя к ней. И проклинает ее таинственное очарование, вырвавшее златоголового властелина из ее постылых объятий. Проклинает свою судьбу за то, что та обрекла ее на одиночество у потухающего очага. И, должно быть, в полном отчаянии, однако еще надеясь добиться благосклонности Повелителя, она на старости лет послушной собакой поплелась за ним в поход. На что только рассчитывает, несчастная? На что она пригодна? Чем она сможет угодить Повелителю? Нет уж... не видать ей отныне властелина... Ради чего он станет навещать ее? Ради домашнего очага, вокруг которого увивается его многочисленное потомство?.. А вот к ней, юной, прелестной ханше, он заедет в первую же ночь после долгого, изнурительного похода, придет как к желанному пристанищу, как к приюту любви и ласки, для отдохновения души и тела. Да, да... именно так... в этом нет у нее никакого сомнения... Но, будучи великим Повелителем, может ли он позволить себе такую роскошь — днем и ночью пребывать со своей возлюбленной, точно пылкий юноша? Конечно, нет. Стоит ему, грозному властелину, от одного имени которого трепещут все четыре стороны света, оставить своих подвластных на два-три года в покое, как презренная челядь с тайным злорадством начнет шушукаться о безволии хана, о том, что он изнежился и обленился подле своей жаркотелой бабы... От одной этой догадки у юной ханши больно сжималось сердце. О нет! Она, богом данная супруга великого властелина, не позволит, чтобы вонючеустая толпа трепала его славное имя. Ей в это мгновение стало совершенно очевидным, что недавняя мимолетная мысль о бессмысленности и бесплодности опасных и продолжительных ханских походов — женская слабость, непростительное кощунство. Нет, она отныне не осмелится упрекнуть властелина за его походы. Более того, и потом, когда он вернется домой, она не станет силком удерживать его возле себя на том лишь основании, что имеет счастье быть его избранницей. Ведь весь этот люд, окружающий их, не спускает глаз с великого властелина и его юной жены. Каждое слово, каждый жест, даже малейший намек — все-все на виду. И потому вполне уместно, если

Повелитель время от времени посетит свою Старшую Жену, заслуга которой хотя бы в том, что она наградила его детьми, а те в свой черед внуками. К тому же, надо полагать, привлекает его отнюдь не стареющая жена, а долг отца, деда и свекра, высокий долг проявлять заботу и выражать высшую волю и мудрость в непростых семейных отношениях. Ради этого, должно быть, он забрал с собой в поход и Старшую Жену. Ради этого наверняка изредка советуется с ней. И она, юная ханша, прекрасно понимает, что все это показное, что делается все это для посторонних глаз и легковерной молвы. Что она, Старшая Жена, подозрительная, ревнивая баба, может посоветовать мудрецу властелину? Больно нуждается он в ее советах! Разве найдет он здравомыслие в ее иссохшем от ревности и зависти дряхлом сердце?! Уму непостижимо, о чем они, оставшись наедине, могут беседовать...

Мысли юной ханши оборвались, спутались. Сладкая истома, охватившая ее молодое, трепетное тело, точно истаивала, улетучивалась, и ей хотелось открыть глаза, оторвать голову от подушки, однако тут же опомнилась, спохватилась, боясь выказать свое смятение перед служанками, усердно растиравшими ее тело, и она, еще крепче зажмурив глаза, старалась поймать и связать нити оборвавшихся мыслей.

Да, да... на что еще способны пожилые супруги, кроме длинных и нудных разговоров? И, видимо, Старшая Жена умеет искусно поддерживать беседу. Должно быть, при виде властелина не теряется, не лишается дара речи, точно неопытная девчонка или как она, молодая, неискушенная жена.

Тогда, перед выступлением Повелителя в поход, она с нежной кокетливостью пыталась поведать ему свою печаль и тоску предстоящего одиночества — не поведала, не смогла. Наутро, в минуту прощания, пыталась прильнуть к нему, обнять, высказать ему свою верность и преданность, достойную юной ханши, — не осмелилась, не решилась. Застыла у порога, робко взглядывая на выходявшего из ее опочивальни властелина. Должно быть, он почувствовал на себе ее взгляд: на полпути он круто остановился, пристально посмотрел на нее и, казалось, устремился к ней, хотел что-то сказать, однако покосился вбок, и сторону, чуть нахмурился и пошел дальше.

Юная ханша перехватила его взгляд, тоже покосилась вбок и увидела чинный ряд евнухов, склонившихся в подобострастном

поклоне. Только теперь она поняла, вернее, женским чутьем своим почувствовала всю нелепость, бестактность своего растерянного вида и, смутившись вконец, быстро закрыла дверь. Однако в мимолетном взгляде властелина, полном сочувствия, нежности и необыкновенной доброты, она уловила то, чего — как ей почудилось в этот миг — не увидела в его обычно холодных, суровых глазах еще ни одна женщина. Может, это и было любовью... Радостное, счастливое чувство точно опалило ее сознание. Ну, конечно, такой сочувствующий, проникновенно-нежный взгляд может исходить только от любящего сердца. Значит... значит, Повелитель любит ее...

Щеки ханши зардели, запылали. Дыхание ее прервалось, она точно окунулась на мгновение в таинственное озеро наслаждения, точно захлебнулась от неги и истомы.

«А что потом... потом... потом? — лихорадочно стучала мысль. — Потом, когда пройдет, исчезнет куда-то невысказанная нежность? Потом, когда потухнет страсть в глазах? Какое же чувство придет на смену ослепительному счастью любви? Неужели возникнет в душе пустошь, похожая на вытоптанную, вытравленную, заброшенную стоянку бывшего кочевья?» Эта догадка показалась ей верной и справедливой, однако сознание отчего-то сопротивлялось ей, упрямое сомнение смущало желанную благодать души и невольно навевало противоречивые думы.

Если былому страстному чувству между стареющими супругами суждено увядать, почему они все-таки до самой смерти не в силах расстаться? Или, быть может, их преследует просто страх перед закатом жизни и одиночеством старости?

Однако подобный страх испытывают, скорее всего, лишь заурядные смертные, чья власть и влияние не распространяются далее скудного семейного очага. Но великому Повелителю, подчинившему своей воле половину вселенной и до последнего часа окруженному вниманием, заботой, любовью преданных ему народа, войска, единокровных родичей и возлюбленной, такой низменный страх, конечно же, неведом. Значит, его влечет к Старшей Жене какое-то иное чувство. Какое?..

Да-а... в душе стареющих супругов, должно быть, остается нетленный след былой искренней, горячей любви. Может, этот след — горсть стынувшей золы — называется привязанностью или уважением?

И, возможно, окончательно остынет и превратится в пепел эта горсть золы лишь тогда, когда сам человек обернется тленом?

Она вся вспыхнула, обрадовавшись тому, что так легко нашла ответ на давно уже мучивший ее вопрос. Но радость тут же погасла, ледяной холод опалил грудь.

Выходит, между Повелителем и Старшей Женой не все еще кончено. Остались душевная расположенность, взаимная привязанность. Сердце ее больно кольнуло. Тело, разомлевшее под мягкими, упругими пальцами служанок, мгновенно обмякло, обвяло. Казалось, если она сейчас же, немедля, не встанет, чужие, безжалостные пальцы, точно когти хищника, разорвут ее онемевшее тело в клочья. Юная ханша вскочила. Тонкое шелковое платье обожгло ее холодом, словно впивалось невидимыми колючками. Она еле дождалась, пока служанки расчесали ей волосы и заплели косы. Она спешила уйти отсюда, от этого места, где только что предавалась блаженной истоме.

И опять обрушилось на нее уныние. Она вдруг ясно осознала свое одиночество, впервые так остро, обнаженно ощутила свое бессилие, свою немощь перед уверенной и могущественной Старшей Женой Повелителя, успевшей пустить надежные корни своими детьми и внуками. Боль и зависть, ревность и тоска, точно пламя, обожгли ее юное существо. Пусть, пусть, твердила она себе с отчаянием и злорадством, пусть сильнее разгорится это пламя и дотла выжжет всю ее душу, тогда, может, избавится она от невыносимых мук и обретет, наконец, желанный покой. И уже чудилось ей, что вот-вот мольба ее дойдет до всевышнего и случится это страшное и непоправимое.

Она старалась ни о чем не думать. Но беспорядочный рой мыслей помимо ее воли, словно назойливые мухи, мельтешил перед ее глазами, и она, с тщетным усилием подавляя в себе тошнотворную слабость и отвращение, отбивалась от него, крепко-накрепко зажмуривала глаза. Мысли дробились, дробились, точно наваждение, преследовали ее, сводили с ума, окутывали ее плотной завесой докучливой, прожорливой мошки. Противная дрожь, как в лихорадке, охватила юную ханшу. Она все усиливалась, дрожь трясла, колотила ее знобко, и уже невозможно было с ней сладить. Ханша испугалась, в ужасе широко раскрыла глаза. «Боже! Не заболела ли я? Не схожу ли и впрямь с ума?!»

Уже плохо помня себя, она кинулась в угол к зеркалу, и едва увидев себя в нем, удивилась. Ничего страшного с ней не случилось. И никакая кара ей не угрожала. Все в ней оставалось прежним. Может, только слабо, второпях заплетенные косы чуть распушились. Но это, наоборот, придавало ее лицу свежесть, приятную новизну. Шея, грудь, щеки блестели от благовонной мази, которую щедро втирали в ее кожу служанки. На щеках горел румянец, должно быть, от волнения, от постоянной борьбы сомнений и надежды, а вот гладкий, высокий лоб был бледен. Небольшой точеный носик с чуткими, трепетными ноздрями брезгливо морщился, будто неприятен ему был блеск алых щек. Робкий, задумчивый взгляд влажных глаз под манерно насурьмленными бровями подчеркивал выражение печали и подавленности на юном лице.

Ханша долго и пристально всматривалась в зеркальное отражение, словно не веря, что несчастная, удрученная горем девчонка — она сама. Поразительно, что с таким видом она еще безбоязненно живет на этом свете. Глядя на нее, разве мыслимо испытывать хотя бы подобие любви, или уважение, или, на худой конец, простое любопытство? Нет, конечно! Она может вызвать только жалость, сострадание, долгий сочувствующий вздох: «Ах, бедняжка, сиротинушка!..» И напрасно она вообразила, что искорки в глазах великого Повелителя — выражение мужской любви к ней. Какое там! Самая заурядная жалость к слабому существу. Просто удивительно, что этот чахлый, убогий цветок до сих пор не затоптан своенравной львицей — Старшей Женой...

Разве такой беспомощный, жалкий цыпленок, как она, в состоянии, взволновать закаленное в кровавых походах сердце сурового Повелителя?! Просто любимая жена, состарившись, уже бессильна удовлетворить его мужскую потребность, и он взял себе в жены юную ханшу, как говорят, для обновления запаха ложа. А она, глупая, неопытная, приняла обыкновенную жалость, сочувствие пожилого человека за необыкновенную любовь. Нет, нет, о том не думай и не мечтай, смирись со своей судьбой, довольствуйся тем, что тебя взяли как юную, чистую, смазливую самку, да, да, самку, и благодари всевышнего за то, что тебе принадлежат, один из ханских дворцов и редкие, считанные ночи близости с великим Повелителем.

Не тебе, дорогая, соперничать со Старшей Ханшей, ибо ей, ей одной безраздельно принадлежат и уважение, и привязанность, и подлинная любовь властелина половины вселенной. И не надейся, что и тебе уготована подобная судьба...

С таким несчастным, горемычным видом разве в состоянии ты, как Старшая Ханша, привлечь к себе внимание равнодушного ко всем сплетням и слухам Повелителя здравомыслием и задушевными беседами? Разве аллах наградил тебя таким щедрым даром, чтобы Повелитель нуждался в твоём уме и мудрости, твоей близости в далеких и опасных походах?

Тягостные думы, точно нудный осенний дождь, все усугубляли тоску, и юная ханша не находила в себе силы противостоять ей.

Она почувствовала за спиной чье-то дыхание. Обернулась испуганно: неужели кто-то посторонний застиг ее в таком растрепанном виде... Старая служанка держала и протянутых руках коричневую шкатулку. Заметила ужас в расширенных зрачках своей подопечной и улыбнулась жутковатой своей улыбкой, раздвигая сетку морщин и редкие жесткие щетинки возле дряблых губ.

Вот это принес сейчас старший визирь. Подарок, Говорит, от великого Повелителя...

Еще во власти недавних назойливых дум, ханша с недоумением уставилась на старуху, соображая, что ей сказать и как поступить.

Старуха осторожно опустила шкатулку на постель. Потом схватила растерявшуюся ханшу за руку и подвела ее к ней точно малое дитя. Открыть шкатулку старая служанка, однако, не решилась. Достала откуда-то из глубин длинных рукавов крохотный блестящий ключик и сунула его в холодную ладошку ханши.

От волнения ханша никак не могла попасть в отверстие. Тогда старуха сама открыла шкатулку и, открыв ее, смутилась, заколебалась: то ли глядеть ей на ханшу, то ли на содержимое шкатулки.

В глазах ханши зарябило. Она даже не посмела прикоснуться тому, что открылось ее взору, от восторга затаив дыхание. Переливавшийся всеми цветами радуги бриллиант, матово-загадочно поблескивающие кораллы, ослепительный жемчуг, диковинные алмазы, благородно холодный яхонт, прозрачный, как осеннее небо, сапфир, текущий чистый, как капля родниковой воды, изумруд, багрово-красный, как стынувшая кровь на снегу, рубин, сдержанно-

ровная, нежно-серая яшма и многие-многие другие драгоценности, даже названий которых она не знала, покоились в продолговатой ореховой шкатулке. А поверх всего этого великолепия скромно лежал маленький белый цветок, точно лилия на глади роскошного пруда.

Ханша схватила нежный цветочек, еще не потерявший ни свежести, ни аромата, и порывисто прижала его к груди. Железный обруч, холодом сковавший ее душу, мгновенно лопнул, и слезы, с утра застывшие в ее глазах, вдруг полились, хлынули, точно благодатный весенний дождь. Сердце, отяжелевшее от обиды и тоски, вдруг обрело прежнюю неощутимую легкость.

Ханша сейчас уже не замечала старой служанки, и не стыдилась своих слез, и не испытывала никакой неловкости, оглушенная неожиданным счастьем. Она чувствовала, как жуткий страх, облепивший ее, точно ненасытные пиявки, медленно покидал ее, удалялся, крадучись по-кошачьи. Всевышний и великий Повелитель вовремя почувствовали ее безысходную тоску и бездонную муку, терзавшие ее неокрепшую душу. Сомнения и подозрения, уязвленное самолюбие и обида, одиночество и необоримое желание — все они услышали, обо всем догадались. Вспомнил Повелитель о ней и за тридевять земель прислал гонца, чтобы утешить юную ханшу.

Ханша поднесла цветок к губам и расцеловала каждый лепесток.

Старшая служанка догадывалась без слов, что творилось сейчас в душе ханши, и тихо вышла.

Ханша прилегла на постель. Точно ребенок, любующийся новыми игрушками, перебирала она драгоценности, раскладывала на груди, улыбаясь диковинному блеску белых, красных, голубых, зеленых, черных камней, переливавшихся разноцветными каплями сказочного дождя.

Недавняя печаль в груди ханши развеялась, как тучи после ливня. Светлое, неведомое чувство, как тихая гладь озера, охватило ее. О, она бы сейчас высказала, выплеснула из самой глубины сердца всю свою горячую благодарность щедрому супругу, но он ведь не услышит.

Будь он рядом, забыла бы про робость и женскую стыдливость, отдалась бы ему без ума, без оглядки, вся, вся, подставила бы распаленные жаждой любви белые тугие груди, прижала бы страстно его к своему знойному телу, истомленному, измученному, как степь

после долгой засухи. Только не осуществиться ее желаниям в этом безмолвном, огромном и унылом зале...

Излить бы свою душу в письме — стыдно. Доверить свою тайну гонцу — невозможно. Так как же она выразит, как передаст идущую от чистого сердца признательность, любовь и безмерную благодарность великому Повелителю, благодетелю, возлюбленному супругу? Когда еще вернется он из похода и переступит порог этого дворца? И кто знает, когда еще наступит тот желанный лень, позволяющий ей на пышном супружеском ложе доказать всю нежность и страсть, томящие ее юное тело? Как она сбережет свое неумное чувство к нему? Чем утолить ей неизбывную жажду любви, от которой кровь вскипает в жилах? Как, каким образом она известит ненавистную кичливую Старшую Ханшу, бесчисленных дворцовых слуг, вскормленных сплетней и интригами, самого Повелителя и весь этот необъятный мир о своей готовности в любой миг принести себя в жертву ради владыки вселенной, единственного и желанного? Об этом должны непременно все узнать сегодня, самое позднее — завтра, иначе сердце ее разорвется от счастья, не вынесет бурной радости. Как ей прожить столько долгих, изнурительных дней в тоскливом ожидании пока вернется из похода Повелитель? Как ей прожить столько бесконечно длинных ночей в неутоленном желании, в не утихающем, сжигающей страсти? Как она уймёт волнение, охватившее ее пылкую душу? Ведь отныне низменная цель досаждать Старшей Ханше, всевозможными уловками отравлять ей жизнь не может ей служить единственным решением. Большое, искреннее чувство должно выразиться в благородном поступке.

Она сейчас же, немедля, собралась бы в путь и отправилась бы хоть в какую даль вслед за Повелителем.

Но такой поступок наверняка уронил бы честь властелина и вызвал бы обильные сплетни среди праздной толпы.

Разложив все драгоценности на постели, ханша прилегла с краю и предалась мечтам. Чем она оплатит за столь щедрое внимание возлюбленного? Чем она обрадует его завтра, когда он, усталый, возвратится из дальних стран? Какая жалость, что слишком коротка была их супружеская жизнь, что не успела в досталь утешить жаркую плоть! Хоть бы понесла она от Повелителя до отправления его в поход. Тогда бы она не ломала голову, гадая, чем ответить на его доброту.

Прислушиваясь к каждому толчку созревающего в материнском лоне плода, она испытывала бы пьянящее блаженство и, конечно же, не ведала бы ни изматывающих дум, ни неизбежной тоски.

Тогда у нее был бы повод ежедневно писать супругу. К его приезду она благополучно разродилась бы сыном и вышла бы навстречу Повелителю с крохотной плетеной люлькой в руках, и тогда она безраздельно и навсегда завладела бы благосклонностью его и тем самым лишила бы соперницу, Старшую Ханшу, ее единственного преимущества перед нею. Но увы! Всевышний не проявил этой милости, не дано было осуществиться этой красивой мечте, и, подумав об этом, ханша опять на мгновение растерялась.

Да, да, нечего ей предаваться грезам. За доброту и внимание Повелителя она может воздать только верной и искренней любовью. Больше ей нечем платить.

Значит, она должна придумать нечто такое, что доказало бы ее великую любовь и преданность не только Повелителю, но и всем живущим на земле. Она должна построить памятник, величественный и прекрасный, который поведал бы возвращающемуся из похода Повелителю о ее любви, душевной тоске, нежности и верности.

Она не станет дрожать над этими драгоценностями, как Старшая Жена, не присвоит их себе. Она построит на них небывалый памятник — башню любви, от которой не сможет оторвать взор сам Повелитель. Ее башня будет возвышаться над всеми минаретами города. И люди должны любоваться ею, восхищаться силой любви, верности и умом юной ханши.

В ту ночь она впервые за долгое время спала спокойно.

Наутро она отправила порученца за старшим визирем. Тот, выкатив большие, как плошки, смоляные глаза, выслушал ханшу с почтением и долго молчал. Неясно было, то ли удивлялся он намерению ханши, то ли одобрял про себя ее благородный порыв. Когда ханша, закончив свой сбивчивый рассказ, умолкла, старший визирь приложил белые холеные руки с длинными растопыренными пальцами к груди и низко поклонился.

«Будет сделано, высокородная ханша!»

Через две недели пришел главный зодчий и доложил, что новый минарет поручено строить одному из тех мастеров, которые возводили мечеть в честь Старшей Жены. Ханша восторгалась: отныне ей

нашлось дело. Каждый день она отправляла своего порученца к старшему визирю и от него узнавала все подробности новой стройки.

Особенно радовалась она тому, что минарет решено было построить неподалеку от ее дворца.

Медленно тянулись караваны дней... Однажды, встав с постели, ханша увидела в окно из-за верхушек деревьев что-то красно-бурое. В недоумении подскочила она к окну и тут только догадалась, что это и есть минарет, строящийся по ее милости. Минарет воздвигали уже около года. Кто-то маленький, едва заметный, будто мураш, копошился на вершине крутых стен. Минарет уже поднялся над оградой ханского дворца и сровнялся с самыми высокими деревьями в саду.

С того дня кирпичная громада за окном неотступно преследовала ее. Каждое утро ханша с нетерпением подбегала к окну и мысленно прикидывала, на сколько выросли стены минарета. Ей казалось, что стройка идет слишком медленно. Еще недавно она ликовала: мечта ее становилась явью, в столице Повелителя рождалась новая — невиданная по высоте и красоте башня, но теперь радость сменялась тревогой. Крохотный мураш на вершине минарета с утра до вечера торчит на одном и том же месте. Только много ли прока от того, что он там копошится? Эдак нескоро осуществится ее мечта. Может, и не суждено ей увидеть своей башни во всей ее величественной красе. Будет, как вечный укор, маячить перед глазами людей эта шершавая невзрачная каменная глыба, точно грязное пятно на прозрачной небесной сини. Ханше захотелось вблизи увидеть строящийся минарет, подняться на его вершину, встретиться с нерасторопным, нерадивым мастером, что как назло застыл на одном месте, и — если надо будет — уговорить, умолить его ради всего святого быстрее закончить башню.

Ханша долго колебалась, кому и как, поведать о своем желании. Она осторожно, намеком, поговорила со старой служанкой, и та, всегда готовая услужить любимице, на этот раз отчего-то смешалась, посоветовала не торопиться, подождать, послать сначала слуг, чтобы они все подробное выяснили. Так и сделали. Не один раз отправляли к мастеру верных людей. И ответ был один и тот же: "Стройка идет, как задумано. В день укладываются сотни и сотни кирпичей. Уже сейчас минарет выше всех строений в городе. На такую высоту и кирпичи

поднимать непросто. Подгонять мастера невозможно. Он и без того измучен".

Но все эти речи казались ханше простой отговоркой, желанием утешить ее, как несмышленное дитя. Нет, она должна сама, собственными глазами осмотреть башню. Иначе она не найдет себе успокоения.

И однажды, решительно отмахнувшись от всех опасений старой служанки, она отправила порученца к старшему визирю: ей, Младшей Ханше, угодно самолично осмотреть минарет. В назначенный день в сопровождении старшего визиря, главного зодчего и большой свиты она отправилась к строящейся башне.

Едва торжественный и нарядный кортеж выехал из ворот ханского сада, ханша увидела минарет во всем его величии. Обычно лишь краешек стены выглядывал из-за верхушек пирамидальных тополей, а здесь, на просторе, при стремительном приближении мягко катящейся повозки башня выростала на глазах, словно горделиво ввинчивалась в голубизну неба. А когда кортеж остановился у ее подножия и ханша со своей свитой вышла из крытой повозки, громадина из темно-коричневого кирпича, казалось, скрыла от восхищенного взора половину вселенной. Ханшу обуял восторг, по жилам прокатилась легкая радостная дрожь. Ей казалось, что, если бы девушки из свиты не удерживали ее под руки с двух сторон, она могла бы, словно пушинка, взлететь до самой верхушки минарета. Она вдруг решительно направилась к башне. Рабы, работники, дворцовые слуги, свита учтиво расступились перед ней и согнулись в покорном поклоне. Она никого не замечала, никого не удостоила взглядом. За ханшей, стараясь не отстать, ринулись главный зодчий, старая служанка и еще человек пять из свиты. По крутым каменным ступенькам быстро поднялась наверх. Сердце колотилось все громче, в груди горело. Сзади слышалось надсадное дыхание девушки из свиты. Остальные, должно быть, отстали. В узкой, тесной башне становилось все темней, все мрачней, пламя светильника в руках девушки-служанки отбрасывало зыбкий отсвет. Внутренние стены были сплошь в густой, жирной саже от лучинок, скудным светом которых пользовались рабы носильщики, доставлявшие наверх кирпичи. Ханша, подхватив длинный подол, упорно поднималась вверх по крутым ступенькам. Мрак уже заметно рассеивался, а еще через мгновение ослепительно

засияло над головой, полуденное солнце. Ханша достигла вершины башни. Девушка-служанка, державшая светильник, остановилась на несколько ступенек ниже.

То ли от непривычной высоты, то ли от неожиданно яркого света, обдавшего ее со всех сторон, ханша почувствовала слабость и головокружение. Однако она пересилила себя, подавила тошноту и быстро оглянулась. Огромный город, беспорядочно раскинувшись, лежал далеко внизу. Непрístupно-горделивые минареты, пышные мечети и дворцы отсюда, с высоты, казались невзрачными и неказистыми, словно игрушки в руках ребенка.

От радости вновь всколыхнулось сердце ханши. Выходит, напрасно она волновалась и тревожилась. Из этой башни, ее башни, и впрямь получится диво. Уже сейчас она овладела половиной небесной шири над столичным городом. Любуясь необъятным простором, открывавшимся с вышины минарета, ханша на мгновение скользнула взглядам вдоль кладки и едва заметила у самой стены фигуру мастера. Он был весь с головы до ног измазан глиной и, должно быть, стеснялся своего вида, потому что, как испуганный мальчишка, застыл на месте. И было странным, что юноша-мастер, своими руками сотворивший эту громадину, забился в угол, словно со страху онемевший зайчишка; у ханши — то ли от неожиданной женской жалости к его несчастному виду, то ли от любопытства и удивления — невольно чуть дрогнули губы. И хотя здесь, на вершине минарета, кроме них двоих, не было ни одной живой души и никто во всем мире их сейчас не видел, она смутилась и с усилием потушила непрошеную ласковую улыбку. Чутье подсказывало ей, что дальше задерживаться здесь, рядом с незнакомым юношей, неприлично, и она, подхватив пальчиками подол, нехотя направилась вниз по ступенькам, где со светильником в руке поджидала ее девушка-служанка.

У самого спуска она еще раз обернулась и отчетливо разглядела мастера: он был совсем еще юн, строен и худощав, смуглолиц, большие печальные глаза таинственно лучились...

Ханша осторожно, чтобы не оступиться, пошла вниз. Каждый ее шаг эхом отзывался в узкой мрачной башне...

Садясь в повозку, она еще раз покосилась на вершину минарета и сразу же нашла глазами маленькую, одинокую фигурку мастера на

краю кладки. Она вспомнила его робкий, покорный взгляд, огромные печальные глаза и тихо улыбнулась.

С того дня судьба башни уже не тревожила ее. Она вновь вернулась к своим прежним забавам, возобновила забытые прогулки по саду и купание вместе с девушками в дворцовом пруду. После купания и игр в воде усталую ханшу долго растирали услужливые девушки, втирали в ее нежную кожу благовония, и она, в истоме, не удручала себя изнурительными и бесплодными думами, как прежде, а спокойно вглядывалась в знакомые очертания изо дня в день все заметней возвышавшегося минарета. И вот однажды она не увидела крохотной фигурки мастера на краю кладки и всполошилась. Но в тот же день слуги ей доложили, что мастер закончил кладку и теперь приступает к отделке стен.

Прошло лето. Скупыми дождями отшумела осень. Осталась позади и очень короткая в этих краях сырая зима. Грубо оголенная кирпичная громада сначала оделась в леса, потом через квадратные решетки, похожие на соты в ульях, нежно заголубела лазурь.

Отныне ханша в сопровождении свиты подолгу гуляла по саду и любовалась преображающейся на глазах башней.

Сначала башня оделась в лазурь. Она словно растворялась в синеве неба. И уже казалось, будто маленькие фигурки мозаистов, копошащихся на лесах, заняты украшением не стен башни, а самого небосклона. Линии минарета незаметно сливались с безбрежной небесной синью. Юная ханша ликовала.

Каждое утро, проснувшись, она спешила к окну, предвкушая радость от причудливой игры красок, — которыми украшали башню крохотные человечки на лесах. Ханше напоминала эта башня что-то очень знакомое, близкое, но она никак не могла вспомнить что. Потом ей померещилось, будто башня похожа на красивую женскую руку, маняще вскинутую над головой. И поразило ее: как точно угадал, как зримо выразил юный мастер нетерпеливую тоску ее по желанному супругу, так долго задерживающемуся в далеком и опасном походе!

И еще ей казалось, что голубая башня похожа на нежное, невиданное растение, впитавшее в себя лучшие соки земли, взлелеянное чуткой и доброй природой и обласканное живительным весенним ветерком. И уже жалость пробуждалась в сердце к этой башне, томили сочувствие и сострадание к ней, как к живому,

беззащитному существу. Как выстоит этот хрупкий, одинокий побег потом, когда задуют свирепые бури ранней весной и в предзимье, когда обрушится на него нещадный летний зной?

Каждый день минарет удивлял своим новым обликом. То он казался невинным и робким творением, то напоминал шаловливое дитя, выказывая озорную игривость, то застывал в горделивой неприступности. Иногда он точно заглядывал в окно, навевал тоску и печаль, жаловался будто на одинокую судьбу свою, но на другой день становился замкнутым и холодным, дерзко устремлялся к самому небу.

Сколько бы ни разглядывала ханша башню, она не могла понять секрет ее многоликости, не могла постичь тайну ее неотразимой прелести. Особенно ее озадачивало, что мастер почему-то явно оттягивал завершение башни и долго копошился у зазора на самой вершине.

Ранее, бывало, ханша ежедневно свободно купалась в хаузе. Теперь она робела, стеснялась раздеваться и обнаженной входить в воду, чувствуя на себе пристальный взгляд юноши, наблюдавшего за ней через маленький зазор под куполом.

Выходя на прогулку, она останавливалась на берегу хауза и подолгу смотрела на минарет. Казалось, и башня глядела на нее, пытаясь сказать что-то сокровенное, сказать без слов, одними намеками, игрой красок, чтобы ни одна живая душа вокруг ни о чем не догадывалась.

Стоило ханше исчезнуть за стенами дворца, как башня тотчас окутывалась зыбким маревом и тихо грустила за окном. Но едва ханша показывалась в саду, башня точно пробуждалась, стряхивала с себя неведомую печаль и встречала ее сияющей улыбкой.

Минарет будто безмолвно подкрадывался к ней. Будто вплотную придвинулся к высокому дувалу вокруг дворца и сада и даже пытался перескочить через него, но никак не решался.

Это становилось наваждением. Минарет точно заморозил юную ханшу, лишил ее воли. Она смотрела на него целыми днями, словно пыталась по буквам, по слогам прочитать некое загадочное письмо, написанное ей на незнакомом наречии.

Может, башня была ее безмолвным отражением? И у нее был цветущий, нарядный вид; и все же сквозь внешнюю красоту проглядывала затаенная, непреходящая печаль. Неведомая боль,

неизбывная тоска, тщетно скрываемаемая от себя и от других, подспудно подтачивали ее; робкое желание, неумная страсть, подавляемая изо дня в день, застыли в ее обличье. Такое выражение глубокой душевной скорби вместе со страстным сердечным влечением встречается нередко в задумчивых глазах несчастных, неуверенных, замкнутых людей. Нет, эта башня вовсе не была отражением самой ханши. В минарете был выражен немой упрек. Он словно говорил ханше: «Ну, что ты?.. Неужели ты не можешь понять меня?!» И только теперь ханша заметила: да, да, точно такое же выражение, такой же мягкий укор, такую же ласковую мольбу она прочитала тогда, при мимолетной встрече, в покорных, лучистых глазах молодого мастера. Выходит, зодчий сумел вложить в свое творение свою душу, выразить в немом, бездушном камне свою затаенную мечту...

Только что это за мечта? О чем хочет поведать ей загадочная башня, так преданно и терпеливо заглядывающая в ее окно? В чем она ее упрекает? За какой проступок заслужила юная ханша ее немилость? Не может же молодой робкий мастер, который даже не осмелится поднять на нее глаза, быть в душе таким придирчивым, сварливым, жестоким. Нет, не может. Для зодчего, для подлинного мастера нет большего счастья, чем показать всем людям, всему миру свое творение, свое искусство.

Мастер, построивший удивительной красоты башню, которая с недостижимой высоты взирает на столичный город, не может быть подозреваем в недобрых помыслах.

Тогда почему он оттягивает завершение стройки? Почему на виду у всех оставил под самым куполом зияющий зазор?

Ханша приказала заложить повозку и отправилась смотреть минарет. Поразительно: по мере приближения башня теряла свой смиренный, кроткий вид и становилась неприступно холодной, заносчивой. Вблизи она и вовсе походила на кичливую, своенравную красавицу. Ханша на этот раз не стала подниматься на вершину минарета. Только поинтересовалась у главного зодчего, почему не заканчивают строительство, ведь осталась самая малость, на что тот, чуть додумав, с достоинством ответил, что, мол, мастер никак не может добиться чего-то очень важного, желанного, задуманного, что вот-вот ему, бог даст, откроется заветная тайна и тогда, в тот же день, башня будет завершена.

Возвращаясь во дворец, ханша продолжала смотреть на башню из окошка крытой повозки. И опять поразила: по мере удаления башня теряла свое заносчивый, неприступный холодный вид и становилась смиренной, кроткой, а из окна опочивальни и вовсе показалась удрученной, печальной. Ханша окончательно убедилась, что все эти загадочные превращения неспроста, что за этим кроется глубокая тайна.

Молодой зодчий, конечно, безошибочно понял и точно выразил ее чистую любовь и тоску по любимому супругу — великому Повелителю. Он сумел угадать затаенный смысл ее желания, которое побудило построить этот минарет. Потому, если смотреть издали, башня и кажется такой грустной, потому и вызывает она невольное сочувствие, жалость. Должно быть, на расстоянии дневного пути она мерещится путникам манящей рукой истосковавшейся по любимому женщины. Она, видимо, чудится выражением страстной мольбы: «Спешите же, милый... Скорее приезжай... Скорее...» Но откуда эта вызывающая гордость вблизи? Разве не возбудит это справедливый гнев у властелина? Может, и он соскучился по возлюбленной за долгую разлуку, но вряд ли его обрадует кичливость и холодная сдержанность башни, построенной в его честь. И почему она грустит, скорбит, когда смотришь на нее из дворца? Ведь она, казалось бы, должна выражать ликующую радость, счастье юной ханши, обретшей свою любовь после стольких лет изнурительного одиночества.

Разве возможно, чтобы молодой даровитый зодчий, неспособный разве что источить слезу из камня, не понял этого? Значит, он сознательно наделил башню такой странной двойственностью. А что, если его подспудное желание, его глубоко упрятанную тайну увидит, разгадает, почувствует праздная, болтливая толпа, а не она, юная ханша.

Ханша не на шутку встревожилась. Посоветовавшись со старой служанкой, решила отправить на базар своих людей, чтобы они послушали и донесли, что говорят горожане капе и приезжие о новой башне. Однако ничего любопытного тайные соглядатаи не сообщили. Оказалось, что базарный люд ничего предосудительного или крамольного в новом минарете не усмотрел, что все только восхищенный благородным поступком юной жены Повелителя, решившей в честь своего далекого возлюбленного воздвигнуть

невиданную доселе башню, и божественным даром неизвестного молодого зодчего.

Хотя ханша несколько и успокоилась после этих донесений, однако странная тревога, недовольство собой ее не покидали.

А ведь и впрямь нет никаких оснований для волнения. Глядя на башню, народ может воочию убедиться в искренности ее чувства к далекому супругу. И сам великий Повелитель, возвращаясь из похода, уже издалека увидит ее неумную тоску по нему, а подъезжая к башне, может по одному ее горделивому, надменному виду догадаться, что его молодая жена осталась ему верна и на всем белом свете, кроме него, властелина, ни о ком не помышляла.

Выходит, молодой зодчий чутко проник в самую ее душу, понял ее без слов и сумел выразить в камне и красках все ее порывы и чаяния. Значит, и великий Повелитель не найдет в построенной, по ее воле башне ни единого изъяна. О, всемогущий! Так пусть же наступит скорее тот желанный день — день встречи, день счастья! Она встрепенулась бы, как сказочная птичка в райском саду, вспорхнула бы в предвкушении мига наслаждений, светом радости озарила бы высокую душу своего изнуренного походом супруга. И тогда... тогда и Старшая Ханша, извечная соперница ее, оказалась бы посрамленной, униженной и ничего бы ей не оставалось, как корчиться от жгучей, испепеляющей ревности. Можно себе представить, как распирают ее гордость и чванство от того, что столько лет неразлучно сопровождала в походах Повелителя, деля с ним тяготы, славу и ложе, увидела столько диковинных стран и что следуют за нею караваны слонов и верблюдов, груженные несметным богатством. Но нетрудно себе представить также, как ликующая ее душа вмиг погаснет, сорвется с вышины, точно подстреленная, когда она неожиданно увидит перед собой дивную башню, подпирающую небосвод. И сам великий Повелитель в этот миг невольно убедится в том, что его Старшая Жена, с которой он прожил столько лет и которую он всячески ублажает и возвеличивает, еще ни разу не додумывалась до того, чтобы с таким же почетом и торжеством встретить возвращающегося из похода мужа и таким образом восславить победоносный дух его, что она, не смотря на всю свою высокородность, только и способна копить добро, трястись над своими драгоценностями и кичиться тем, что в

молодые годы удосужилась, как плодовитая, вислобрюхая сука, нарожать ему детей.

Властелин, видящий каждого человека насквозь, без слов поймет, что юная ханша не только искренна, чиста и верна в своей любви, но еще и умна, мудра и способна своей душевной зоркостью удивлять людей. Она не станет высокомерно задирать голову, дескать, гляди, великий из великих, любуйся и оцени, какой подарок я тебе подготовила, а встретит его скромно и смиренно, как и прежде. И страсть свою, тоску и желание, накопившиеся за столько лет одиночества и переполнившие теперь ее утомленную душу, она не обрушит на возлюбленного сразу, точно неукротимый потоп, а будет сдержанной в ласке и любви, робкой и стыдливой. Неумелой и трогательной, как в ту первую брачную их ночь. Но даже при этой сдержанности она сумеет без назойливости подчеркнуть, что нет для нее более великого счастья, чем быть вместе с всемогущим владыкой, разделять с ним ложе и, щедро отдавая себя, исполнить свой извечный женский долг.

Лишь бы настал скорее тот день... О, каждый уголок этого огромного унылого дворца наполнился бы радостью и ликованием...

Благодаря голубому минарету скоро должна осуществиться ее взлелеянная мечта. И ханша готова расцеловать каждый палец чудодея-мастера, воплотившего ее мечту. Только бы быстрее завершил он свое творение. Только бы скорее заделал он тот зазор под куполом, раздражающий, как бельмо в глазу. И чего он мешкает, чего он там, на самой вершине, застрял вдруг безнадежно? И почему, когда смотришь из дворца, минарет кажется таким хмурым и подавленным, будто обидел его кто-то? Разве этого его облик не насторожит Повелителя? Может, он, Повелитель, мгновенно разгадает недоступную ей загадку? Поймет какой-то неведомый ей намек? Ну, конечно, он, владыка, подчинивший своей воле все четыре стороны света, сразу же обо всем догадается и все поймет при первом же взгляде. Только что придет ему на ум, когда он увидит из опочивальни юной ханши минарет, заглядывающий в ее окно печально и умоляюще? Несомненно, Повелитель решит про себя, что молодой искусный мастер, способный одухотворить безмолвный камень, выразил своим минаретом то, что не осмелился бы высказать словами, ибо понимает, что за это ему непременно отрезали бы язык. Так что же получается? Выходит,

робкий, преданный взгляд юного мастера тогда при их встрече на вершине минарета означал неодолимую любовь к ней. Да, да... любовь! Теперь-то ей все понятно. И уж коли открылась ей эта тайна, то тем более не ускользнет она от всевидящих и все понимающих глаз Повелителя.

Ханша опешила от этого очевидного предположения, словно кто-то грубо и неожиданно ворвался к ней в неурочный час.

Минарет, казалось, еще ближе придвинулся к ее окну. Верно, верно... наконец-то, все поняла... угадала, — слово твердил он в нетерпении, — ну, ну, что же теперь скажешь, что мне ответишь?..» И столько настойчивости, столько отчаяния чувствовалось в минарете, что юная ханша поневоле зажмурила глаза и отшатнулась. Ей на мгновение померещилось, что минарет вот-вот перемахнет через высокий дувал вокруг дворца, сметая все преграды.

Она отпрянула от окна, собралась духом.

Первое, что пришло ей в голову: необходимо немедленно наказать дерзкого мастера, нарочно затягивавшего завершение минарета. Несомненно, этого юнца попутал бес и ему самому неизвестно, должно быть, что он себе вообразил. Значит, его следует наказать так, чтобы он не только про любовь, но и про брэнное свое существование забыл.

Гнев и чувство ущемленного самолюбия овладели теперь всем существом ханши. Посмотрите только, что взбрело в безрассудную голову юнца, едва осмеливающегося поднять свои воловьи глаза на молодую жену властелина! То-то же, неспроста, видно, уселся, как сыч в дупле, на вершину минарета и день-деньской неотступно следит за ней... Нет, от него нужно избавиться. И как можно скорее, пока еще бесчисленные, сплетники столичного города не пустили скользкий слух по всем закоулкам. Сумасброда, решившего достать луну на небе, следует тотчас поставить на место. Где это видано и слыхано, чтобы низкородный холуй, нищеврод безымянный, черная кость позволял себе хотя бы в черных мыслях своих возжелать белотелую невинную жену земного владыки?! Как он только посмел — пусть в своей поганой душе — осквернить священное ложе Повелителя? Если хоть одна живая душа догадается о его преступном желании о его дерзкой мечте... Получается, что, стремясь возвеличить и увековечить честь своего супруга, она помимо своей воли обесчестит на века его славное имя. Нет, юная ханша обязана пресечь это безумие, обязана своими

руками задушить робкий росток надежды. Сейчас она вызовет порученца, тот обо всем доложит визирю, и старший визирь еще сегодня заточит строптивца в мрачное подземелье-зندان. А там он и пикнуть не успеет, как палачи секирой отрубят ему башку. Вот так бедолага-мастер, соорудивший чудо-минарет, станет жертвой собственной страсти. Что ж... пусть пеняет на себя. Мог бы вовремя обуздать свое низменное вожделение. Она, юная ханша, не виновата в его печальной участи ни перед богом, ей перед людьми. И не надо откладывать своего решения. Уже пришла весть: Повелитель держит путь на родину. Пока не доползли до него сплетни, следует погасить свет в очах молодого зодчего и распорядиться, чтобы главный мастер сам завершил строительство минарета. Но... разве минарет, словно коварный искуситель, не будет продолжать смотреть в ее окно, как прежде, преданно и умоляюще? И разве великий Повелитель не поймет его намека, не разгадает его сокровенной тайны?

От досады ханша больно прикусила губу. Как же теперь быть? Может, выпустить из крепости и подземелья всех рабов и пленников и заставить их разнести, разметать этот зловредный минарет дотла? Но что тогда скажет словоохотливая толпа, которая пока ничего не подозревает? Сколько кривотолков родится мгновенно по поводу того, что юная ханша приказала до основания разрушить минарет, построенный по ее же распоряжению.

И сумеет ли она убедить Повелителя в правильности своего решения?

Ханша вновь подошла к окну. Минарет по-прежнему преданно и печально взирал на нее. На самой вершине, в черном зазоре, что-то мельтешило. Что делать? Как же быть? Кто сможет искусно заделать крохотный зазор, видный, однако, отовсюду? Да что зазор, когда сам минарет всему белому свету открыл ее сокровенную тайну? Тайну, которую она скрывала даже от себя! Нет, отныне уже никто не в силах ее скрыть. Это может сделать только сам молодой зодчий, вдохновенный творец дивного храма любви. Однако ж этого не сделает... не сделает даже во имя их великой тайны, пока не осуществится его дерзкое желание. Живо предстал перед ее глазами смуглый робкий юноша, умоляюще смотревший на нее на вершине минарета. Чистый, пылкий юнец, видно, влюбился в нее без ума. Он, слепец, даже сам не понимает, на кого он позарился. Ему, несчастному,

и невдомек, что страсть его губительна. Юная ханша вдруг очень ясно себе представила, что молодым зодчим руководило одно-единственное желание — воплотить в минарете свою слепую любовь. Да, да, только это, только это. Он, бедняга, давно уже забыл, по чьей воле строится минарет, что от него требовала Младшая Жена великого Повелителя, и он едва ли не с самого начала оказался в плену своих же пылких, по детски нетерпеливых чувств, которые заглушили в нем трезвый рассудок. И вот получилось, что помимо своей воли он вдохнул в этот минарет свою душу, выразил в нем свою безнадежную любовь, свою необузданную страсть, свое немыслимое желание, ради которых и угроза смерти ему не страшна. Вот почему так невыносимо тоскует минарет вдали, ибо прекрасно сознает, что недоступен ему предмет его обожания. Неразделенная любовь, невозможность любви привели молодого зодчего в отчаяние. Он теперь оттуда, из своего укромного гнездышка на вершине, не уйдет. Нужно встретиться с ним, убедить в бесплодности, бессмысленности его упрямства, предостеречь от безрассудства, объяснив, что его дерзость будет стоить ему жизни, а для юной ханши обернется бесчестьем. И если любовь его искренна, он не может не внять ее мольбам. Секира палача, конечно, поможет прервать пагубные мечтания потерявшего рассудок юнца, однако его слепая страсть, как вечный укор ханше, останется запечатленной в минарете. Значит, только испытанным женским лукавством можно вернуть его на путь благоразумия. И только в тот день, когда ханша утолит его неодолимую жажду наслаждения, утешит его истомленную душу или осчастливит хотя бы обещанием исступленной радости, минарет перестанет, наконец, взирать днем и ночью с укоризной, жалостью и печалью, молчаливо вымаливая ласку и любовь. И если наделенному божьим даром зодчему удалось выразить в каменном минарете неумную боль, охватившую всю его душу, то он с такой же силой сумеет выразить и ослепительный миг счастья. Вот именно это звездное мгновение и должен воплотить молодой мастер в своем творении. А тогда и сам великий Повелитель, и бесчисленная черная толпа, не подозревающие пока о дерзком поступке ошалевшего от любви юнца, воспримут это как радость и счастье ханши, заключившей в свои объятия долгожданного возлюбленного. К этому она и должна стремиться. И да пусть утешится несчастный юнец,

пусть в желанной радости захлебнется его буйная, неистовая плоть, ханша уступит его строптивой прихоти...

Ханша, казалось, вновь поймала поводья разбежавшихся мыслей и приняла твердое решение. На другой день, с утра она пригласила к себе старую служанку. И горничные, и свита растерянно толпились за дверью, старуха вышла из опочивальни лишь около полудня. Она попеременно в упор вкогтила цепким взглядом в каждую, кто с утра томился возле тяжелой входной двери, потом велела одной из самых смазливых служанок остаться, остальных отпустила по комнатам. Девушки, озадаченно пожав плечами, разошлись.

В тот же день, после обеда, крытая повозка ханши в сопровождении дворцовой свиты направилась к минарету. Там, у его подножия, довольно долго стоял нарядный кортеж...

На следующий день, выйдя по обыкновению на прогулку, ханша сразу обратила внимание на то, что мозоливший всем глаза зазор под куполом был уже наполовину заделан. А еще через три дня строительство минарета было, наконец, завершено. Из окна своей опочивальни ханша любовалась совершенно новым обликом минарета: он приветливо улыбался, весь светился счастьем. В честь возвращения с победой великий Повелитель провел пышный пир, и на том пиру в числе многих одарил и юного зодчего целым подносом золотых динаров.

Принимая дар, тот незаметно покосился в сторону Младшей Ханши. Она смутилась, быстро отвела взгляд, посмотрела туда, где чинно восседала Старшая Жена со своей свитой, и успокоилась, решив, что никто не обратил внимания на неосторожность молодого мастера. Казалось, никому не было дела ни до него, ни до юной ханши, никто ни о чем не догадывался, и сердце ханши после стольких сомнений и волнений вновь забилося ровно, спокойно.

А когда прошел многодневный пир и Повелитель поселился в ее дворце, она от счастья не находила себе места. Весь бесконечно длинный день она следила за солнцем. Казалось, назло ей оно никогда не зайдет. Ханша вся измучилась от ожидания, от духоты, от жары, и лишь когда раскалившееся светило нехотя скользнуло за горизонт, она облегченно перевела дух. Теперь уже скоро, вот сейчас наступит тот желанный миг утешения души и плоти — долгожданная плата за долгие годы тоски и одиночества. Она прислушивалась к каждому

шороху, не спускала глаз с тяжелой, золотыми пластинами отделанной двери.

Так и промаялась ночь напролет, с болью и обидой озираясь в сторону входа. Утром, как всегда, вошли к ней горничные, и вид у них был растерянный и смущенный.

Ханша прочла в их глазах слабое утешение: «Ничего... не отчаивайся. Утомился ведь Повелитель после опасного похода и шумного, многодневного пира. Видно, неудобным ему показалось, подобно нетерпеливому юнцу, в первую же ночь переступить порог твоей опочивальни».

В тягостном томлении провела ханша день. Как неменяемая, слонялась из угла в угол. Надумала, было поразвезаться на прогулке, однако тут же отказалась от этого намерения, вспомнив, что Повелитель, любит одиночество у родника в саду, и боясь неожиданной встречи с ним.

Первые дни ханша успокаивала себя тем, что Повелитель, должно быть, и впрямь устал, и старалась возбуждать в себе жалость к нему. Но проходили дни и ночи, и она все так же настороженно прислушивалась к шагам за тяжелой дверью, ждала, ждала до полного изнеможения, а Повелитель не показывался и никаким образом не давал о себе знать. Ночами напролет ворочалась ханша на душных перинах, будто они были усеяны колючками.

Отныне она пытливо заглядывала в глаза старой служанки и горничных. И у них был подавленный, удрученный вид. Ничего у них ханша выпытать не смогла, наоборот, казалось, они сами ждали от нее каких-то объяснений. Ханша изо всех сил старалась не подавать виду. Однако служанки, без слов понимавшие каждый порыв и каприз своей госпожи, конечно лее, обо всем догадывались. Приутихла свита, улыбалась через силу, ходила на цыпочках.

С того дня, как Повелитель поселился в ее дворце, ханша уже не выходила на прогулку; целыми днями томясь в опочивальне, все думала, думала до головной боли, до умопомрачения, а потом часами смотрела в окно. Казалось, она без слов жаловалась минарету на свою судьбу, на продолжающееся одиночество, на то, что великий повелитель охладел к ней после похода, еще ни разу не удостоил своим посещением. Но минарет самодовольно сиял и лучах солнца, играл разноцветными бликами и взирал на ханшу восторженно-радостно.

Куда только исчез его недавний жалостливый, умоляющий взор? Он выражал теперь уверенность, удовлетворенность, будто упивался желанной удачей. Ханша содрогнулась: сколько холодной надменности и равнодушия к ее душевным мукам, к ее нескончаемым страданиям было в этом величественно-прекрасном минарете, который по вершку, по кирпичику рос столько лет на ее глазах! Казалось, он мстил ей за что-то, откровенно злорадствовал. То-то же, голубушка, вроде говорил он, помнишь, с каким высокомерием глядела когда-то на меня, как задирала нос, как упорно не внимала моим мольбам?.. Сколько лет я вымаливал твое внимание!.. Как долго мучила меня своим безразличием!.. Ханша представила себе молодого зодчего. Она еще раз внимательно рассмотрела его тогда на пиру, когда он принимал щедрый ханский дар. Навсегда запечатлился в памяти его облик: гладкий, широкий лоб, прямой, правильной формы нос, чистое, смуглое лицо, необыкновенно большие печальные глаза, сосредоточенный, загадочный взгляд. Чем он живет теперь, вдохновенный юноша? Не может быть, чтобы он ошалел от радости, получив полный поднос золотых динаров. Он, кажется, не из тех, кто гонится за житейским благом. Наверно, и он еще не охладил к своему творению. И его сердце, должно быть, сладко сжимается, когда он смотрит на минарет или вспоминает тот памятный для обоих — день....

Стоит юной ханше вспомнить о том забавном и трогательном случае, как ей сразу становится легко и светло, словно весенним половодьем омыли ее душу, и в невольной доброй улыбке растягиваются ее губы. Смешно: до чего же чист и неопытен пылкий юноша! Думая о том невинном розыгрыше, о поступке ошалевшего от неожиданного счастья молодого зодчего, она испытывала одновременно и жалость, и сочувствие, и неведомую нежность к нему. Он ненасытно ласкал ее, обнимал, шептал жаркие слова: «Не уходи... не отпущу... останься... навсегда... навсегда...» Смотри, чего ему захотелось! Видно, не прочь всю жизнь тискать в своих объятиях Младшую Жену великого Повелителя.

Рассказывая потом подробно ханше об этом, молодая смазливая служанка звонко хохотала, и вместе с нею смеялась и ханша, но тут же, опомнившись, резко обрывала свой смех. Нет, вовсе не потому, что ей было неловко перед своей служанкой. А скорее потому, что, слушая

предназначенные ей сокровенные слова влюбленного юноши из уст разбитной, довольной служанки, ханша почувствовала на миг, как ледяной холод больно кольнул ее сердце. Стараясь скрыть эту неожиданную для самой себя пронзительную боль, она придирчиво и ревниво расспрашивала служанку обо всем, что происходило между ними там, на вершине минарета, и тщетно силилась при этом сохранить легкую усмешку на губах. И чем больше подробностей выводывала она у служанки, тем ощутимей становилась боль в груди. Каждый поступок, каждое слово, каждый жест страстного юноши живо отзывался в ее сердце.

Так же пристально и с тайной завистью разглядывала она чуть-чуть смущенную юную служанку, ревниво отмечая про себя здоровую алость ее тугих щек, черный, озорной блеск больших глаз, сочность полных, пылающих губ, стройность легкой, складной фигурки. Ханша даже заметила на ее лице следы особой, необычной радости — не такой легкомысленной, бездумной, как у других служанок. Это была та самая таинственная радость, которую она сама, будучи ханшей, не постигла, не изведала. Это ликование души и плоти, упоение радостью, торжество, которыми наполняется все существо женщины в редкий миг счастья и любви. Этим блаженством скряга-судьба одаривает женщину лишь однажды за всю ее жизнь, а чаще всего и вовсе не одаривает. Редкой счастливице удастся понять эту высшую радость. Суждена ли ей, ханше, такая доля? Ведь, говорят, счастье мимолетно. Упустишь из рук желанный миг и будешь казнить себя всю жизнь. А она предназначенную ей любовь по собственной воле уступила другой. В тот день, когда она чутким женским сердцем ясно осознала вдруг сокровенное желание молодого зодчего, ханша долго и откровенно советовалась со старой служанкой. Тогда-то они и договорились прибегнуть к невинному розыгрышу. Старая служанка выбрала из свиты ханши самую смазливую, юную и хрупкую девушку. Ее нарядили, как ханшу, и отправили ил вершину минарета на свидание с молодым зодчим, потерявшим от любви голову. И вот теперь сидит она, юная служанка, перед ней, сияющая, веселая, довольная, еще не остывшая от тех жарких объятий, еще взволнованная нежными и страстными словами, которые вовсе не ей предназначались, но колдовскую силу, которых она и изведала сполна.

Ханша старалась подавить в себе непрошеную досаду и боль, взять себя в руки, ибо она вспомнила чью-то слова, что женская ревность и зависть — всего лишь признак слабости. Ей, ханше, не пристало быть мелочной и слабой. Она не желала вспоминать о том, что случилось, хотела скорее и навсегда забыть тайну, известную лишь ей, старой служанке и смазливой девице из ее свиты. И когда на следующий день она увидела, с какой поспешностью молодой зодчий заделывал зияющий зазор на вершине минарета, ханша почувствовала желанное облегчение, и вчерашняя досада уступила место удовлетворенности и душевному покою. А потом вернулся из похода великий Повелитель, увидел и похвалил минарет, и, узнав об этом, ханша сразу забыла все свои недавние тревоги, тоску и отчаяние. И вот теперь неожиданно они вновь захлестнули ее. И все, конечно, потому, что пусто на душе, потому, что властелин забыл дорогу в ее опочивальню. А подавленная душа все равно что голодный бездомный щенок, обнюхивающий каждую помойку и поневоле натыкающийся на всякую дрянь. А она — высокородная ханша, любимая жена великого Повелителя, не какая-нибудь долгополая занюханная бабенка, ищущая низменных утех на стороне!

Но напрасно подстегивала она свою гордость. Горькая усмешка искривила ее губы, когда она вспомнила, что судьбой ей уготовано возлежать на ханском ложе в объятиях всемогущего Повелителя. Как бы не так! Не больно жалуется ей властелин своей любовью. Не больно щедро одарил ее лаской. Это только считается, что она проводит счастливые ночи в неутомимых объятиях коронованного владыки. Все это жалкое утешение, самообман, ложь. Сколько бессонных ночей ворочается она в постылой постели? Догадывается ли о ее муках хоть одна живая душа? Неужели так ничтожна плата за долгие годы тоски? За верность и преданность? За то, что она, подобно Старшей Ханше, не дрожала над своими драгоценностями, не умножала ненужное ей добро, а щедро все потратила на строительство голубого минарета?.. Напрасные надежды... обман... ложь. Пустая затея, рожденная страхом перед одиночеством. Все живое на этом свете, даже самые ничтожные, низменные твари живут парами. И только ей одной не дана супружеская жизнь. И все это время она только и занята тем, что сама себя утешает, сама себя уговаривает и обманывает. Самую обычную жалость богом данного супруга она приняла за любовь.

Самый заурядный подарок посчитала знаком особой признательности и душевного влечения. А что такое шкатулка драгоценностей для Повелителя, покорившего половину вселенной?! Так себе, мелочь, крохи, которые он в добром расположении духа может, не задумываясь, швырнуть первому встречному нищему. Если бы Повелитель действительно любил ее или хотя бы испытывал к ней неукротимую мужскую страсть, разве мог бы он, находясь с ней столько ночей рядом, под одной крышей, в одном дворце, ни разу не заглянуть в ее опочивальню? Вспоминая теперь те сладостные, счастливые надежды, которые она в душе связывала с возвращением Повелителя и так обстоятельно и любовно вынашивала в своем воображении, ханша испытывала стыд и досаду и упрекала себя за наивность и легкомыслие. Было невыносимо жалко расставаться с той красивой мечтой. Лучше бы не наступило отрезвление. Лучше бы вновь вернулись те бесконечные дни и ночи смутных ожиданий и зыбких грез. Тогда рядом с пустоглазой тоской неизменно теплилась хоть какая-то вера в недалекое счастье, сполна вознаграждающее ее за все муки. Эта вера, эти наивные мечты утешали ее даже в отчаянии.

Где они теперь, те дивные грезы? А с какой стати она внушила себе, что так безумно любит Повелителя? Что если ее любовь — пустая выдумка? Разве может женщина, не познавшая подлинной любви другого, почувствовать в себе силу неодолимой страсти? Вряд ли... ведь это слепое пьянящее чувство должен кто-то в ней возбудить. Не воспламенится пламенится же она сама по себе. И великий Повелитель, кажется, не успел заронить в ее сердце искорку неумемной страсти. Тогда почему она вообразила невинную любовь между ними? Может, это и не любовь вовсе, а выдуманное подобие любви, лишь смутное желание, навеянное истомленной, измученной душой? Или обменчивое чувство, похожее на неосуществимую, немислимую надежду молодого зодчего?

Ханша испугалась. А что, если ее догадка — истина? И разве не кощунство так думать? Не сомневается ли она в самой божественной силе, в всемогуществе всевышнего? Ханша трижды помянула создателя, поспешно прошептала спасительные молитвенные слова. Однако подозрение, возникшее так неожиданно, не оставляло ее.

В этот день она почувствовала себя еще более разбитой и подавленной. Словно тень, слонялась она из угла в угол просторной

опочивальни. Ноги подкашивались, тело ныло, она будто, подламывалась под непостижимой, неимоверной тяжестью. Еле дождалась вечера. И то ли сказались долгие бессонные ночи, то ли вконец измытарили его горестные думы, но едва она коснулась головой подушке, как ленивое, сонное безразличие мягко окутало ее. Приятная усталость медленно проникала во все поры. Это было странное, неиспытанное состояние между сном и явью. Разморенная сладостным предчувствием, она покорно и радостно отдавалась истоме. Казалось, невидимые лучи наслаждения с небесной вышины пробивались в ее огромную, одинокую опочивальню, грели и ласкали ее изнуренную плоть, пробирались до костей и растапливали ледяной наст в душе, рассеивали, растворяли тоску, печаль, боль, гнев, горестные думы, отчаяние и досаду, накопившиеся за все эти гнетущие годы, нежно нашептывали, приговаривали: "Успокойся, милая, отдохни, ни о чем не думай, не расстраивайся, не изводи себя понапрасну", гладили ее чудодейственной мягкой ладонью, избавляя от непосильных мук и терзаний. Глаза ее сомкнулись; плотная белая пелена заполнила все вокруг, сознание погрузилось в дрему, и ханша сама уже не понимала, спит она или бодрствует...

И все же какая-то частица сознания стерегла вечернее тишь, зорко вглядывалась в дрожащий белесый луч. Сердце, уставшее от волнений, понемногу успокаивалось; тяжелый, все умиряющий сон, неумолимо подкрадываясь, все уверенней заключал ее в свои теплые объятия. Разнежившись, ханша безмятежно раскинулась в постели, но крохотный очаг сознания не дремал, продолжал бодрствовать, сторожко оберегая ханшу от любопытствующего взора...

И вот в несуразно огромную опочивальню, бесшумно открыв отделанную золотом грузную дверь, вошел кто-то, крадучись, на цыпочках. Далее не вошел, а словно вплыл, растворяясь в сумраке, и нерешительно застыл у порога. Неожиданный ночной гость испугал ханшу, она пыталась вскочить, вскрикнуть, но что-то сковывало ее, как бы пригвоздило к постели, не позволяло шелохнуться. Даже руки были ей неподвластны, точно связанные. Она силилась разглядеть того, кто, словно призрак, неподвижно стоял возле двери, вглядываясь до боли в глазах, но белесая, дрожащая мгла, словно плотной кисеей, скрывала черты лица. Она видела лишь смутные очертания фигуры, точно под толщей колыхающейся воды.

Вот таинственный пришелец, шелохнулся, медленно, неслышно направился к ней, но по-прежнему не различить его лица, он точно плывет, то приближаясь, то удаляясь, в серовато-мутном потоке... Ближе... ближе... почти уже рядом. Но кто он... кто? Ханше он чудится знакомым. Да, да... где-то она его видела. И эти глаза, большие, ясные, с загадочным блеском в глубине зрачков. Взгляд, юношески открытый и смелый, отуманен неведомой печалью. Он будто жалуется ей, о чем-то умоляет, и невыразимо больно смотреть в эти кроткие, преданные глаза. Она их знает, она их видела часто, может, даже каждый день. Но чьи они? Отчего ей так грустно и одновременно тепло от них? Отчего печаль в его глазах так созвучна, так понятна ее горю? Почему ее душа так нежно, так чутко отзывается на безмолвную его мольбу?.. О, всемогущий, всеблагий!.. Почему она не может очнуться? Где и когда она видела эти колдовские глаза? Нет... ей только померещилось. Никто, никогда, нигде не заглядывал так проникновенно в ее душу. И все же откуда она их знает?.. Кто он, этот искушитель? Почему она не может вспомнить его? Ведь он и раньше смущал ее покой, приводил в смятение, в отчаяние...

Тянувшая истома, блаженная нега вдруг вновь уступили место лихорадочной тревоге. Ну, наконец-то, вспомнила... все вспомнила. Да, да... только у молодого зодчего она видела такие печальные глаза. Такую же грусть и безмолвную мольбу выражал еще недавно и построенный им минарет. Теперь она узнала не только покорно-кроткий взгляд, но и смуглое, овальное лицо, прямой, резко очерченный нос, полные, пухлые губы. Конечно же, это был он, юноша-зодчий, творец голубого минарета. Но... как он проник в ханский дворец, в который не залетит незамеченной даже муха?.. Как пропустили его многочисленные охранники и слуги?.. Она считала, что он навсегда охладел к ней после того случая. Выходит, не угасла в нем страсть. Выходит, напрасно она затеяла невинный розыгрыш с юной служанкой. И вот он сам пришел к ней в опочивальню. Что будет, если застанет его здесь старая служанка? Безумец, он не только сам подставляет голову под секиру палача, но позорит и ее честное имя.

Ханша порывалась накричать на зарвавшегося наглеца, наказать его за назойливость, позвать слуг, но у нее не было голоса, будто кляпом заткнули рот. Однако молодой зодчий, должно быть, догадался

об ее гневе: подойдя почти вплотную к постели, он вдруг отпрянул, отшатнулся, заспешил к выходу. Большие, печальные глаза округлились, как у испуганного ребенка. Сердце ее зашло от жалости. Она подала знак: «Не уходи... постой... Иди ко мне...»

Нежданный ночной гость растерянно застыл у двери, не зная, какому капризу ханши повиноваться. Она протянула к нему обе руки, позвала настойчивей, и он, еще не веря, робко шагнул навстречу. Теперь ее охватило жгучее нетерпение. Ну, скорей же, смелей... В глазах его мелькнули испуг, надежда и желание. Все еще робея, он не слишком добрался до постели, осторожно коснулся ее пальцем. Они обменялись быстрым смущенным взглядом. В это же мгновение ханша почувствовала страх. Если она сейчас упустит этот миг, то навсегда лишится нерешительного, чистого юноши с покорными, печальными глазами. Преодолевая стыд и робость, она вся подалась, потянулась к нему, обвила его руками и откинулась назад, задыхаясь, обессилевая от судорожных, нетерпеливых объятий. В воспаленном сознании мелькнула вдруг догадка: все эти годы, изнуряя свою душу и плоть, она, оказывается, желала, ждала только его, его одного, его неумелую ласку и тихую, преданную любовь. И вот то, почему она томилась долгими бесплодными ночами, нежданно сбылось, и теперь она уже никогда, никогда, никогда не выпустит его из своих объятий, никакая черная, злая сила не разлучит их, не отнимет его, желанного, любимого, единственного. Она изо всех сил, как в безумии, прижимала его к себе, словно хотела слиться с ним, раствориться в нем, и он, все более распаяясь, чутко и благодарно откликнулся на ее немой зов. Тела их сплелись, сплелись в ненасытной жажде и ярости и, сливаясь в единую плоть, в единую душу, покорно отдалась могучему потоку страсти, уносившему их от всех тревог и волнений обыденной жизни. Ханша не сопротивлялась, она радовалась этому неведомому необузданному желанию, от которого мутился рассудок и сладкая нега огненной волной растекалась по жилам. Она чувствовала, как наливалось тугой силой, упругое, гибкое тело юноши, как все больней стискивали ее крепкие молодые руки, как сильно, толчками колотилось его сердце. Она, как могла, подбадривала его, радовалась его неистовству, пылкости и твердила, как заведенная: боже, не дай иссякнуть этому огню, этому буйству, пусть это блаженство, этот сладкий миг продлится долго, долго, долго... до конца отпущенных

судьбой ее дней... навсегда... И уже чудилось ей, что дошла, до всевышнего горячая ее мольба, что не будет конца этому безумству, великому торжеству плоти, как вдруг ощутила она странную слабость, разбитость во всем теле и разжались как-то сразу огненные тиски...

Долго лежала ханша, вконец опустошенная, измученная, будто после тяжкого приступа. Только что огнем пылавшую грудь ожег ледяной холод. Она медленно открыла глаза. Мягкий, робкий свет зыбился в опочивальне. Она протерла глаза, взглянула вокруг — ни единой живой души. Странно... Тускло мерцала вдали тяжелая, золотом обитая дверь.

Чувствуя, как в ней вскипает беспокойство, ханша посмотрела в сторону окна, потом взгляд ее скользнул по хаузу в середине, по сумрачным углам. Ни намека на то, что кто-то был здесь ночью.

Только теперь ханша обратила внимание на измятое, скрученное пуховое одеяло, на истерзанную постель. Не веря своим глазам, она оглядела себя, задумалась на миг и вдруг с брезгливостью ненавистью отшвырнула ногой скомканное одеяло, словно то был уж, подползавший к ней.

Вновь охватила ее ярость, холодным обручем скрутила, и злые слезы покатались из глаз. Уже через мгновение от слез грудь стала мокрой. Она не вытирала, не сдерживала их. Казалось, горячие слезы, стекая на грудь, растапливали в ней коросту тоски и муки и приносили желанное облегчение.

Ханша плакала долго, иступленно, вздрагивая худенькими плечиками. Потом, выплакавшись, враз обессилела, затихла. Голова раскалывалась, больно жгло в груди. Слезы, приносившие обманчивое облегчение, отравой проникали в сердце.

Так до утра и не сомкнула глаз. В тот день она словно прозрела, поняв причину загадочной тоски, неотступно преследовавшей ее столько времени. Лишь в этот день впервые и как-то неожиданно мужественно созналась она своем несчастье и окончательно смирилась с тем, что счастье покинуло ее, покинуло, может, навсегда, а скорее, оно и не посещало ее вовсе, и суждено ей до конца жизни прозябать в тоске и скорби.

Утром, как всегда, распахнулась грузная дверь и вслед за старой служанкой ввалилась в опочивальню по-прежнему беззаботная, радостная свита. Девушки шумно подбежали к постели, окружили

ханшу. Она с недоумением и досадой отмечала про себя их бездумную оживленность, незыблемое довольство жизнью и собой, а девушки, ничего не понимая, растерянно уставились на нее подкрашенными глазками, разглядывали ее, осунувшуюся, побледневшую, погасшую за одну ночь: глаза ввалились, в глубине зрачков застыли тоска и смирение, покорность перед своей сирой участью. Старая служанка подала знак, чтобы все немедленно вышли, и прижала к груди измученную маленькую госпожу, как ребенка, и погладила ее по волосам:

— Что с тобой, милая?! — зашептала старуха. — На тебе лица нет. Неужто великий Повелитель невзначай обидел? Какой-то хмурый, странный вышел он от тебя ночью... Что же могло случиться?..

У ханши округлились глаза. Что тут мелет старуха?

— Что-о?.. Великий Повелитель? Он разве был здесь?

— Ну, да... ночью... Только уж больно скоро он вышел...

Ханша как подкошенная рухнула в постель, старая служанка испугалась, склонилась над помертвевшей ханшей, смекнула, что та в беспмятстве...

Лишь к обеду ханша пришла в себя. У старухи, сидевшей у ее изголовья, она ни о чем не спросила. Старуха тоже не осмелилась допытывать госпожу. Только время от времени бросала на нее встревоженный и виноватый взгляд.

Да-а... за всю свою жизнь ханша лишь однажды согрешила перед мужем — великим Повелителем. И случилось это не наяву, а лишь во сне. Но даже это ее единственное прегрешение было мгновенно замечено зоркоглазым властелином. Потому он и не задержался ночью в опочивальне, ибо собственными глазами видел, как предавалась она во сне низменному блуду. Потому и вышел он гневным из опочивальни, ибо понял, что в воображаемых объятиях другого мужчины бьется в сладостных судорогах юная его жена...

Глухое, неутешное горе, как тяжкая, неподвижная духота в знойный полдень, затмило сознание ханши. Она не обронила ни одного словечка, даже подавляла легкий вздох, не желая, чтобы кто-то догадался о ее боли и смятении.

Жизнь отныне протекала как в тяжелом сне. Все вокруг лишилось смысла и притягательства. Ханша в душе смирилась со своей виной, осознала свой страшный грех и была готова к любому наказанию.

Перед великим Повелителем виновата она одна. Молодого зодчего никто ни в чем не может упрекнуть. Он безрассудно любил ее, но не прикоснулся к ней даже пальцем. Даже во сне она отдалась ему сама, по собственной воле, в порыве слепого, неподвластного чувства. Кто знает, как бы она повела себя, случись это наяву... Но теперь она хоть поняла, какое желание изводило ее так долго и как случается, что дикая страсть затмевает рассудок. Поняла: то, что она считала возвышенной, чистой любовью к великому Повелителю, было на самом деле низменным томлением бабьей плоти, жаждущей крепких и грубых мужских объятий. И если бы молодой зодчий каким-то образом сумел проникнуть в ханский дворец и пробиться через все преграды в ее опочивальню, она, очень может быть, поступила бы так же. Вряд ли даже наяву нашла бы она в себе силы противостоять жадному зову плоти, устоять перед горячей мольбой пылкого юноши и обуздать неодолимое желание, от которого кровь вскипает в жилах. Что бы там не говорили, а исконную бабью суть не скроешь никакими пышными ханскими одеяниями. Искушение, ввергающее во сне душу в грех, непременно скажется и проявит себя и наяву. И потому ханша сознает свою вину, супружескую неверность, измену, бесчестие и покорно примет любое наказание, самую страшную кару за бабью слабость, за все содеянное ею.

Если бы сейчас великий Повелитель вошел к ней и отодрал бы за волосы, как последнюю девку, избил, истоптал, как поганую тварь, исполосовал ее шкуру и переломал все кости и швырнул бы ее грешное тело на съедения шакалам, она не противилась бы, а покорилась судьбе и даже осталась бы довольной; может быть, такая позорная смерть была бы лучше ее теперешнего прозябания. Но создатель не дал ей даже такого счастья — счастья сносить побои мужа. Выходит, нет горемычнее ее на свете. В отчаянии она была готова исцарапать себе лицо, рвать на себе волосы, биться головой о стенку.

Долгими-долгими днями, томясь от одиночества и тоски, и нескончаемыми безрадостными ночами, предаваясь изнуряющим думам, она не раз с жутким наслаждением размышляла о том, как погасить крохотный живой лучик, упорно мерцающий где-то в укромной глубине ее давно остывшего, безжизненного тела. Она находила много способов разом покончить со всеми муками и,

казалось, обладала достаточными мужеством и решимостью для осуществления любого из них, но почему-то так и не осмеливалась переступить заветную межу. Нет, нет, в лучшем случае она сознавала, что это не от страха и не от того, что слишком дорожила лживой жизнью на этом свете.

Низменное прозябание, именуемое жизнью, ей так же омерзительно, как и ее грешная, жадная плоть. Она окончательно смирилась с тем, что ее недавний чувственный сон был последней вспышкой так и не разгоревшейся страсти, последний порыв, последнее стремление души и плоти к счастью, к жизни. Сейчас, вспоминая подробности того сна, она уже не испытывала ни стыда, ни досады, но прекрасно сознавала, что мечтать о том мгновении так же бессмысленно и кощунственно, как бессмысленна и кощунственна сама жизнь без душевного огня, без желания. Значит, цена дальнейшей жизни — ржавая монетка.

Сейчас она с покорностью и даже радостью восприняла бы любое наказание, к которому приговорил бы ее великий Повелитель. А сама она не смеет покушаться на свою жизнь, какой бы ни была она бессмысленной. Ханша, конечно, не может точно знать, как истолковали бы ее роковой шаг люди, но хорошо чувствует, как опозорила бы она своим поступком честное имя Повелителя. Нет, самовольной смертью своей она не омрачит славную жизнь богом данного супруга.

Повелитель между тем не давал о себе знать. И ханша от зари до зари тревожно озиралась на тяжелую кованую дверь. Огромная опочивальня казалась ей теснее и мрачнее могилы. И тогда к горлу подкатывало удушье, и она была готова вскочить и с топором в руке ринуться на эту безмолвную, бездушную дверь, словно заточившую ее в подземелье, лишившую ее жизни и доброго человеческого общения. Возможно, изрубив в щепки ненавистную дверь, она выплеснет разом весь гнев, всю злобу, от которых щуплое ее тельце трясется, как в лихорадке, а сердце сжимается камнем.

В один из этих невыносимо тягостных дней ханша позвала старую служанку и в сопровождении свиты отправилась на прогулку. И встречные слуги, и привратники, и караульные воины по-прежнему учтиво кланялись ей. Но чудилось ханше, что не проявляют они былого подобострастия, что взирают на нее незаметно с жалостью и

состраданием. Впрочем, и она старалась не задерживать ни на ком взгляда. Однако, отворачиваясь, чувствовала, как горит затылок, словно кто-то вслед ей показывал язык. И веселье, обычная оживленность девушек из свиты казались ей наигранными. Ханша сейчас избегала тех мест в придворном саду, где еще недавно — в отсутствие Повелителя — бывало, так беззаботно резвилась со свитой. Теперь ее невольно притягивали укромные уголки и заглохшие тропы, где ее не преследовали любопытные взоры. Но и там ей становилось не по себе. Казалось, сам воздух, точно всевидящий глаз соглядывая, впивался в нее иголками. И ханша поспешно возвращалась во дворец.

Кроме этой огромной и жутковатой, как пасть сказочного дракона, опочивальни и узкого оконца, из которого можно обозревать уголок сада, ничего ей больше в жизни не осталось. Даже думы все иссякли, все передуманы.

Как смоляная нить, тянутся бесконечно-унылые дни. Еще томительней и тревожней нескончаемые ночи. Ночь — пытка, когда ханша сама себе становится одновременно и ангелом добра, и ангелом зла, подвергает себя мучительному допросу, выносит себе беспощадный приговор. Ночью поневоле размышляешь о том, о чем при божьем свете и вспоминать опасаясь. Сейчас ханша презирала и ненавидела не только себя, но и того влюбленного юношу, который всему белому свету открыл свою сокровенную тайну, и голубой минарет, построенный руками этого безумца, и тот памятный день, когда Повелитель прислал ей шкатулку с драгоценностями и у ней впервые возникла мысль о постройке невиданного минарета, и девушек из свиты, и преданную старую служанку, так горячо поддержавших ее намерение, и Старшую Ханшу, чванливость и ревность которой оказались первопричиной всех ее несчастий. Велика была ее обида даже к отцу-матери, произведшим ее на свет, свергнувшим ее в этот проклятый мир.

И потому... потому будь проклята черная ночь, безмолвным призраком заглядывающая в окно! Да будет проклят холодный мраморный хауз с его болтливо-монотонным фонтанчиком-искусителем! И постылая постель, травящая и без того измученную плоть, и пуховодушное одеяло, подстрекательски выдавшее в ту ночь ее глубоко захороненную женскую тайну, — будьте прокляты!.. И нам, небесам, равнодушно взирающим на весь земной ад, — проклятие! И

тебе, многотерпеливой страдалнице земле, покорно сносящей все беды и горести, — проклятие! И да будет проклят весь этот непостижимо — огромный и презрительно-холодный мир, в котором бесследно гаснут лучшие человеческие порывы и возвышенно-светлые мечты!..

Охваченная отчаянием и мгновенной, как вспышка, яростью, ханша неистово проклинала весь белый свет и, не боясь самой страшной кары, помянула недобрым словом самого всевышнего, сотворившего эту юдоль печали, и даже в таком безумии только одного-единственного человека не коснулись ее проклятия — великого Повелителя. Ханша сама удивлялась этому. И она не могла объяснить себе причины. Разве не он, великий Повелитель, превратил ее жизнь в ад? Вот уж сколько времени мытарствует ее душа в одинокой опочивальне! Разве он не догадывается о ее беспросветной тоске? Разве ему неизвестно, как каждый день она казнит себя? И если он сам убедился в ее греховности, то чего она медлит? Или он понимает, что мучительно-медленная смерть от постоянных душевных терзаний, от собственной боли, ярости, досады, гнева и отчаяния — более суровая кара, нежели секира палача? Может, он решил насладиться именно такой изощренной местью?

Только в чем она, услада? Разве от ее мук ему станет легче? Разве мутная людская молва и пересуды не доставляют ему такую же боль, как и ей? Но если ее муки приносят ему утешение, то пусть ее мучает и впредь, сколько душе угодно. Пусть услышит, пусть узнает то, чего никогда не было и не могло быть... Пусть пеняет на себя. Так ему и надо. Ведь это он загубил, растоптал ее молодую жизнь, обрек на непосильные муки... Ну и пусть знает. Пусть сам и расплачивается...

Ханша спохватилась, испугалась этой кошунственной мысли. Боже милостивый, что она мелет?! Прости низкородную бабу, прости ее подлый, злой язык, осквернивший ее невинную душу!.. Как она могла забыть, что ей, благородной супруге великого Повелителя, недостойно подобно служанке опускаться до мелких склок и грязной мести?!

И, испытывая к себе все большее омерзение и даже гадливость, она поспешно прошептала затвердившиеся в памяти беспомощные слова молитвы и умоляла всевышнего сурово наказать ее за все прегрешения, но простить ее только за то, что она, поддавшись слабости и отчаянию, вдруг позволила себе кошунственные мысли о

великом Повелителе. И, понемногу обретая душевный покой после недавнего смятения и ярости, вкладывая все остатние душевные силы в жаркие покаянные слова, она со всей искренностью, на которую было способно ее истерзанное сердце, просила всевышнего — пока чистую душу ее не осквернили подлые и низменные думы — призвать ее скорее к Страшному суду, к тому очистительному святилищу, где она сгорит в огне собственных грехов.

И горячая эта мольба, проникая, просачиваясь в самую душу, казалось, растапливала ледяной наст сомнений и крупные, прозрачные слезы вновь хлынули из ее глаз...

Часть четвертая
КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

На берегу могучей реки он вышел из крытой повозки и пересел на верховую лошадь. И когда повозки начали грузить на паром, он в сопровождении свиты направился к броду. Верхушка лета с нещадным зноем была позади. В эту пору могучая река смиряет свой буйный нрав, не бурлит, не бушует, как в весеннее половодье, размывая глинистые берега, а течет спокойно и величаво. Обычно бурая, мутная вода ее к этому времени заметно светлеет, обретая местами синеватую прозрачность.

Брод оказался там, где крутой, обрывистый берег вдруг становился пологим, а река, разлившись вширь, образовала множество узких протоков, похожих на косички юной красотки. Раньше через этот брод переправлялись бесчисленные торговые караваны с востока на запад и с запада на восток, но столь огромного войска, под тяжестью которого прогибалась земля, древняя река и такой же древний брод еще не видывали. Возможно, потому в удивлении и испуге сбились в кучу на крутояре груженые караваны, арбы с дынями, арбузами и фруктами, а также разномастный черный люд из прибрежных кишлаков — конные и пешие, на ишаках и кривоногих верблюдах, — спешащий, должно быть, на базар. Толпа, с опаской озираясь на грозных воинов из головной части, прокладывающей дорогу несметному войску, жадно пялила глаза на великого Повелителя восседавшего на ослепительно-белом, со смоляной челкой жеребце, в плотном кольце копьеносцев-телохранителей. Великий Повелитель, казалось, не замечал любопытных взоров; откинув голову и вглядываясь в далекое марево, он сидел в седле прямой, непреступный и непроницаемый. Серебряная лука седла и стальные стремена, поблескивая в лучах солнца, подчеркивали суровое выражение его лица.

Могучая река Джейхун, берущая свое начало от снежных вершин гор, катила крутогрудые волны. Здесь, у брода, волны, казалось, давали себе передышку, замедляли бег и тихо улыбались, резвясь на солнышке, но когда кони вошли в воду, улыбка эта мгновенно исчезла, растворяясь в поднимавшейся из-под копыт мути.

Повелитель сохранял невозмутимый вид, словно ничего вокруг не замечал. Он слегка отпустил поводья, и конь боязливо переступал ногами, поеживался от ледяной горной воды, обжигавшей щиколотки... Конь благополучно одолел все бесчисленные узкие протоки, но когда остался последний широкий ручей на дне лощины, неожиданно споткнулся. Великий Повелитель, расслабившийся в седле, вдруг резко покачнулся, взмахнул рукой, в которой зажал рукоять камчи, и тут же почувствовал, как что-то соскользнуло с указательного пальца. Сердце Повелителя дрогнуло. Он поспешно покосился на палец и не увидел большого серебряного перстня, украшенного редким камнем, напоминающим кошачьи глаза, который встречается лишь в стране зулусов. Много лет тому назад этот перстень подарил ему старший тесть на смертном одре, назначая зятя вместо себя верховным эмиром.

Он долго смотрел на бледный след, оставшийся от драгоценного перстня на указательном пальце. Двое телохранителей, заподозрив неладное, услужливо кинулись к Повелителю с двух сторон. Он полоснул по ним гневным взглядом и выпрямился в седле как ни в чем не бывало. Руки привычно натянули повод. Лицо обрело прежнее непроницаемое выражение. Телохранители поспешно отвели глаза и приотстали на положенное расстояние.

Повелителю, однако, стало как-то не по себе. Он был в недоумении, не знамение ли судьбы это? С серебряным перстнем, украшенным редким камнем, он никогда не расставался — ни в изгнании, ни в далеких походах. Он служил ему священным талисманом. И то, что он сегодня так неожиданно спал с пальца, было явно не к добру. Особенно в самом начале нового похода это можно расценить только как дурной знак.

Раздражение и мнительность вновь проснулись в нем. Он злился сейчас на караульных воинов, посланных заранее вперед, пока еще войско находилось в городе. Как могли они так оплошать? Собрали эту чернь, эту бесчисленную толпу у самого брода, как на зрелище. На этот раз он выступил в поход совсем не так, как прежде. Ему не нравилось в день выступления быть на виду праздной толпы. А сегодня, как назло, по обе стороны противоположного берега толпится черный сброд, а караульные части не смогли (а может, не хотели?) вовремя разогнать его, то ли по причине поспешного выступления, то

ли потому, что брод находился как раз под главным городом на пересечении девяти дорог, где бывает многолюдно в любое время года. Ранее, бывало, он особенно заботился о том, чтобы по пути прохождения войска и в первую голову там, где проезжал он сам со своей свитой, не попадался на глаза ни один случайный путник. И это не было просто капризом. Ведь что ни говори, а далеко не каждый рвется в кровавый бой и жаждет ни за что ни про что сложить свою голову на чужой стороне.

Нетрудно догадаться, что творится на душе того, кто не по доброй воле отправляется в далекий поход, и, дабы черные мысли не прокрадывались в его опечаленную голову, лучше ему держаться подальше от мирной толпы. И потому, когда кернаи своим призывным оглушительным рвом оглашали столичный город и дробь барабанов проникала во все закоулки, жители, не выходя из дворов, в окна, щели, через заборы наблюдали, как многотысячное ханское войско выступает в поход. Стражники заблаговременно прогоняли всех, кто попадался на протяжении двухдневного пути. Так бывало всегда. Так не вышло на этот раз. Заботиться о подобной мелочи ему и в голову не приходило. И вот чем это обернулось. Выходит, стоит лишь на мгновение закрыть глаза или раз смолчать, как мигом все трещит по швам и каждый норовит выйти из повиновения. Повелитель был зол сейчас на тысячника, предводителя головной караульной части, однако сдерживал себя, крепче стискивал зубы. Ничего, попадись только на глаза, и покаешься, ох, как покаешься за непростительную оплошность...

Повелитель искоса поглядывал по обеим сторонам, Белый жеребец выбрался на сушу. Справа и слева застыли стражники, воздев к небу копьа. Сквозь тесные ряды копий, как сквозь решетки, колыхалась черная толпа. От арбузов и дынь, наваленных горой на арбы, от мешков, туго набитых изюмом и сушеным урюком, от корзинок и ящичков с виноградом и ягодами струился в воздухе дурманяще-сладкий аромат. И этот запах, такой мирный, земной, приятно щекотавший ноздри и напоминавший тепло родного очага, как бы обесмысливал грозный, ошетилившийся вид огромного ханского войска. Запах земных даров навевал щемящую грусть, говорил о добре, о человечности, о разлуке и может быть, навсегда, навсегда.

Повелитель, все так же надменно закинув голову, чутко вслушивался в каждое слово, в глухой ропот толпы. Вначале он ничего не мог различить сквозь частокол копий, но потом черная, безлика толпа за стражниками словно поредела, пешие, конные и арбы-двуколки куда-то исчезли, и он явственно увидел ряд длинношеих дромадеров, опустившихся на колени. Купцы-чужестранцы в пестром, диковинном одеянии благочестиво склонили перед ним головы. Как скошенный камыш, прижимались к пыльной обочине полосатые круглые шапки, поярковые папахи, плотно облегающие тубетейки, мохнатые ушанки, белоснежные чалмы, и все это напомнило Повелителю вышний пестрый луг, по которому только что прошла коса. Взгляд его привычно скользил по склоненным головам и спинам и вдруг споткнулся обо что-то одиноко торчащее на арбе, запряженной ишаком. Повелитель поневоле вкогтился взглядом в этого дерзкого смельчака, продолжавшего стоять во весь рост, когда все кругом пали перед ним ниц в прах. Он был сух и жилист и стоял на низенькой двуколке в какой-то напряженно-скованной позе. Кожа точно приросла к костям, голова сильно откинута назад, длинные, костлявые руки сложены на груди, лицо обращено к небу. Между покатым, открытым лбом и широкими, обострившимися скулами зияли черные провалы. Ах, вон оно что... Этот высокий, тощий человек, застывший на двуколке камнем-стояком, оказался слепцом. И Повелитель тут же узнал его, узнал по скулам и бугристым вискам. Да-а... горе не пощадило его. Исушило юное, сильное тело. На тонкой шее выпирал большой хрящеватый кадык. Тогда, при той первой и последней встрече, он был по-юношески нежен и красив. На костлявых теперь руках играли тогда упругие мышцы. И тогда, помнится, он сразу же обратил внимание на этот чистый крутой лоб.

Он вошел чуть смущенно и низко поклонился. Как у каждого, кто появлялся перед великим Повелителем, на его лице тоже отразилось волнение. Однако в нем не чувствовалось ни самодовольства или особой гордости за совершенное, ни тем более холопской угодливости или подчеркнутого подобострастия. Со сдержанным достоинством и милым юношеским обаянием он отвесил учтивый поклон и присел на колени. Поклон был коротким. Юноша тут же выпрямился и открыто посмотрел на Повелителя.

Зодчий был юн и красив, взгляд внимательный и искренний, движения мягкие и уверенные, он, несомненно, обладал благородной, возвышенной душой. Повелитель это сразу понял, и ледяной холодок подкатил к его сердцу. И еще заметил Повелитель, что в юноше скрыты таинственная сила, непостижимо-загадочное обаяние, которое способно мгновенно околдовать, пленить любого человека. Правда, Повелитель не сразу догадался, в чем заключается эта таинственная сила. Юноша сидел спокойно, сосредоточенно, будто прекрасно сознавал, для чего вызвали его сюда. Он не ерзал, не озирался затравленно, не оправдывался клятвенно, не просил пощады. Он выражал готовность, и даже презрение к любой участи, к любому приговору.

И молчаливое удивление, как бы означавшее: «неужели ты выпустишь меня отсюда живым и здоровым?!», и мгновенно вспыхивавшая в душе радость, и бесконечная благодарность и признательность, и предельная честность и откровенность, неспособность утаить самый ничтожный грех, и искренность, по-детски наивная и трогательная. И сомнение в подлинности того, что с ним происходит, страх и надежда — все-все разом отражалось в глазах юноши. И они, глаза эти, навсегда врезались в душу великого Повелителя. Открытый, честный взгляд молодого зодчего не оставлял в душе никаких сомнений, убеждал его в справедливости намека Старшей Ханши, приславшей ему червивое яблоко. С этого мгновения большие, как плошки, лучистые глаза неотступно преследовали Повелителя и раскаленными угольями жгли сердце.

Он знал, что юноша, сидевший перед ним, обречен, что, пройдя через все железные и дубовые двери, он больше не увидит солнца, ибо отправится в каменное подземелье, куда не проникает ни единый лучик. И, пытливо вглядываясь в черные, влажные, как у верблюжонка, глаза, выразившие полную покорность судьбе, Повелитель, однако, не испытывал жалости. Наоборот, два зрачка — два раскаленных саксаульных уголька — еще немилосердней жгли ему грудь.

Да-а... видно, такими и бывают колдовские очи, о которых рассказывают в сказках и поют в песнях. Они смотрят искренне, преданно, умоляюще и навевают сладкую печаль, вызывают к жалости и состраданию. Колдовской взгляд приносит нетерпеливому мужчине гибели, а у нетерпеливой женщины отнимает честь. И гибель, и бесчестие происходят от жалости, от душевной мягкости и слабости. Вероятно, от них идет и пагубное стремление у иных безумцев переступить через законы и порядки, установленные великим Повелителем на благо презренного человеческого рода.

Повелителю, конечно, неизвестно, где обитают духи сомнения и соблазна, Иблис и Азазель, о которых говорится в священных книгах, но упорно чудится ему, что эта нечистая сила свила себе гнездовье в тайниках человеческой души.

А что еще способно смутить легко ранимую душу, кроме слова и глаза? Думая об этом, Повелитель каждый раз испытывал смятение и тревогу. Он долго еще не мог оторвать взгляда от двери, закрывшейся за юношей. Светлый, чистый взор его будто остался здесь, рядом, в ханском дворце. Глаза будто, следили за каждым его шагом, за каждым движением.

Повелитель тревожно оглянулся вокруг. Он не решился повернуться спиной к двери, за которой только что исчез молодой зодчий с большими, все понимающими и все видящими глазами. Он медленно отступил назад и присел возле мозаичного хауза с говорливым прозрачным фонтанчиком. Он не знал, как отделаться, как избавиться от назойливого, точно наваждение, преследующего взгляда.

Неужто до конца дней своих не даст ему покоя этот в самую душу проникающий взор? Должно быть, такое же смятение испытала и юная ханша, впервые встретившись с молодым зодчим. Видно, эти глаза с таинственной поволокой взбудоражили и ее неокрепшую душу, и она

не однажды впадала в отчаяние, не зная, как избавиться от их колдовских чар. Только что проку от отчаяния слабой женщины?! У нее даже нет силы, чтобы дать отпор подлому искусителю. У всякой самки всегда один выход, одна расплата. Там, где мужчина зачастую жертвует головой, женщина откупается ценой чести...

Ладно... не о том сейчас речь... Как должен в таком случае поступать грозный Повелитель, не знающий пощады к своим врагам, — вот над чем следует поломать голову.

Мысль, точно норовистый неук, вырвалась было на волю, но Повелитель, как опытный наездник, круто осадил ее. Губы скривились в ухмылке. О чем тут еще думать? Разумеется, он его прикончит. Песком засыплет жадные глаза, позарившиеся на чужое добро.

Однако и это неожиданное решение не утешило душа Повелителя. Разве он посмеет замахнуться мечом на невинного юнца, спокойно и добродушно взирающего на своего господина?! Разве он не привык карать жестоко только кровного врага, полного мести и злобы? Естественно желание погасить блеск ненависти во взоре противника. Только взгляд, разящий, как отравленная стрела, способен возбудить кровь и подстегнуть слепую ярость. Тогда священный гнев душит тебя, как захлестнувший шею мокрый волосяной аркан, и скрежещут зубы, будто рот набит песком, и кровь упругими толчками бьет в виски. И это огненную ярость в силах погасить лишь поток поганой крови врага. Черная кровь, сочащаяся из рваной глотки противника, смывает глухую злобу и ненависть, обложившие грудь цепью кряжистых гор, и спадает пелена с воспаленных глаз. А рубить покорно склоненную голову — все равно что отсечь булатной саблей хвост чесоточного ишака. Пролить кровь беспомощного горемыки так же омерзительно, как раздавить невзначай жабу под ногами. А ведь в темных очах юного зодчего не было даже намека на ненависть. И это обескураживало и раздражало Повелителя больше всего.

Нелегкая и опасная, как острие меча, судьба выпала на долю Повелителя, и жизнь он прожил богатую на события и испытания, однако с таким случаем столкнулся впервые. Он очутился вдруг на распутье, не мог подчиниться ни гневу, ни холодному рассудку. Сколько бы он ни думал, решение не возникало. В какую бы сторону ни рванулась лихорадочная мысль, она всякий раз наталкивалась на беспощадный и неразрешимый вопрос. Точно такие же огромные, с

застывшей печалью и тайным укором глаза он видел еще у кого-то. У кого? Это был невинный, почти детский взгляд, такой доверчивый, наивный, умоляющий, что при одном воспоминании о нем заходило сердце.

Невинный взгляд... Острая мысль Повелителя, настойчиво подбиравшаяся к истине, каждый раз спотыкалась на этом слове. Да-да... невинный взгляд... Откуда?.. Где?.. Какая там, к дьяволу, невинность, если этот взгляд нагло шныряет по твоей супружеской постели?! Похотливый взгляд, устремленный на подол твоей богом данной супруги, разве не опасней, не кощунственней вражеского копья, нацеленного на твой очаг? Разве это не высший стыд, не самый страшный позор для любого мужчины, не говоря уже о нем, всемогущем владыке вселенной? К чему эти запоздалые земные поклоны, если он опозорил его золотокоронную голову? И почему он должен прощать там, где не простит даже последний нищий? Разве не высшая честь и назначение мужчины оберегать покой и мир родного края, почитать везде и всюду священный дух предков и сохранять святость и крепость домашнего очага, верность и любовь супруги? И как мог так оплошать великий творец, сделав честь и достоинство высокородного мужчины всецело зависимыми от мотыльковой прихоти низкородной бабы — рабыни собственной низменной чувственности и страсти?! Видно, в этом заключается единственное ущемление в отношении мужчины, допущенное всемогущим творцом...

Повелитель вскочил в досаде и, тяжело ступая, направился к окну. Были бы сейчас перед ним эти лживо-невинные глаза, он выколол бы их собственноручно. Выглянув в окно, Повелитель опешил: с тем же печально-пристальным выражением во всем своем облике, словно ничего не подозревая, смотрел на него голубой минарет. Ах, вон, оказывается, где он видел еще эти глаза! Да, да, еще тогда, при первой же встрече, его поразило что-то таинственное, непостижимое в минарете, и теперь он вдруг сразу понял, что тайна эта — в скорбно-молчаливой мольбе и укорке, так искусно выраженных зодчим в камне. Вот так, конечно же, минарет-искуситель днем и ночью смотрел в лицо юной ханши. И та, должно быть, тоже была в начале поражена и обескуражена и лишь потом, возможно, догадалась о подлинной тайне, заключенной в его облике. Выходит, в своем творении зодчий выразил

себя, свое сокровенное желание, сказав тем самым то, что он не осмелился выразить словами. И, надо полагать, в душе надеялся, что со временем юная ханша сама поймет его молчаливый намек. Выходит, не такой уж он невинный и безобидный, этот скромный с виду юноша, если он так тонко, исподтишка, словно невидимый червь, подтачивает чужие души.

Э, что там говорить, поистине мужчину приводят к беде слова, а женщину — глаза. Мужчина часто невольник слов своих, ибо не может от них отречься, женщина в плену глаз своих завидующих, ибо не может успокоиться, пока не заполучит то, что ей понравилось. Значит, не проста наши предки, защищая хрупкую душу мужчины от недоброго слова, всячески оберегали женщину от постороннего взгляда. Значит, знали священные прадеды наш, что открытый женский взор допустим лишь на супружеском ложе, а в остальных местах жадные, любопытные глаза ее должны быть для ее же пользы укрыты под черной накидкой. Ибо открыть женщине глаза — все равно, что задрать ей подол. Ведь нет такого соблазна, который не прельстил бы ее. И нет у нее воли, чтобы совладать со своим желанием.

Все, все теперь Повелителю понятно и ясно. Юная ханша вначале была поражена голубым минаретом. Потом в ней вспыхнуло неодолимое любопытство и желание увидеть молодого зодчего, сотворившего чудо, полное тайны. И вот увидела она его, и с того мгновения смутил ее покой проникновенно-печальный взор юноши и заморозила вдохновенная его красота...

Выходит, уже ничто не могло удержать ее от греховного соблазна — ни честь, слава и могущество супруга, ни священное благословение родителей, ни глухая молва праздной толпы. Даже грозный гнев и ярость великого Повелителя, в страхе и повиновении держащего всех в подлунном мире, не могли ей стать преградой. Значит, все это вместе — честь, слава, сила, богатство, страх расплаты — не могло заменить крохотную накидку, сплетенную конских волос. Что же тогда получается? Допустим, нельзя доверять низкородной самке, жалкой рабыне похоти, но куда смотрела многочисленная вооруженная стража, обязанная не пропускать во дворец ханши даже муху, не говоря уже о любовнике?! Где была свита, сопровождающая ее повсюду?! Где находилась старая опытная служанка, не спускающая с нее денно и ночью глаз?!

Ночь напролет проворочался Повелитель. С нетерпением ждал, когда займется заря. Он решил поговорить с глазу на глаз со старой служанкой. Только она одна, вернее, ее прямой и честный ответ в состоянии развеять сомнения, грызущие душу, точно обжорливые суслики.

Утром он распорядился позвать старуху. Она явилась незамедлительно, как прежде, уверенная и спесивая, путаясь в длинном подоле пышного парчового платья. Казалось, она не шла, а плыла по воде, мелко-мелко перебирая ножками-плавниками. Повелитель угрюмо взирал на нее. Должно быть, больно высокого мнения была о себе старуха. Ведь не каждому доверяется следить за неприкосновенностью и чистотой ханского ложа. На сонном, самодовольном лице ни тени сомнения или робости.

Повелитель с трудом сдерживал досаду. Видно, нужно первым долгом убрать эту каракатицу. Корчит из себя опору вселенной. Думает, если ей доверили сторожить опочивальню ханши, куда Повелитель заходит без короны, то ей все позволено. В прошлом — еще куда ни шло — можно было прощать ей чванство и спесь. А теперь-то ей, старой карге, важничать никак, не пристало. Или она считает, что Повелитель и представления не имеет о том, что здесь творилось в его отсутствие?!

Наконец, старуха подплыла, церемонно поклонилась, потом выпучила на него слезящиеся глаза, сохраняя непроницаемо-высокомерный вид. «Ну, что, голубчик, мне скажешь? Давай выкладывай. Я вся внимание», — было написано на ее морщинистом дряблом лице.

И Повелитель растерялся, не зная, с чего начать и что сказать этой кичливой, самонадеянной старухе. А ведь во всем дворе он мог доверительно и откровенно, без намеков и осторожной словесной игры, разговаривать только с двоими — со старой служанкой и управляющим ханской казной. И он с трудом подавил раздражение и заговорил глухим, надтреснутым голосом. Он говорил резко, без обиняков и при этом, не спуская с собеседницы пытливых, зорких глаз. Старуха слушала его вначале по стародавней привычке вполуха, равнодушно, потом в ее белесых, почти без ресниц, старческих глазах на мгновение вспыхнул подозрительный блеск, и она недоверчиво скосилась на Повелителя, как бы спрашивая себя: "Интересно, всерьез

он это говорит или просто хочет что-то выведать и, как всякий господин, затевает со своей служанкой непонятную игру в кошки-мышки." Но то ли постеснялась или оробела, то ли мгновенно сообразила, куда клонит Повелитель и что именно гложет его душу, она отвела взгляд, погасила любопытный огонек в глубине зрачков и опустила тяжелые веки с жиденькими бесцветными ресницами. Дальше она слушала без интереса, но учтиво. Лишь в одном месте редкие щетинки на бородавке под горбатым длинным носом неожиданно дрогнули, встопорщились и тут же вновь легли смиренно. На бескровных, морщинистых губах обозначилось подобие улыбки. Повелитель насупился, осекся. Старуха спохватилась, тотчас погасила непрошеную ухмылку и поклонилась в знак покорности. Повелитель выжидающе молчал, вкогтив в нее колющий взгляд.

Настал черед ответ держать старухе. Даже после суровых слов Повелителя она не смутилась. Голос ее не дрогнул. Ее спокойный, уверенный вид, ровный голос, прямой, бесстрашный взгляд невольно подавляли Повелителя. Он старался, однако, не подавать виду, слушал молча, сосредоточенно. Он умел владеть собой. И сейчас глубоко упрятал душевную сумятицу, ни в едином жесте не позволяя прорваться волнению, а продолжал смотреть на старуху, цепким взглядом, каким привык допытывать многих.

И когда старуха, все выложив, умолкла, он дернул подбородком в знак того, что она может удалиться. Она еще раз поклонилась и не поплыла величаво, как прежде, а мелко-мелко засемила к двери.

Не в силах побороть неясную досаду, Повелитель задумался над словами старухи. Что за чушь она здесь молола? Не поймешь, где правда, где ложь. Выходит, они ловко провели наивного зодчего, и тот на самом деле обнимал не ханшу, а смазливую служанку? Значит, испугавшись гнева и кары Повелителя, эти трусливые бабы прибегли к такой уловке? И ничего лучшего не могли придумать? Там, где проще простого было свернуть башку этому наглецу, бабье только навлекло беду на собственную голову. Подумать только, на что позарился безумец! За то, что он даже в мыслях покушался на честь Повелителя, и глаза его бесстыжие выколотить не грех. К тому же он ведь совершенно убежден, что ласкал невинное тело юной ханши. Даже вчера, сидя перед ним, он и не пытался скрывать свой грех. Значит, нужно выбить из его дурной башни эту уверенность. Значит, нужно песком засыпать

эти ненасытные глаза, жадно шнырявшие по недоступным прелестям ханши. А для этого легче всего отсечь ему голову. Пусть он своей молодой горячей кровью смоем гнетущую тоску в груди властелина. Пусть капля алой крови на кончике секиры палача смоем позорное пятно, оставленное им хотя бы и в мыслях на белоснежном супружеском ложе Повелителя. Только справедливое возмездие должно быть совершено так, чтобы посторонний глаз ничего не увидел и чужие уши ничего не услышали.

Но... возможно ли это? Недаром ведь говорят, что у молвы тысяча уст и тысяча ушей. Может, есть смысл отправить доносчиков и соглядатаев по базарам, пусть разноухают, о чем толкует толпа.

Повелитель всерьез подумал о том, как по-хански расквитаться с дерзким зодчим. Жажда отомстить придала ему бодрости. Сомнения, ржой изъедавшие волю, исчезли. На их место пришли ярость и ненависть.

Он с нетерпением ждал доносчиков, посланных на базар. Иногда болтливая чернь, совершенно не ведая о том, подсказывает самое верное решение. И на этот раз Повелитель надумал проявить терпение и объявить приговор после того, как ему доподлинно станет известно, о чем судачит черная толпа.

Ничего определенного, однако, доносчики не сообщили. Видно, слух о том, что молодой зодчий приглашен в ханский дворец, еще не дошел до простого люда. Тогда он немедленно отправил соглядатаев в ту часть города, где проживал творец голубого минарета. Выяснилось, что хозяин дома, где зодчий снимал комнату, всюду похвалялся, что, мол, его жильца пригласил к себе Повелитель, дабы поручить ему строительство новой мечети. Этот пустой слух пришелся Повелителю не по нутру. Он решил через несколько дней еще раз отправить доносчиков по базарам. К тому времени уж наверняка поползут кривотолки по поводу длительного пребывания молодого зодчего в ханском дворце.

Душные летние дни тянулись утомительно медленно, будто разморенная, надменная красotka прохаживалась в саду. Никаких достойных внимания вестей ниоткуда не поступало. Даже от Старшей Ханши не приезжал порученец. Узнав о том, что Повелитель все же не удержался и полюбопытствовал у служанки, кто прислал ему налив-"яблоко с червоточинкой, Старшая Ханша выжидающе насторожилась.

Странное ощущение охватило Повелителя, будто весь мир затаил дыхание и все вокруг сговорились, и теперь, не спуская глаз, сквозь все невидимые щели следят за каждым его движением. И уже порой мерещилось, что он, Повелитель, отправил не дерзкого юнца в подземелье, а сам себя приговорил к заточению. Так он и маялся целыми днями в одиночестве. Он был на распутье, ибо прекрасно сознавал, что не может одним махом решить это путаное и скользкое дело, пока не прощупает настроение толпы и не узнает ее мнения. Ведь он, даже будучи всемогущим, не может позволить себе роскошь поступать необдуманно, как заблагорассудится, ибо привык каждым своим поступком, даже каждым изреченным словом неизменно удивлять и поражать своих подчиненных и верноподданных, а для этого необходимо точно предвидеть все возможные прихоти презренной толпы, от которой исходят потом легенды. Сколько бы сейчас ни думал Повелитель, он не в силах был понять, что замышляет и что утаивает столь знакомая и в душе презируемая толпа, которая, бывало, раньше подхватывала и распространяла любое его решение со скоростью степного пала в засушливую пору. Казалось, толпа исподволь мстила ему, злорадствовала, дескать, а ну, всесильный владыка, попробуй-ка обойтись без нас, без помощи нашей быстроногой молвы.

По-разному думал Повелитель о причине глухого безмолвия вокруг него, однако ни одно из предположений не имело достаточного основания. Было уму непостижимо, что в таком громадном городе не нашлось ни одного пустобая, который что-то сказал бы о таинственном исчезновении молодого зодчего, чьим творением — голубым минаретом — уж сколько времени любовались все. Столько разношерстного народу с утра до ночи толпится на ханских базарах, и ни одна живая душа ни словом не обмолвится о величественном минарете! Неспроста все это уже похоже на тайный сговор. Есть что-то зловещее в этом молчании. А может, то ужасное, о чем он догадался только сейчас, всем вокруг давным-давно известно? Ну, конечно, известно! Люди, разумеется, успели на все лады истолковать всем доступный, откровенный намек, заключенный в таинственном облике минарета. Какая тут, к дьяволу, тайна, если она понятна и слепому?! Нельзя же уповать на то, что доступное Повелителю недоступно глазастой черни. Все она видит, все понимает. Ясно ей также, что одно

оброненное случайно слово об этом может стоить головы. Вот почему все как воды в рот набрали. Но неужели среди многочисленного люда нет ни одного болтуна?! Неужели все так опасаются ханской кары?! Как бы ни боялись кровавого его меча и какой бы жестокий порядок ни царил в его владениях, немисливо запереть на железный замок людскую молву.

Ни на один из этих вопросов, назойливых, как мошка в предзакатный час, он не находил вразумительного ответа. Ощущение было такое, будто он погряз в болоте и с каждым шагом его все больше и больше засасывало в топь. Погруженный в беспросветные думы, сидел он неподвижно и смотрел на кованую дверь. В таком томительном ожидании проходили дни и недели. И наконец настал тот долгожданный час. Тихо отворилась тяжелая дверь, и в зал, точно уж, вполз доносчик. Добрел, грохнулся на колени, униженно согнулся перед властелином.

— Ну, говори! Что узнал, что услышал...

Доносчик, боязливо взглядывая на Повелителя, заикаясь, заговорил. По его словам, в народе ходит слух, будто великий Повелитель, опасаясь, что такой величественный и единственный в своем роде минарет появится, кроме его столицы, еще где-нибудь, распорядился молодому зодчему выколоть глаза. Повелитель недоверчиво и долго смотрел на доносчика — и небрежным кивком указал на дверь. Доносчик так же неслышно выскользнул.

Повелитель решительно вскочил, словно сбросил с плеч невероятную тяжесть. Ничего не скажешь: то, что болтает черная толпа, достойно внимания. Ведь и впрямь очевидно: такой загадочный, многоликий минарет, то радостно и светло улыбающийся, как влюбленный юноша в предвкушении скорого свидания, то тихо грустящий, словно невинно обиженный ребенок, должен украшать только одну столицу, ту, в которой правит могущественной державой великий Повелитель, обладающий самой тяжелой и дорогой короной и самым высоким и неколебимым тронem в мире. Нигде больше не должен воздвигаться подобный минарет. Безжалостную, страшную судьбу, уготованную всем редчайшим талантам испокон веку, должен разделить и молодой зодчий. Ни в какие времена ни один властелин не упускал из своих рук таких щедро одаренных самим создателем самородков-одиночек. Чернь сама вынесла приговор своему Мастеру.

И да будет так! Вокруг таких творений, как этот минарет, неизменно рождаются легенды. Одна из них — очень приемлемая — родилась сегодня. Легенда, столь доступная легковерной толпе.

В этот день впервые за долгое время Повелитель отправился в сад на прогулку. Задумчиво сидел он у своего любимого укромного родника. Весело, беззаботно журчащая глубинно-прозрачная вода, как и прежде, ласкала слух и успокаивала, убаюкивала встревоженную, усталую душу. Боль и тяжесть в висках по-понежному отпускала, утихала, как бы растворялась, и Повелитель с облегчением подставлял оголенную грудь нежной воздушной струе, ворота блуждавшей в густых зарослях. Разморенная тишь дремала вокруг. Игривый родничок неустанно похихикивал. Листья на верхушках деревьев мелко-мелко вздрагивали, таинственно перешептывались. Созвучие и согласие царили в природе. Видно, только люди сами для себя придумывают муки. А ради чего? Сначала растревожат, взбудоражат себя, потом тщетно пытаются взнудать душу и доводят себя до отчаяния, до умопомрачения. На самом деле нечего себя терзать. Все проще простого. Безумец, оказавшийся рабом вожделения, должен понести суровое наказание. И никогда уж он не будет строить дивные минареты, не будет смущать невинные души, не сможет соблазнять своим колдовским печальным взором неопытные женские сердца. Поганым кинжалом, которым выколачивают не в меру буйных жеребцов, прикажет Повелитель палачу выколоть совращающие душу глаза молодого зодчего. Но и это еще не все. Чтобы этот наглец, думающий про себя, что обладал юной ханшей, никому не мог сболтнуть об этом, Повелитель прикажет также же отрезать ему язык. И тогда пусть он, слепой и немой, прозябает во мраке, как червь, как последняя богомерзкая тварь...

В эту ночь Повелитель спал спокойно. Наутро он уже собрался было пригласить к себе начальника подземелья, как совершенно неожиданно отворилась дверь и на пороге появилась Младшая Ханша. Она отвесила сначала низкий поклон, потом мелкой, неслышной походкой направилась к нему в глубь зала. Подойдя, вконец растерялась. Ярко сверкнул крупный яхонт на лбу, блеснули два черных глаза, и Повелитель сразу заметил, как глубоко они ввалились. И личико побледнело, осунулось. Ханша, как бы пряча свою растерянность, села боком. Приход ее был столь неожиданным, что и

Повелитель явно опешил. Все мысли мгновенно спутались, давно неизведанная жалость, сочувствие к этой маленькой, несчастной женщине пронзили его, и он невольно протянул к ней руку. И следующее мгновение, стоило только прикоснуться к ханше, она беспомощно, быстро-быстро задрожала, черными ресницами, и несколько прозрачных слезинок звучно капнули ей на платье. Она порывисто прильнула губами к его руке и рухнула к его ногам. Слезы хлынули теперь бурно, плечи тряслись. Еще вчера он считал ее самым противным и ненавистным существом на свете, а сегодня глядя на то, как она, словно неутешное дитя, рыдает у его ног, Повелитель растерялся. Неизвестно, как бы он поступил день-два назад, случись вдруг такое, а сейчас, ведя перед собой измученную женщину, он почувствовал к ней одну острую жалость. Он наклонился, осторожно приподнял ее, усадил рядом. Слов не было, и, должно быть, подспудно Повелитель сознавал, что сейчас они ни к чему. Он взял в ладони ее маленькие, мягкие руки и молчал. Ханша плакала.

Безудержно, долго. Слез за последние дни накопилось столько, что она не могла их, видно, так скоро выплакать. Но в молчании Повелителя она почувствовала сострадание и понемногу успокаивалась. Когда бурный приступ слез иссяк, она виновато оглянулась и вовсе сжалась, поникла. Она не представляла, как ей быть, что делать дальше. Повелитель тоже ни о чем не спрашивал. Так и сидели молча. Первой не выдержала она: спохватилась, встала, смущенно поклонилась и направилась к двери. Там она замешкалась, обернулась и очень тихо, глухо, через силу, спросила:

— Мой господин, скажите: это вы распорядились посадить зодчего в заточение?

Он был удивлен этому неожиданному вопросу, однако скрыл удивление, спокойно ответил:

— Да.

Юная ханша вспыхнула. То ли вдруг поняла бестактность своего вопроса, то ли какое-то непонятное чувство обожгло все ее существо — кто знает... Она вновь пыталась кинуться к его ногам, но он удержал ее за руку.

— Он... ни в чем не повинен, — торопливо проговорила она. — Ничего... не было.

— Знаю.

Ханша быстро подняла на него глаза, как бы желая удостовериться в правдивости его слов. Ее удивило то, что на лице Повелителя она не заметила ни тени гнева, Ханша вышла. Он молча и долго смотрел ей вслед, Повелитель тоже никак не мог опомниться после этой неожиданной встречи. Еще не бывало, чтобы даже Старшая Жена осмеливалась заходить к нему без спроса. Как же Младшая Ханша на такое решилась? Или уже не в силах была перебороть тоску по нему? Ведь после возвращения из похода она ни разу еще не видела его. Могла и соскучиться. А потом, надо полагать, и до нее дошли слухи о наливном яблоке с червоточинкой, которое прислала ее соперница. Видимо, ей стало неважно терзать себя сомнениями, и она решила покончить с тягостной неопределенностью, и потому ее приход — не дерзость и не смелость, а просто отчаяние.

Сейчас она удалилась в свою опочивальню, должно быть, успокоенная и удивленная его милостивой неясностью. Но почему, почему она ни с того, ни с сего спросила первым делом о молодом зодчем? Неужели лишь забота о нем толкнула ее на этот безрассудный шаг? «Он ни в чем не повинен». Что это значит? Может, она решила предотвратить жестокую, но справедливую кару? С какой стати заступается за него, да еще и просит, умоляет? Неужели его короткое «знаю» она приняла за прощение?

Да, конечно, Повелитель знает, что между ними ничего не было. И все же он не вправе простить преступную дерзость безумно влюбленного юнца, который, презирая гнев владыки и саму смерть, покушался на святая святых — на мужскую честь и достоинство великого Повелителя. Да, нужно скорее привести в исполнение приговор, заранее вынесенный, точнее, подсказанный бездумной, крикливой и нетерпеливой толпой.

И все же Повелитель не мог разрешить терзавшие его сомнения. Уходя от него, ханша у порога обернулась, и в ее кротких, чистых глазах мелькнул вдруг страх. Чего она испугалась? Она ведь не впервые видела его холодное, непроницаемое лицо. Или насторожилась, поняв, что ее сокровенные слова не возымели никакого действия? А как он, собственно, должен, по ее мнению, поступить? Что обязан сделать? Выпустить на волю молодого зодчего? Ничего ужасного или пугающего он ей не сказал. Ни в чем ее не упрекнул. Тогда чем объяснить ее испуг? Или она все же тревожится за судьбу

зодчего? С какой стати она жалеет глупца, который едва не растоптал ее честь?

Если здраво рассудить, не она сама обязана была возмутиться домогательством безродного горшечника, рассказать о его безрассудных притязаниях и добиваться, сурового наказания для него — позорной смерти, дабы уберечь честь и заткнуть вонючие рты болтунов и сплетников? А вместо этого она неожиданно вваливается к Повелителю и если не открыто, то вполне прозрачным намеком вымаливает снисхождение. Нет, нет... Все это неспроста.

Ведь, сколько душевных сил, волнения и решимости понадобилось робкой и стыдливой ханше, чтобы прийти вдруг в утренний час к Повелителю! Прийти, заведомо зная, что навлечешь на себя его беспощадный гнев!

Этот поступок почти равносителен сознательному самоубийству. Выходит... выходит... Как тогда понять слова старой служанки? Как понять трогательное признание самой ханши, только что сказавшей: «Ничего... не было»? Неужто все ложь, обман, бабья уловка? Странно... Странно... Все же, видно, этот загадочный минарет, денно и ночью преданно и умоляюще заглядывавший в окно юной ханши, сумел смутить ее душу, заронить в ее сердце искушение любви. И когда, жалея изнывавшего от похоти наглеца, она послала к нему юную смазливую служанку, ханша заботилась не столько о своей чести, сколько о безопасности, о сохранении жизни молодого творца сказочного минарета. Значит, уже тогда она испытывала к нему преступное чувство. Значит, и тогда ничуть не осуждала влечения и намерения ослепшего от страсти юнца.

Только суровый дух, витавший над дворцом златокоронного властелина, чудом удержал ее от заурядного блуда.

Мысли Повелителя, точно замороженный змеей воробышек никак не могли распрямить крылья и беспомощно трепыхались на одном и том же месте. Но злая догадка, возникшая вдруг, словно кочка на ровном месте, приковала к себе внимание и вывела его думы из тупика. Вполне возможно, что ханша не только сочувствовала молодому зодчему, возжелавшему ее горячих объятий, не только жалели его, но и сама воспылала к нему ответной любовью. Память услужливо подсказала ему ту ночь в опочивальне ханши. Да, да, вот она, отгадка всех тайн... Значит, мужчина, которого в бреду так горячо

ласкала ханша, был некто иной, как этот смазливый юноша. Лишенная возможности встречаться с ним наяву, она наслаждалась им во сне. Выходит, в мыслях, в душе она предавалась с ним неистовой любовной страсти. Выходит, он, безродный юноша с горящим взором, ей дороже, желанней, милей богом данного всемогущего супруга... И разве то, что она осмелилась прийти сегодня к нему, не есть еще одно доказательство готовности принести себя в жертву ради своего возлюбленного? А он, всемогущий властелин, подчинивший своей воле половину вселенной, размяк, точно мальчишка, разжалобился, едва увидев на ее глазах слезы. Проявил несвойственную ему слабость, забыл, что бабьи слезы, как золото в руках фокусника, — одна видимость, ложь. Разве он в ту злосчастную ночь не убедился собственными глазами, насколько верна она священному супружескому ложу? То, что немислимо совершить наяву, она совершила во сне, переступив через стыд и сорвав запретный плод. Выходит, если она в действительности, в жизни еще щадила честь венценосного супруга, то это вовсе не было проявлением целомудрия, а самой обыкновенной, дешевой уловкой всякой бабы, которая, впервые очутившись с мужчиной на узкой постели, сопротивляется лишь для видимости и только жеманства ради отталкивает шарящие по ее чреслам жадные мужские руки.

И когда эта догадка так явственно вспыхнула в душе Повелителя, он почувствовал в груди такую боль, будто его ударили ножом. Ему, прожившему и повидавшему так много, никто никогда не наносил такой болезненной раны. То, что он почувствовал сейчас, не было похоже на те давние обиды и унижения. Жуткая слабость враз подкатилась к его ногам, и он закачался, невольно сжался, понуро опустил усталую голову.

Жизнь Повелителя неожиданно лишилась всякого смысла, Полное безразличие ко всему овладело им. Доносчиков, доставлявших с базара слухи и сплетни, он выслушивал нехотя, вяло. С казнью молодого зодчего, томившегося в подземелье, он тоже не спешил. Ненависть, еще вчера обжигавшая грудь, погасла. Бесконечные и однообразно-унылые мысли, посещавшие его в одиночестве, обесмысливали все, что раньше, бывало, волновало кровь, будоражило ум, взывало к действию. Как-то разом исчезли все желания, и некуда было спешить. Не было даже сил и желания додуматься до причины, породившей столь непривычную вялость духа. Какое-то странное, опустошенное состояние. Тихая печаль исподволь подтачивала силы. Невидимая хворь сгибала спину, давила на плечи, душила. А не было боли, которая ощущалась бы остро, не было кровоточащей раны.

Он чувствовал себя оглушенным, словно — буйный осетр, ненароком наскочивший на камень. Он умел предугадывать все на свете, видел даже то, что происходило на краю земли, и вдруг неожиданно-негаданно наткнулся па такой удар, который ему не снился и в страшном сне.

Пока он не сомневался в одном: молодой зодчий будет жестоко наказан, как и все, кто однажды посягнул на его величие. Однако никакая кара, никакие муки — он чувствовал это! — не в состоянии утолить, удовлетворите его месть. Даже черная кровь, истекающая из его греховного сердца, не принесет облегчения душевной ране Повелителя. Наоборот, пролитая кровь безумца умалит и даже сведет на нет и яростный гнев, колотящий его ста реющее тело, и слепоглазую ненависть, бешеной кошкой раздиравшую его душу, и вообще весь остаток жизни, отпущенный судьбой на долю венценосного властелина. Недавно его могучий дух, казалось, был способен сокрушать древние Капские горы, а сейчас его, лишенного и ярости, и ненависти, и гнева, покорно понесло по течению жизни, будто случайную соломинку по бурной реке. И надо было честно сознаваться, то, что уже столько дней ржой подтачивало душу, не было ни обманом, ни обидой, ни унижением, а просто глухой досадой. Так

па что лее досадует великий Повелитель? А на то, что, всецело распоряжаясь судьбой и жизнью людей и народом, обитающих в подвластном ему мире, он был бессилён овладеть сердцем и душой одной лишь маленькой и такой беспомощной женщины, которую издревле принято считать низкородной и недостойной! И еще ему досадно от того, что два человеческих существа, разделяя супружеское ложе, так и не смогли слиться в единую душу. Получается, что за этой жалкой досадой скрывается самая обыкновенная обида. Обида на кого? На Младшую Ханшу? Неужели он, венценосный властелин, может обижаться на длиннополую бабу? Рад был бы Повелитель отмахнуться от этих назойливых, роящихся, как мошка перед ненастьем, мыслей, только сейчас это было выше его сил. Да и что еще ему осталось, как не забавляться бесплодными думами, чтобы только не свихнуться от беспросветного одиночества...

Жизнь, обособленная от других, давно ему в тягость. Всегда и всюду один, один, точно бельмо в глазу. Он был лишен возможности, как всякий отец, радоваться своим кровным детям и, как всякий супруг, наслаждаться любовью жены. Так и выросло целое потомство, его дети и внуки, выросло, возмужало, коней оседлало, разбрелось по всему свету, не познав его отцовских ласк и нежности. А он Повелитель, по-прежнему один, одинок и дома, и походах, один, как бог. Разбив одного за другим большинство врагов и засыпав их завидующие глаза песком, надумал пожить немного в свое удовольствие и привел в свой дворец Младшую Ханшу. Нет, вовсе не для того, чтобы на старости лет обновить, как говорится, запах постели и тешить свою похоть с молодой, а для утешения души, истомленной одиночеством. И он был рад и доволен своим удачным выбором: несмотря на молодость, ханша оказалась поразительно сдержанной, покладистой, ровной как в проявлении своих чувств, так и в повседневном поведении. А когда он, возвращаясь из похода, еще из далека увидел дивный минарет, подпиравший небо, он сразу догадался, что ханша воздвигла его в честь горячо любимого супруга, и душа его возликовала.

Та радость, теплой волной растекавшаяся по жилам, теперь улетучилась, уплыла, точно серебристые нити в прозрачном осеннем воздухе. И было досадно, что не только искренность и любовь ханши, но и весь огромный бранный мир и все-все в этой юдоли печали

поистине мимолетно и фальшиво. И еще было досадно от того, что ему стало вдруг ясно: тот, кто родился однажды обыкновенным смертным, может, конечно, заарканить судьбу и высоко подняться над копошащимся внизу презренным человеческим родом, по от изматывающего душу одиночества ему никогда не избавиться, пока он не закроет навеки глаза и не очутится под землей, принявшей в свои объятия тысячи ему подобных. Но всех ли смертных ожидает равная участь? Разве ведомо одиночество тем, кто привык довольствоваться малым и любовно делит между многочисленными своими отпрысками крохотное счастье и благо, выпавшие им на долю? Такие не ропщут и, видимо, в этом находят свое житейское счастье. А стремление к большему неизменно сопряжено с потерями, и потому простой смертный предпочитает довольствоваться тем, что есть. И какими бы красивыми словами не называли мы свои стремления — мечтой, порывом или целью, в конечном счете это все жалкие потуги, именуемые жадностью, ненасытностью, алчностью. А там, где правят эти низменные чувства, не может быть радости и наслаждения. Вот под его, Повелителя, властью чуть ли не весь подлунный мир, но хотя бы одну ночь спал он спокойно, хотя бы один день жил без забот? Тот же — выходит, не так-то уж много надо простому смертному. Богатство и слава, которых с таким рвением добиваешься, не стоят в сущности и копейки.

Младшая Ханша не утешилась ни богатством, ни высокой честью, а просто тоже затосковала по скромному человеческому счастью и обыкновенным женским радостям. И в этой своей столь естественной и понятной тоске она, помимо собственной воли, оказалась готовой пожертвовать и священной короной, и золотым тронном мужа. Она металась, не находила себе места в огромном пышном дворце, набитом золотом и драгоценностями, ибо не могла в нем найти желанного — пусть крохотного и замызганного — счастья. Ведомо ли ему то, к чему так страстно рвалась душа юной ханши? Есть ли у него самого то, чего так жаждала Младшая Жена? Да, у него есть трон, держава его огромна, и еще он обладает богатством, славой, властью, грозным именем. Только при всем желании он не может назвать это счастьем.

Какое же это, счастье, если в окружении невиданной роскоши и многочисленных единокровных отпрысков чувствуешь себя, как в голой пустыне?! Если в собственном дворце сидишь, как на иголках, и

затравленно озираешься вокруг, не зная, в каком углу подстерегает тебя опасность?! Если в опочивальню жены, куда днем и ночью запросто заходят все обыкновенные мужья, ты, будто вор, крадешься тайком, пряча от горничной и привратников глаза?! Если, считая себя всемогущим и всемогущим, с затаенным страхом прислушиваешься к молве, кривотолкам, пересудам праздной толпы?! Э, нет... верно говорят, что взирать на грешный люд с высоты своего недоступного одиночества естественно лишь для бога. Непомерные слава, сила, власть, богатство, талант, обваливающиеся иногда на одного человека, оборачиваются не счастьем, а бедой.

Разве может быть довольным жизнью зодчий своим искусством поразивший людей? Разве, счастлив он, Повелитель, покоривший тьму стран и народов? Нет! В сущности все они глубоко несчастны. Остальные простые смертные на земле имеют возможность на худой конец поделиться с кем-нибудь своим горем, своей тоской. У них же — Повелителя, молодого зодчего и юной ханши — и такой возможности нет.

Случись с кем-нибудь другим нечто подобное. Повелитель, как третейский судья, не смог бы вынести сурового приговора, ибо в душе сознает, что ни один из них не виновен. А сейчас ему не под силу проявить такое великодушие. Ведь в сущности и он, и зодчий, и ханша — жертвы судьбы, несчастные нищие, вымаливающие друг у друга сочувствие и сострадание. А какую помощь могут оказать друг другу бедняки? Чем поделиться с нищим? Нечем! И поэтому самое справедливое — осуществить волю, угодную толпе. Если уж необходимо непременно докопаться до истины, то вовсе не он, Повелитель, палач молодого зодчего, отмеченного божьим даром, а крикливый черный сброд, охотно распространяющий самые невероятные слухи, верящий гнусной сплетне, родившейся гнусной душе, и заставляющий верить других. И зодчий, и ханша, и он, Повелитель, — жертвы его жадных, пронырливых глаз и болтливой, мерзкого, как жало змеи, языка. И теперь, прояви великий Повелитель неслыханное милосердие и соедини судьбы двух несчастных молодых влюбленных, завтра же этот сброд, эта толпа поднимает невообразимый гвалт, шум, обвиняя его в мягкотелости, малодушии и бог весть еще в каких грехах, а недруги, тайные и открытые, подхватив молву из поганых уст черни, начнут злословить, злорадствовать над

ним. Все зло, все беды — от черни, Даже в несчастье зодчего виновата она. Даже кару для него придумала и подсказала Повелителю она. Пусть утешится презренная чернь! То, что рождено толпой, становится жертвой ее же слепой ненависти. Пусть этот люд верит своим рассказням. Лишь бы не догадался о том, что способно лечь пятном позора на честь и имя Повелителя. Значит, пока болтливая толпа не отреклась от своей молвы и не придумала другую меру наказания, разумно зодчего немедленно казнить.

Итак, в подземелье освободилось еще одно место. Раскаленной докрасна острой железкой кровавый палач выколол лучистые глаза вдохновенного Мастера, дерзко и гордо устремившегося к недоступной ему мечте. Несчастный юноша корчился от боли, был по-звериному протяжно, и тут палач беспощадной рукой отрезал ему еще язык. Измученного, окровавленного, почти бесчувственного зодчего связали волосяным арканом и темной ночью отвезли в какой-то кишлак на той стороне Большой реки.

Страшная судьба молодого зодчего никого в столичном городе не удивила. Подобную участь испытали многие даровитые мастера и художники. Правда, бывали и отчаянные смельчаки, одиночки, сумевшие избежать суровой ханской кары. Кое-кому удавалось подкупить палача, перехитрить злой рок, вырваться из города. Одни из этих редких удальцов и счастливицков потом навсегда расставались со своим искусством, осваивали другое ремесло, другие повидали родной край и доживали свой век на чужбине, ища милости у иных владык. Третьи, наиболее отчаянные и бесстрашные, дожидались смерти преследовавшего их правителя, возвращались на родину и, облагодетельствованные новым властелином, с прежним увлечением и усердием занимались любимым делом.

Зная об этом, Повелитель пожелал лично взглянуть на молодого зодчего уже после того, как ему выкололи глаза и отрезали язык. Убедившись в том, что в окровавленном, грязном мешке, перевязанном арканом, действительно находилось обмякшее тело зодчего, Повелитель распорядился отвезти его в дальний кишлак за рекой.

Глядя на обезображенного до неузнаваемости юношу, он, однако, не испытывал удовлетворения, как это бывало раньше при виде поверженного ненавистного врага. Даже грозные палачи, приволокшие к нему полосатый мешок, показались заурядными мелкими ворами, шастающими по чужим курятникам и хлевам. Повелителю не терпелось убрать мешок обратно, с глаз долой.

На утро следующего дня огромный ханский дворец почудился ему еще более тоскливым и пустынным. Доносчики, отправленные на

базар, не приносили никаких утешительных вестей. Казалось, этим презренным торгашам, вожделенно пожирающим глазами две чаши безмена, недосуг взглянуть на вершину голубого минарета. Внимание их всецело поглощено перебранкой, зазывными выкриками, копеечной торговлей, желанием надуть простодушного покупателя. В этот миг они наверняка и не помнят о существовании какого-то Повелителя. Выморочная тишина сковала город. Соглядатаи и доносчики Повелителя, под видом мелких торговцев и бродячих дервишей шнырявшие базарной толпе, ничего примечательного не услышали ни от горожан, ни от приезжих. Впечатление было такое, что всем все давно известно, и о случившемся нет смысла говорить. Доносчики растерялись и избегали встречи с Повелителем. Опытный глава ни службы встревожился: молчание толпы не предвещало ничего доброго. Он лично приглядывался к торгашам и купцам, тщетно стараясь узнать, что у них на уме, что скрывается в их бритых головах под мохнатыми шапками или засаленными чалмами, что означает сытая ухмылка под холеными черными усами. Он приказал усилить слежку за удачливыми торговцами не только на базаре и лавках, но и на улицах, в переулках, возле их домов.

На тесных улочках, на окраинах города слонялись толпами дервиши, нищие, бродяги, калеки. Шайка доносчиков увивалась вокруг купца, в доме которого обитал зодчий из Ор-тюбе, однако и от него ничего вразумительного не добились. Тот по-прежнему хвастливо рассказывал о своих похождениях, о том, кого победил в острологии и чей перепел оказался самым воинственным. Лишь однажды этот купчишка проронил невзначай: «Отец молодого зодчего когда-то тоже подвергался гонениям, умудрился избежать наказания и вернулся с чужбины через двадцать лет. На старости привел сюда сына, определил на стройку новой мечети и умер от чахотки. Посмотрите: и сын пойдет по его стопам. Дома у меня он оставил немало добра. Когда-нибудь обязательно за ним вернется...»

Начальник тайной службы не выпускал его из виду, подсылал к нему своих людей, те ловко втягивали неудержимого болтуна в спор острологов, подпаивали его, и войдя в раж, плел обо всем на свете, но ни единым словом не заикнулся об отношениях между зодчим и юной ханшей.

Повелитель был обескуражен. В осторожном молчании толпы таилось что-то подозрительное. В думах предположениях он проводил бессонные ночи. Каким образом можно расшевелить эту неожиданно онемевшую толпу? Почему она так упорно молчит, будто проглотила язык? С утра до вечера ходил взад-вперед, взад-вперед удрученный Повелитель по безмолвному залу. Казалось, он уже знал тут каждую пылинку и не на что было устремить усталый, блуждающий взгляд. Он вновь и вновь подходил к окну и каждый раз съеживался, наливался досадой в злобе при виде голубого минарета, молчаливо злорадствовавшего над ним. Иногда, казалось, минарет снисходительно подсмеивался над потерявшим покой владыкой. А вместе с ним, чудилось, усмехалась многотысячная толпа, копошившаяся у его подножия. Конечно, каждый, кто обладал здравым рассудком, прекрасно понимал, над кем и над чем смеется непокорно-величавый минарет, а понимая, не в силах был подавить и собственную ехидную ухмылку. Значит, если он желает избавиться от преследующей его всюду злорадной усмешки, он должен первым делом стереть с лица земли первопричину всех невзгод — минарет. Тогда сам по себе оборвется торжествующий смех толпы.

Но даже облегчения не успел почувствовать Повелитель от этой, казалось бы, спасительной мысли. Он тут же подумал, что, своей рукой разрушая минарет, он только подтвердит ужасную догадку, которая станет завтра в глазах толпы истиной, всегласно подтвержденной самим Повелителем.

Эта простая мысль так поразила его сейчас, что он в отчаянии схватился обеими руками за голову и, обессиленный, присел. Долго он так сидел, вконец убитый, раздавленный, и вдруг встрепенулся, вскочил, и хищный блеск появился в его потухших, старческих глазах. Наконец-то... наконец-то он нашел, нашел верный, желанный способ подавления мерзкой сплетни, вот-вот готовой сорваться с поганых губ толпы, в самом зародыше!

Да, да, это единственный и самый лучший, самый надежный способ! Все, что связано с голубым минаретом, до мельчайших подробностей известно лишь одному человеку — главному зодчему. Слухи, кривотолки могут исходить только от него. Следовательно, с него-то и нужно начинать. Все внимание настороженно молчащей толпы необходимо ловко обратить на главного зодчего. Ведь, надо

полагать, голубой минарет постоянно вызывает в его душе неприязнь и зависть. Уж кто-кто, а Повелитель совершенно точно знает, какой он, главный зодчий, завистник и как он ненавидит каждого, кто превосходит его талантом и мастерством. Значит, его и следует натравить на молодого соперника. Ему только намекни, и он один с кайлом в руке, как безумный, кинется на минарет. Вот тут-то его и поймают на месте преступления. Услужливые холуи тут же распускают слух: «Главный зодчий и приступе черной зависти пытался разрушить голубой минарет. Он же тайком оклеветал юношу перед Повелителем, и по его вине молодой мастер понес незаслуженную кару». Потом Повелитель сам объявит народу о преступных помыслах и поступках главного зодчего и приговорит его к жестокому, но в высшей мере справедливому наказанию. Шумливая и доверчивая толпа будет на все лады склонять слух о соперничестве и взаимной неприязни двух талантливых ханских зодчих, и тогда сами по себе отомрут и забудутся все сплетни о мнимых прегрешениях юной ханши. А краса и гордость его столицы минарет останется неприкосновенным.

Желание Повелителя расторопный начальник тайной службы исполнил за два дня.

Главного зодчего, закованного в кандалы, Повелитель даже не стал допрашивать. Только пристально и долго посмотрел на него, поседевшего и осунувшегося за одну ночь, и когда тот пытался было что-то сказать, приказал стражнику:

— Отрежьте поганый язык злому наветчику и заточите в подземелье. Пусть там сгниет!

На невинную жертву он глянул вслед с безразличностью. Много предательств и коварства перевидал и пережил Повелитель на своем веку, и поэтому особенно премии людей лживых, мелких и завистливых. Но в начальник он неизменно выбирал таких. Особенно над людьми искусства, над одаренными ремесленниками-мастерами, ювелирами, зодчими он непременно ставил человека грубого, вздорного, нетерпимого и завистливого. И в этом" Повелителя был свой тайный и верный расчет. Он ведь хотел, чтобы его столица была самой красивой и величественной. Для этой цели он собирал именитых, просим ленных мастеров во всего света. А степень одаренности мастера точнее всего определяет не добрый, душен и у человек, а злой завистник с мелкой душонкой. Значит, в этом случае

разумно прислушиваться не к хвале доброго приятеля, а к хуле недоброжелателя. Ибо так уж устроен мир, что самый зоркий, меткий глаз у завистника, у неудачника. У них поразительно чуткий нюх на талант. С таким же рвением и усердием они преследуют и чернят каждого, кто их превосходит хоть на золотник. Благодаря главному зодчему — тощему, пронырливому, плаксивому и занудливому мужичонке с прищуренными, бегающими глазками, с оттопыренными, каждый слух ловящими ушами — Повелителю удалось разыскать и подобрать дивных умельцев-чудодеев. Сам же главный зодчий ничего путного не совершил, ничего примечательного не достроил, кроме мрачной и сырой тюрьмы под дворцом правителя. Над входом в подземелье Повелитель приказал выбить на камне надпись: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!» Пусть этот наветчик и завистник убедится и справедливости ханских слов и заживо сгниет в им же достроенной тюрьме.

И оттого, что заточил в подземелье этого холуя с завистливой душонкой, Повелитель испытал большее удовлетворение, нежели от недавнего наказания молодого зодчего.

Весть о том, что главный зодчий брошен в подземелье, всколыхнула столичный город, но тут же забылась. Так от случайной искры ярко вспыхивает и тут же в пепел ворох сухого сена. Обрадовавшиеся было доносчики и соглядатаи вновь понуро опустили головы.

Из дворца Старшей Ханши не поступало никаких слухов. Повелитель хмуρο вглядывался в каждого, кто переступал порог его тронного зала, подозрительно следил за каждым шагом и жестом приближенных, допытывался, у кого, что на душе. Всюду ему чудились подвохи, намеки, иносказания. Он выискивал их в яствах на низеньком круглом столике, в постели, которую слуги меняли каждый день в одежде. Однако ничего достойного внимания не замечал. Все чинно, благопристойно, добропорядочно. И уже мерещилось ему, что все слуги, вся дворцовая челядь не только догадывались о самой затаенной его тайне, но и знали все, что творилось у него в душе, и теперь только и заботились о том, чтобы ненароком не возбуждать в нем новых подозрений и сомнений. И даже доносчики, целыми днями, точно псы, рыскающие по городу, наверняка щадили его и скрывали всячески правду, утешая его, как неразумное дитя, лживыми

льстивыми словами. И ведь самом деле, разве осмелятся они сказать подлинную правду глаза Повелителю? Разве страх за собственную шкуру не сковывает их язык? Значит, нужно полагать, все, что мелят они здесь, валяясь у его ног, не что иное, как наглая, трусливая ложь.

Жители столичного города давно уже поняли тайну голубого минарета. И толковали ее на всякие лады. Они, конечно, хорошо знают, почему подвергнут жестокому наказанию юноша-мастер и по какой причине вдруг заточен тюрьму главный зодчий. Более того, им ведомо, с какой стати, вернувшись из похода, Повелитель не отлучается из дворца юной ханши. Он ведь вышел из того возраста, когда никак не могут насытиться ласками жены. И, наконец, надо полагать, не любовью занят стареющий властелин. А не показывается он на глаза людей потому, что гложет его стыд и нечистая совесть.

От этих откровенных, уничижительных дум Повелителю становится не по себе. Он вскакивает, точно кто-то больно ущипнул его. Часами бродит он, сутулясь, по залу, потом отправляется в сад. Но и в безлюдном саду он не находит себе места. Тысячи глаз неотступно преследуют его, злорадно улыбаются из-за кустов. Неуютно на сердце, тягостно. Он поспешно возвращается домой. А что дом? Четыре безмолвные стены. Будто кто-то силком загнал его сюда. Не дворец — тюрьма. Без засова и замка. И не Повелитель он — узник. Без оков и кандалов. И вся его остатняя жизнь, весь мир вокруг — неволя, заточение. Даже самая малость, доступная последнему смертному, — видимость личной свободы — ему, Повелителю, не известна. Каждый шаг на виду, каждое слово на счету. Простые человеческие желания, прихоти и страсти ему чужды. Что бы он ни делал, он непременно должен удивлять и поражать людей. Если он будет делать и говорить то, что делает и говорит простой люд, он мгновенно окажется посмешищем в глазах праздной толпы. Те, кто его так усердно возвеличивал, возносил до небес и падал перед ним ниц, не простят развенчания ими же созданной легенды и начнут злорадствовать над ним и проклинать его с пеной у рта. Ибо черный сброд, именуемый народом, не желает признаваться в своей глупости и нещадно мстит кумирам, не оправдавшим его доверия.

Толпа издревле нуждалась в идоле. И вера ее — идолопоклонство.

И кто знает: не проклянут ли его люди уже теперь, не злословит ли над ним уже сейчас каждый встречный-поперечный?! Может, уже

хохочут до колик в животе над грозным Повелителем, который еще недавно молнией поражал иноземных правителей, сотрясал короны и свергал троны, а теперь, состарившись, не может, да-да, просто и не может справиться с молодой бабенкой, изнывающей от низменной похоти, жаждущей крепких мужских объятий, не в силах унять зуд вожделения в ее чреслах и потому забился в угол, словно трусливый, шелудивый пес. Разве болтливая толпа удержится от соблазна позлословить над всемогущим властелином, который, вместо того чтобы, подобно настоящему мужчине, открыто схлестнуться с удачливым соперником и отомстить обидчику, прибегает к подлым приемам и тайным козням? Вот уж почешет языки черный люд по поводу того, что-де после бога самый великий среди бессмертных оказался самым ничтожным среди смертных. Э, услышать бы только собственными ушами эту подлую болтовню, увидеть бы собственными глазами, как, рассказывая о нем, веселятся, нервничают, по ляжкам себя похлопывают неумные трепачи. Увидеть и услышать, как и что о тебе говорят, проще и легче, чем терзаться собственными сомнениями. Чем больше он старается заткнуть глотку праздной толпе, тем заметнее разрастается грязная сплетня о нем. Выходит, хорониться от чужих глаз в своем дворце бессмысленно и глупо.

Да, да, совершенно очевидно: лежать в сумрачном зале, подобно старому медведю в берлоге, не делает Повелителю чести. Нужно во что бы то ни стало вырваться из самовольного заточения, разорвав гнилые путы сомнения и подозрения. И пусть толпа говорит о нем, что и как ей заблагорассудится. Бывая на людях, он хотя бы по глазам их определит то, что они не посмеют высказать словами.

Возвратились бы сейчас старые добрые времена! О, он закатил бы пир назло глумливой толпе. Напоил бы всех до умопомрачения, развязал бы языки, вдоволь наслушался бы пьяной болтовни. Но сейчас нет никакого основания для такого торжества. Повелителю неизвестно настроение не только жителей его столицы, но даже единокровных сородичей и предводителей войска, правителей-эмиров. Кто знает, что у них на душе? А не зная этого, разумно ли собирать всех на пир?

Поразительно несуразно все получилось. Построенный в его честь голубой минарет обернулся для него злом. Связал его по рукам-ногам, сковал волю. Но почему Повелитель сам себя так изводит?

Разве он не грозный владыка, железной рукой взнуздавший мир? Что ему стоит собрать всех, кого он считает нужным, и прямо заглянуть им в глаза?! Нельзя же до скончания дней отсиживаться за каменной стеной. Пора ведь взять себя в руки, встряхнуться назло Младшей Ханше, этой гадюке, пригревшейся на его груди, назло Старшей Жене и ее чванливой свите, не спускающей с нее глаз. Ему, Повелителю, ведь под силу неожиданным поступком своим еще раз удивить и черный люд, и спесивую знать, привыкших с разинутыми ртами ловить каждое его слово. По крайней мере, он узнает все, о чем говорят и что думают разномастные холуи, толпами увивающиеся вокруг.

На другой день Повелитель вызвал старшего визиря. Тот боязливо протиснулся в дверь, не отрывая от пола Огромных выпуклых глаз, способных одним взглядом охватить все. С подчеркнутой учтивостью выслушал старший визирь наказ Повелителя и низко поклонившись, выскользнул из зала. Трусливая повадка старой лисы настораживала. Неужели оправдываются его подозрения? Неужели и впрямь все придворные догадываются о том, что творится в душе Повелителя? Почему пройдоха визирь прячет глаза и норовит скорее удалиться? Отчего тень ужаса на холемом лоснящемся лице? Может, боится участи главного зодчего? Может, опасается расплаты за то, что осмелился построить в отсутствие властелина уродину башню? Не исключено! Ах, зря он его так скоро отпустил. Немногие способны устоять перед его молчаливым гневом. Немногие выдерживают его испытующий взгляд. Повелителю захотелось вновь увидеть старшего визиря. Увидеть скорее и других придворных слуг, детей, наместников и военачальников. Интересно, как они себя поведут при встрече с глазу на глаз? Может, тоже начнут ерзать, отводить взгляд, юлить, прятать голову? Если так, значит, и они что-то знают, утаивают...

Еще несколько дней спустя великий Повелитель соизволил выехать на охоту. Целый караван — наездники-коневоды, лучники-охотники, барабанщики, повара, слуги, личная охрана, свита, конюшие, опытные псары с гончими, борзыми, волкодавами на сворках — медленно выступил из города и направился в сторону гор, смутно голубевших вдали в зыбком мареве. Лишь через день караван остановился на привал. Среди хребтов и зубчатых скал, на берегу бурлящей горной реки, в глухих, нетронутых зарослях дворцовая

челядь быстро раскинула шатры для военачальников и правителей: здесь высоко в горах и непроходимых лесах, богатых зверьем и дичью, предстояла пышная ханская охота.

Многолюдный красочный караван, поджарые легконогие скакуны, чинный, торжественный ряд обвешанных всеми видами оружия охотников, сладкое предвкушение удачи и забавы — все это живо напомнило Повелителю былую безмятежную, полную соблазнов и очарования жизнь. Горы и заросли заметно гасили нещадный зной в долине.

В день прибытия затеяли грандиозный пир. Вино лилось рекой. Все были возбуждены, говорили и кричали наперебой, но чуткий слух Повелителя не уловил ничего крамольного или примечательного. Все дружно и на все лады обсуждали предстоящую утеху. Хвалили лошадей. Хвалили собак. Хвалили ловчих птиц. Хвалили друг друга и самих себя. Рассказывали охотничьи байки. Выхвалялись меткостью, удачливостью, сметливостью. И слушая эту привычную бестолковую болтовню, Повелитель даже не знал радоваться ему или огорчаться. Казалось, все лукавят, разыгрывают его, ловко обводят вокруг пальца, и он поневоле опять насупил брови.

Ночь на привале он провел без сна. Вокруг в шатрах после вчерашней оргии спали беспробудным сном. Безмятежная тишь нависла над миром. Летняя ночь навевала сладостную дрему. Чистый горный воздух ласкал хмелем объятое тело. Где-то глубоко в сознании бодрствовало предчувствие радостной утренней предохотничьей суеты. Разве может быть большей услада для души? Из соседних шатров доносился причудливый храп.

Такая жизнь и вот такие ночи издавна особенно по душе Повелителю. Каждый из этих мужчин с оружием в руках, покорно следующих за ним хоть на край света, возвращаясь в столичный город или в кишлаки, в приземистые глиняные домики на тесных пыльных улочках, прекращается в опасность для него, в заурядного трепача, охотно распространяющего небылицы и сплетни о всесильном владыке. А в походе, когда они рядом с ним, каждый смотрит ему в рот, каждый послушен и покорен и старается непременно угодить. В такие мгновения ему чудится иногда, что все они — единокровные потомки: сыновья, дети, внуки и правнуки, будто бесчисленные ветви и побеги от одного могучего ствола. Стоит им только хоть, па один шаг

удалиться от мирной жизни, как они поневоле тянутся к нему, точно несмышлениши к родному отцу, ища у него опоры и поддержку. Вот и сейчас, глубокой лунной ночью, среди хмурых скал, в окружении непролазных зарослей, они предаются безмятежному сну, словно сорванцы-внуки, доверчиво прильнувшие к доброму и надежному дедушке. Как бы желая перекрыть их дружный, многоголосый храп, громыкает, гудит, ворочает камни норовистая горная речка у подножия хребтов. Чуткий слух Повелителя улавливает каждый звук, каждый шорох за тонкой шелковой завесой шатра. Знакомые, приятные ночные картины. Ни одного резкого вскрика, ни чуждого вопля, от которого немеет душа. И все же не спится...

Возле дальних шалашей беспокойно поскуливают гончие собаки: может, чуют звериные запахи? И за шатром кто-то едва слышно копошится, что-то вроде похрустывает, потрескивает. Должно быть, мелкая ползучая тварь приступила к своим ночным заботам. Вдалеке тонко вызванивают, стрекочут цикады. Все так просто, привычно, однако сколько причудливого, загадочного, непостижимого в этом мире!

Удушливый туман, словно чадом обложивший душу, несколько развеялся, поредел, но полная желанная ясность на сердце не наступала. Блаженная сонливость и тяжесть растекались по телу, но дух бодрствовал. Он испытывал страстное желание незаметно раствориться в ночной мгле, слиться с разморенной тишь. Как хотелось ему сейчас разом забыть и про трон, и про корону, и про золотистый ханский шатер над головой и упасть в ласковые объятия природы. Если бы он мог, как эти невидимые мелкие твари за шатром, жить в собственное удовольствие неприметной жизнью, лишенной суеты, обязательств и треволнений! Стать бы простым смертным, до которого никому нет дела, которому не ведомы ни людская зависть, ни вражьи козни, или пусть даже ничтожной тварью под ногами, лишь бы избавиться от необходимости быть постоянно на глазах, на виду у всех, точно бородавка на лице. Эх, выскользнуть бы сейчас незаметно из шатра и нырнуть в заросли! Какой бы завтра начался переполох, когда вдруг бесследно исчез бы Повелитель! Сколько бы родилось диковинных легенд о его таинственном исчезновении! А он, отсиживаясь в каком-нибудь укромном уголке, недоступном

человеческому взору, усмехался бы в усы, злорадствуя над бездонной людской глупостью...

Повелитель понимал всю нелепость своих неосуществимых мечтаний, но все же ему было приятно об этом думать. Смешно... Многочисленные стражники, расставленные в два ряда вокруг шатра и всего лагеря, не то что хана — муху мимо не пропустят.

Повелитель, в который раз подумал о том, что им же насажденные железный порядок и традиции, ременными путами связали его самого по рукам и ногам. И, вспомнив об этом, он почувствовал горький осадок в груди.

Вокруг стояла, однако, истомленная негой дивная ночь, сулившая отдохновение и усладу для души и тела, и Повелитель с досадой отмахнулся от недобрых предчувствий. Усилием воли он вновь направил разладившийся было настрой измученной души по едва заметной тропинке, обещающей впереди желанное пристанище, похожее на райский уголок. Эта тропинка незаметно уводила его все дальше и дальше от безмятежно храпевшей перед завтрашней охотой свиты, от суетной земной жизни, где происходит вечная борьба между добром и злом, отчаянием и надеждой. И казалось, дух его отдаляется от грешной земли, от опостылевшей возни людишек, и никогда, никогда уже не будет возврата.

Уже далеко позади остался проклятый край, край вечной печали и скорби, и Повелитель, освобожденный от тяжести власти, от пышных, золотом вышитых одежд, испытывал удивительную легкость. Даже почудилось ему, что он одет в ихрам — два куска несшитой белой ткани, — в котором истые правоверные совершают паломничество в священную Мекку. Вот он идет, шлепая босыми ногами по белесому пухляку. Вокруг простирается незнакомая местность. Среди древних, скудных гор, разрушенных зноем и ветрами, виднеется небольшой городок. К нему со всех сторон длинной вереницей тянутся, стекаются паломники. За ними, еле волоча ноги, плетется и он. От бесконечного выкрикивания каких-то молитвенных слов в горле его пересохло. Он давно охрип и, как бы ни надрывался, не слышит собственного голоса. Только губами пересохшими шевелит. Впереди возвышается длинный бурый увал. Толпа устремляется к нему. Лишь после полудня удалось одолеть его склоны. На вершину увала поднялся на поджаром скаковом арабском верблюде, покрытом дорогим ковром, старец в

огромной белой чалме. Восседавая в пышном седле, он раскрыл лежавшую на коленях тяжелую книгу и начал читать вразяжку величаво-скорбным голосом. Изредка голос его обрывался, и тогда короткую тишину оглашали нестройные вопли пилигримов:

— О, всемогущий! Покоряемся воле твоей, припадаем ниц к стопам твоим!

И при этом паломники приподнимали край ихрама и потряхивали им. Бесчисленное число раз слышал Повелитель эту смиренную мольбу из уст других, но сам никогда не произносил подобных слов. Он с трудом ворочал языком, долго шевелил губами, приноравливаясь к хору страждущих, по лицам которых текли слезы. Повелитель при всем своем старании так и не сумел выжать ни одной слезинки. Лицо его оставалось суровым и непроницаемым. Чтобы никто из усердно молящихся вокруг не обратил на него внимания, он также выпевал молитвенные слова и, смежив веки, низко опустил голову.

Старец на верблюде закрыл священную книгу и благоговейно сложил ладони перед лицом. Паломники опустились на колени. Потом, когда благословение было окончено и многоголосое протяжное «Ам-и-и-нь» прокатилось по увалу, бесчисленная толпа ринулась в долину. И Повелитель послушно потрусил вниз.

С земляных печей сняли казаны. Перед паломниками, усевшимися в длинные, тесные ряды, поставили большие деревянные подносы с кусками дымящегося мяса. После обильной трапезы паломники весь день отдыхали в своих шатрах. А потом направились в священный город, лежавший и долине. Перед ними находилась кааба — мусульманский храм, в стену которого был вделан черный камень, задернутый Новым черным покрывалом из Египта. Паломники остановились возле каабы. Служитель храма с треском разорвал старое черное покрывало на клочья и раздал их паломникам как священный талисман, приносящий праведникам радость и благо. Чуть вдали белело мраморное возвышение — минбар, с которого мусульманский проповедник — кади наставляет правоверных на путь истины. Над источником зам-зам возвышался небольшой купол. Как и все, Повелитель сложил ладони перед лицом и помолился. Потом со всеми вместе подошел к черному камню. От прикосновения губ и рук паломников поверхность его казалась отполированной. Нижняя же часть была еще шершавой, со множеством красных крапинок.

Паломники один за другим благоговейно целовали священный камень, но стоило Повелителю наклониться к нему, как камень, точно живой, отстранялся от него, уползал то в одну, то в другую сторону. Тогда Повелитель протянул к нему руки, но опять не дотянулся. Огромная толпа, выстроившаяся за ним, в нетерпении оттеснила его от камня. Повелитель повел-дернул плечами и мелкой трусцой, как это предусматривается ритуалом, трижды обежал каабу. После каждого круга он наклонялся к камню, чтобы прикоснуться к нему губами, но камень всякий раз ускользал от него. Повелитель, недоумевая, перешел на шаг, еще несколько раз обошел каабу, каждый раз пытаясь поцеловать камень, но тщетно. Другие паломники или дотягивались до него губами, или прикасались хотя бы руками, а от Повелителя камень увертывался, как от прокаженного.

Вместе со всеми он поклонился могиле пророка Ибрагима, построившего священный храм — каабу. Пил воду из священного источника зам-зам. Вода оказалась невкусной, солоноватой. От нее неприятно пощипывало в горле.

От каабы толпа направилась к двум горам — близнецам, протянувшимся рядом, — Саф и Мару. Послушно семенил среди паломников и Повелитель. Как наваждение, преследовало его жуткое видение: ускользая, мельтешил перед глазами черный камень. С того дня как Повелитель впервые облачился в ихрам и посетил священные места пророка, он рьяно исполнял все предписания праведникам, отрешившись от мирской суеты и житейских соблазнов. Он не пропускал ни одного намаза, вовремя совершал омовения, соблюдал пост, коротко стриг ногти и красил их хной, тело умащивал благовониями, истребляющими всякую нечисть сатаны греха Иблиса, на священный жертвенник привел белого верблюда. Вокруг каабы захоронены останки более ста святых, и Повелитель поклонился каждой могиле, ни одного святого не обошел подаянием. Укрыв свое брренное тело ихрамом, он не осквернял уста плодом с кроваво-багровым соком, не глядел на свое отражение, отрешился от мирских забот, не позволял себе думать о греховном, подавлял желания грешной плоти, не вступал в преступную связь с женщиной не только наяву, но и во сне. И теперь, когда он надеялся за все свои благочестивые деяния удостоиться желанного имени хаджи и покрыть голову высокой белоснежной чалмой, священный камень *каабы*

упорно отворачивается от него. За какие грехи выпало на его долю такое унижение? Разве не говаривали, что тому, кто хоть раз ступил босыми ногами на священную землю пророка, прошел через все испытания плоти и отчистил душу, припав губами к черному камню каабы, прощаются навсегда все большие и малые прегрешения? Почему божественная вода зам-зам обжигает ему пищевод, будто щелочь?

Идет-бредет толпа паломников, шлепая босыми ступнями по пухлой пыли. Задыхаясь и обливаясь потом, спешит за ней Повелитель. А перед глазами неотступно стоит черный камень каабы. Не стоит даже, а крутится, вращается, будто гончарный круг, катится перед ним. И как бы ни старался Повелитель — догнать не может.

Паломники добрались до низины между горами Саф и Мару, которые когда-то жена Ибрагима Агора обежала семь раз в поисках воды для единственного сына Исмаила. Бежит, бежит трусцой вконец обессиленный Повелитель, вопит, выкрикивает молитвенные слова: «О, всемогущий! Готов исполнить любую твою волю. Только не откажи в своей милости. Будь так же великодушен ко мне, как и к другим верным твоим рабам...» Впервые в жизни срываются с его губ такие жалостливые, покаянные слова. Но, видно, не доходит его жаркая молитва до всевышнего. Крутится, катится впереди священный камень каабы, и нет никакой мочи догнать его. Напрягая горло, он кричит протяжно, долго, в отчаянии: «О, аллах!.. Внемли мольбе раба своего! О, алла-а-ах!»

Повелитель проснулся. В ушах еще отдаленно звенел надсадный крик. Сквозь шелковый шатер проникал бледный свет. Видно, заря занялась уже давно. Снаружи доносились приглушенные голоса. Повелитель звякнул колокольчиком. В шатер тотчас вошел слуга, держа на вытянутых руках легкую охотничью одежду. Повелитель быстро оделся, вышел. Солнце уже поднялось на длину конских пут. Лошади были оседланы. Гончие, борзые, волкодавы нетерпеливо поскуливали, прыгали на сворках. На кожаных рукавицах сокольников, нахохлившись, сидели в колпаках ловчие птицы — беркуты, соколы, ястребы, пустельги. Их звонкий, резкий клекот вспарывал утреннюю тишь. Вдали в прозрачной сини ослепительно сверкали снежные вершины гор. Внизу, у подножия, монотонно рокотала речка. Без умолку щебетали, заливались на все лады бесчисленные птахи на

деревьях, словно понимая, что для них не представляют опасности эти вооруженные люди с собаками и хищными прирученными птицами. А вот зверь в лесу будто затаился, ушел куда-то.

Повелитель скосил взгляд на свиту, выстроившуюся рядом поодаль. Она мгновенно согнулась в учтивом поклоне. Повелитель сдержанно кивнул в ответ и сел на коня, которого держали под уздцы с двух сторон два коневода. Набросил на плечо лук, приторочил колчан со стрелами. И свита, и челядь поспешно взобрались в седла. Оглушительный, грубый рык керная разом разорвал в клочья прозрачную утреннюю тишину, дремуче нависшую над горами.

Первыми выступили выжлятники и доезжачие с керными и барабанами. Разделившись на группы, они направились к оврагам, буеракам и ущельям, утонувшим в густых зарослях. Они должны испугать зверье, выгнать его из засады на простор, на открытую поляну, туда, где томятся в предвкушении забавы Повелитель и его свита. Поодаль от них плотным кругом расположились охранники, оберегающие Повелителя от неожиданного нападения.

На месте стоянки остались слуги и несколько охранников, прочие отправились на охоту. Выжлятники едва ли не с вершин, откуда начинались ущелья и ложбины, травили зверя, выгоняя его из зарослей в открытую долину, где устроила засаду знатная свита Повелителя. Повара между тем с раннего утра копали продолговатые ямы, сооружали земляные печи, устанавливали котлы, заготавливали топливо.

Повелитель хмуро молчал. Ни словом не обмолвилась и свита. Раньше Повелителю нравилось, когда все вокруг угодливо пожирали его глазами, предугадывая каждое его желание, каждый каприз. А сейчас любой случайный взгляд впивался в него колючкой. Уж не жалость ли сквозит в этих скользких взглядах? И не унизительна ли эта жалость для всемогущего Повелителя? Отчего все вокруг так серьезны и молчаливы? Неужели все понимают, какой червь гложет его сердце? Бывало, прежде на охоте всех охватывало такое возбуждение, что на месте не могли стоять. А теперь все непроницаемо спокойны, точно истуканы. Да что там раньше. Вчера, да, да, вчера еще горланили, шумели за дастарханом. Сегодня же затаились, языки прикусили, выжидают. Может, услышали, как он кричал, вопил во сне? Если так, то они, разумеется, догадываются о

его состоянии. Любопытно, как они объясняют горячую мольбу своего Повелителя, униженно взывавшего во сне к аллаху? Должно быть, сейчас все только и думают о том, какая же душевная боль заставила Повелителя выказать тайну во сне, которую он так тщательно скрывает наяву? Возможно, они радуются про себя, считая, что их давнишние смутные подозрения оправдались?

Если бы до этого они пребывали в полном неведении, то вели бы себя сейчас совсем по-иному. Они просто не заметили бы каких-то перемен в душевном настрое своего господина или не придавали бы им значения. Исподтишка пылливо вглядывался Повелитель в своих нукеров, однако ничего, кроме крайней осторожности, желания незаметно улизнуть и фальшивого подобострастия, он не прочел в их окаменевших лицах. Иные чутко прислушивались к покрякиванию выжлятников, доносившемуся из дальних ущелий и буераков.

Когда Повелитель со свитой спустились в открытую долину, высоко в горах затрубили кернаи, дробно забили охотничьи барабаны. Могучее эхо прокатилось по ущельям. С грохотом посыпались камни, гулко зацокали копыта. Все разволновались, насторожились. Один Повелитель шелохнулся. Лай собак стремительно приближался. Нукеры, обеспокоено взглядывая на своего господина, с трудом сдерживали возбужденных коней. Повелитель и бровью не повел. Лишь когда гул, треск, грохот докатились до прибрежных зарослей, он едва заметно кивнул старшему визирю.

Многочисленная свита, отъехав на почтительное расстояние от Повелителя, вдруг завопила во всю мощь глоток и с улюлюканьем поскакала к оврагу. За нею стремглав понеслись дворцовые охотники. Еще несколько десятков всадников в одно мгновение нырнуло в дикие заросли по обе стороны горной реки. Избавившись от тягостной опеки свиты и дворовой челяди, Повелитель свернул к маленькому незаметному притоку на дне каменистого оврага. Здесь была укромная излучина, заросшая осокой и камышом. У ручья Повелитель спешился. Подошел к серому валуну у родника. Сел. Наклонившись, зачерпнул ладонью прозрачной студеной водицы, ополоснул руки, лицо. Потом снял с плеч лук, положил рядом. Расслабил пояс, прилег. Давно уже, находясь за пределами дворца, он не оставался наедине с самим собой. С утра сегодня никого не хотелось ему видеть. Пусть эти словоблуды

болтают о нем за глаза что хотят, лишь бы не толпились рядом и не смотрели ему угодливо в рот.

В густом разнотравье утонула окрестность. Утренняя роса на верхушках осоки не успела еще высохнуть. Зубчатые вершины скал, виднеющиеся из-за камыша, сверкали свежестью, словно чья-то колдовская рука омыла их ночью. Из-за мыса подул прохладный ветерок. Однако он не мог развеять тягостную духоту в груди. Вновь вспомнился предутренний сон. Здешние суровые снежные вершины совсем не походили на невзрачные, точно выжженные холмистые горы Арафа и Муздалиф, Саф и Мару, а сочные травянистые луга между ущельями, где в этот миг толпы охотников неистово гнались за зверем, на пыльную, опаленную Минскую пустыню, по которой с паломниками бродил во сне. Но и нещадный зной пустыни, и удушливая пыль, прогорклый запах гари, приснившиеся сегодня на заре, преследовали его и наяву. Он поражался тому, как живо запечатлелся в сознании неведомый ему далекий край. Или, может, в нем ожили воспоминания его сеида, не однажды совершавшего паломничества в священную Мекку? С какой стати приснилась ему вообще обитель пророка за тридевять земель? А-а, возможно, то дух предков наставляет его исподволь на путь истины? Может, и впрямь совершить ему хадж? Разве мало было на свете владык, раскаявшихся к концу жизни? Они отправлялись в Мекку, губами прикасались к священному камню каабы, сменяли корону на простую чалму, а золотой скипетр — на суковатый посох и нищими дервишами скитались до земле. Что их заставило отречься от былой славы и могущества? Может, те же душевные муки, терзания и сомнения? Но почему во сне священный черный камень не подпустил его к себе? Неужели из живущих на земле у него, Повелителя, больше всего грехов? Неужели он единственный не достоин прощения? Но разве не в священных писаниях говорится, что коронованные владыки — золотая опора всевышнего на земле? Неужели всевышний способен обрушить гнев свой на свою же золотую опору? Или он просто дал знак, что не место ему, Повелителю, среди толпы паломников и всякого нищего сброда? В таком случае почему уготовил ему судьбу, достойную каждого встречного-поперечного? Почему обрек на душевные терзания и муки, как простого смертного? Разве есть на свете большее унижение, нежели коварство блудливой женщины?

Много гонений и тяжелых испытаний пришлось ему изведать на своем пути, не однажды находился на грани отчаяния и корчился от боли, будто испил отравы, но никогда так не ныла измытаренная душа, как сейчас.

То были испытания судьбы, когда жизнь мужчины висит на волоске, но всегда есть шанс отстоять свою честь с острым клинком в руке. А теперь оказалась посрамленной честь, и верный клинок тут бессилён. Так зачем всевышний навлек на его голову такой позор? Чем уж он так провинился перед ним? Разве тем, что так усердно оберегал достоинство трона и короны, которыми облагодетельствовал его сам всевышний? Или виноват он в том, что безжалостно карал погрязших в блуде и грехе и с помощью огня и меча водрузил над иноверцами зеленое знамя пророка? Разве не во имя аллаха творил он жесткость? Разве не во имя черной толпы проявлял он твердость духа, поражая своими деяниями ее темное сознание, дабы она всегда помнила о величии аллаха, его сподвижников и о собственном ничтожестве?

Он ведь всю жизнь избегал легких понятий, упрощенных определений, приблизительных, зыбких измерений, столь удобных для ничтожной толпы, для рабов похоти и подлых страстишек. А мол-сет, его вина в том, что он всегда стремился думать о том, что не приходило даже на ум другим, и делать то, что не под силу остальным. Может, это кощунство? Возможно! Но его высокие порывы и благие намерения никак не могут быть отнесены к низменным прегрешениям, доступным любому презренному ничтожеству. Так ли... Разве и в основе кощунства не лежит корысть и алчность, побуждающие к распутству?

Не только безграничная власть, излишняя жестокость, но и неуместная доброта и щедрость — грех. А отец любого греха — чрезмерное вожделение, родная мать — ненасытная страсть. У тщеславия, сладострастия, властолюбия один и тот же корень. В сущности, отчаянный конокрад мало чем отличается от заурядной грязной шлюхи, чья постель никогда не пустует. Так же, как и упивающийся своей неограниченной властью владыка — от знатной куртизанки, ищущей выгоду в соблазнах своих пышных чресел.

Приходится признать горькую истину: его всемогущество, безраздельная власть, слава и честь так же призрачны, мимолетны и обманчивы, как и румянец на лице смазливой и похотливой бабенки

или как добро купчишки-крохобора. Это, конечно, так. Но вот что вызывает недоумение: священный камень каабы, приснившийся ему во сне, не шелохнулся, когда касались его губами отъявленные грешники, на совести которых не одна подлость, а его, Повелителя, верного слугу аллаха, черный камень упорно не допускал к себе. Может, зоркий глаз всевышнего подметил высокомерие и чванливость, укоренившиеся в душе Повелителя? Может, проявление надменности к себе подобным и есть тот грех, который аллах ему не прощает? Значит, в том, что священный камень каабы не подпускает его к себе, скрывается злорадный намек: мол, коли ты, коронованный всемогущий владыка, настолько вознесся и возгордился, что не желаешь признать даже своего зачатия в грехе и рождения от низкородной бабы, как и все двуногие на земле, то зачем пришел в обитель святого духа, где грешникам, осознавшим сердцем и умом свой грех, предоставляется возможность для покаяния?!

В таком случае какое утешение для души находят бывшие всеильные владыки, сменяющие на старости лет по собственной воле золотой трон на лохмотья бродяги — дервиша? Видимо, они заботятся не столько об отпущении грехов, как обычные смертные, сколько о том, чтобы не стать посмешищем в глазах толпы, когда бывшая, сила оборачивается старческой немощью, а грозные речи жалким лепетом. Ведь, как известно, грехи ничтожного смертного одинаково охотно прощают и те, кто стоит выше, и те, кто находится ниже. Если ты стоишь чуть выше, он припадает к твоим ногам, целует подол твоего чапана и угодливо бормочет: «Слушаю, мой господин!»

Если же вдруг, наказанный судьбой, ты оказываешься ниже его, он непременно проявит тошнотворное милосердие: «Несчастный! Горемыка! До чего он докатился?!» Не дай бог быть с простым смертным на равных. Этого он не простит. И, должно быть, всемогущие владыки, хорошо знающие повадки толпы, чувствуя, что судьба отворачивается от них, поспешно облачаются в рвань дервиша вовсе не потому, что в них вдруг проснулись раскаяние и потребность замолить грехи, а потому, что таким образом надеются спастись от злорадствующего взора. В самом деле, есть, вероятно, только один путь избавления от осуждающего, презирующего, унижающего и злорадствующего взора черной толпы, которой еще никогда и никому не удалось угодить, — отречься от короны и трона, совершить

паломничество в святую Мекку, изнурять плоть и дух и с посохом в руке, с котомкой за плечами в бродяжничестве провести остаток бременной жизни. Только тогда злорадство и месть, годами накопившиеся в черной утробе толпы, обернутся неожиданно жалостью, а во взгляде, недобром, подозрительном, мелькнет сострадание. И это означает, что ты стал неприметным беднягой, не вызывающим ни у кого зависти и злорадства. И душа твоя уже не корчится от обиды, унижения, от боли, от того, что какой-то смазливый сопляк осрамил твое достоинство и честь. Да и нет отныне никому дела до того, что творится в твоём сердце и какой чадный огонь опалает твою душу.

Повелитель почувствовал зависть к тем, кто может себе позволить жить незаметной, неприметной жизнью. Сон, который приснился ему на заре, был наверняка знамением судьбы, зовом духа предков. Он вспомнил: нынче ночью зародился двенадцатый месяц лунного календаря — зул-хиддже — пора ежегодных празднеств в священной Мекке. Повелителю не терпелось скорее встретиться с сеидом, чтобы тот растолковал ему заревой сон. Надо немедля возвратиться в столицу. Сейчас, как только выберется из буерака, он прикажет кернайщику протрубить отход. Он лишь теперь почувствовал, что больно отлежал бок на корявом камне, и хотел было повернуться на другую сторону, как из густых камышовых зарослей — почти рядом — донесся треск: кто-то двигался, безжалостно сминая камыш и валежник. Повелитель чуть пошевелинулся, и треск в зарослях оборвался мгновенно, Повелитель насторожился, встал. Ему почудилось что-то огромное, полосатое в камышах. В тот же миг оно, уже не таясь, медленно и неумолимо двинулось навстречу. Тигр!.. Подкрадывался упруго, по-кошачьи, пружиня огромное, ловкое тело. Странно, страха не было. Рука даже не потянулась к луку, лежащему рядом.

Промелькнуло: ах, вон оно что означал его предутренний сон! Вот почему, оказывается, священный черный камень увертывался от него! Просто это был знак скорой гибели. То-то же! Не должен же он, Повелитель, избранник и баловень судьбы, умереть заурядной смертью, как все ничтожные людишки на земле. Бог милостив: хану — ханская смерть.

Тигр был близок. Повелитель с тайной радостью и нетерпением ждал свою счастливую смерть, избавляющую его разом от всех душевных мук и глухой, безнадежной тоски. Сейчас... сейчас... вот в следующий миг он, наконец, навсегда, навсегда избавится от удушливой горечи, железным обручем сковавшей ему сердце. И никогда, никогда, нигде уже не будут преследовать его жадные, любопытные, осуждающее, трусливые и одновременно злорадные взоры презренной толпы. И заткнутся песком вонючие рты, охотно извергающие грязные сплетни. А черная толпа, всю жизнь не спускавшая с него глаз, подхватывавшая и распространявшая каждое его слово, начнет складывать легенды, сочинять на разные лады нелепейшие небылицы о его мужественной и мученической смерти и передавать их из уст в уста, из поколения в поколение.

Тигр прижал уши, напряжился, выгнул хребет. «Готовится к прыжку», — мелькнуло в голове Повелителя. Вон эти когти, острые, как ножи, сейчас вонзятся ему в глотку, а хищно белеющие клыки мгновенно раскроют череп. Крупная дрожь вдруг прокатилась по хребту зверя. Голова тяжело повернулась вправо.

Оказалось, кто-то из нукеров вышел на мысок и, заменив тигра, застыл, как вкопанный. Однако уже через мгновение опомнился и схватился за лук. Повелитель тоже взял лук в руки.

Джигит из свиты увидел, как смерть в облике полосатого хищника метнулась на него, но тут же словно застыла в прыжке и рухнула наземь. Повелитель спокойно и деловито повесил лук на плечо.

Так же неторопливо Повелитель подошел к поверженному зверю. Стрела точно угодила в сердце, и тигр, не успев развернуться в прыжке, судорожно корчился на земле. Повелитель, глядя на предсмертную агонию хищника, вздохнул: то ли подсадовал, что не суждено было осуществиться его жутким грезам, то ли просто пожалел издыхающего в муках царя камышовых зарослей. А потом, должно быть, неожиданно для самого себя едко усмехнулся. Видно, почувствовал Повелитель тайную гордость от того, что раньше своего телохранителя сразил зверя, иначе завтра ротозей-слуга начал бы корчить из себя спасителя своего господина и при каждом случае возвеличивать свои заслуги.

Повелитель вышел из буерака. Коневоды бросились к мысу, полюбовались могучим красавцем, распластавшимся на камыше, и,

колгоча, принялись сдирать с него шкуру.

В тот день в долине между гор только и говорили о неожиданном происшествии. О Повелителе, о тигре-людоеде красочно рассказывали охотники друг другу, возвращаясь по неожиданному велению в город. Один Повелитель сурово молчал. Невеселые думы вновь настигли его. В столицу вернулись на другой день к вечеру. И всю ночь в опочивальне ханского дворца не сомкнул глаз Повелитель. Сон, приснившийся там, на привале, и неожиданная встреча с тигром, угрожавшим гибелью еще больше разволновали и без того смятенную душу и сделали его существование еще более сложным, непонятым и тягостным.

Видимо, настала пора твердых решений. Судя по тому, как сам всевышний спас его от неминуемой смерти, от него ждут решительного поступка даже там, на небесах. Только в чем заключается этот поступок? Где и какое оно, решение? Такое, как приснилось во сне: сменить золотую корону на благочестивую чалму? Как бы там ни было, томиться в опостылевшем ханском дворце становится невмоготу. Необходимо встретиться с сеидом, рассказать ему о сне. Давно уже не виделись. Может, святой старец на него в обиде?..

На следующий день по холодку Повелитель поехал в повозке к сумрачным и голым холмам, тянувшимся к юго-востоку от ханской столицы. Эти места очень напоминали выжженный зноем и ветрами священный край, приснившийся во сне. Склоны сопок казались опаленными. Земля потрескалась, верхний слой почвы обуглился, будто здесь недавно прокатился степной пал. Чудилось, будто о пахло горелым. Посреди диковинного нагромождения шершавых валунов и меловых в причудливых трещинах увалов возвышалась на черном, почти недоступном крутояре скала с пещерой, обращенной к кубле стороне, куда поворачиваются лицом правоверные во время молитвы. У входа в пещеру что-то смутно белело. Потом с приближением повозки Повелитель узнал древнего старца в высокой белой чалме. Старец наверняка видел с высоты крутояра пышную ханскую повозку, запряженную цугом, слышал, вероятно, и переливчатый звон серебряных колокольчиков, однако не шелохнулся, продолжал сидеть, скрестив ноги и вперив взгляд в сторону священной обители пророка.

Повозка подкатила к подножию крутояра. Повелитель вышел и, как всегда, оставив здесь свиту, один поднялся на кручу. В какие бы дальние походы ни отправлялся Повелитель, на чью бы страну ни готовил поход, на чей бы трон и корону ни нацеливался, он сначала неизменно приходил сюда, к духовному отцу, святому отшельнику, и поднимался по едва различимой тропинке, вьющейся долго по песчанику, потом круто взбирающейся по глинистому обрыву. Перед решительной схваткой с врагом он должен был прикоснуться к редкой бороденке тщедушного, высохшего старца, получить его благословение. После него он отправлялся по обыкновению в самую большую мечеть своей столицы, чтобы отслужить намаз. Только потом он считал возможным выступить в поход. Но самый опасный, тяжкий и дальний поход не изнурял его тело и душу так, как этот крутой глинистый склон, по которому пролегал тропинка к святому отшельнику на вершине кручи. Странники, приходившие на поклон к старцу, так утоптали бурый склон, что он, казалось, лоснился на солнце. И раньше, бывало, Повелитель с большим трудом взбирался к пещере в скале, а сегодня ноги подкашивались уже с первых шагов. Оступаясь и скользя, упорно карабкался он вверх, но был вынужден часто останавливаться, чтобы перевести дыхание и унять заколотившееся сердце. Те, что остались у подножия, с недоумением взирали на Повелителя, поражаясь, зачем он обрекает себя на такие муки ради какого-то иссохшего старичишки, которого не стоит труда сдуть с вершины его добровольного заточения.

Крохотный старичок, сторбившийся у входа в пещеру, между тем, казалось, и не замечал великого Повелителя, который, задыхаясь и обливаясь потом, поднимался к нему. Святой отрешенно смотрел в сторону божественной Мекки. На маленькую голову его была накручена огромная белая чалма. Редкая белая бороденка, точно приклеенная к сморщенному пепельно-серому личику, придавала ему аскетически-суровое выражение. Маленькие блестящие глазки, обычно пытливо и пронизывающе глядевшие из-под насупленных, кустистых бровей, были на этот раз плотно зажмурены. Старик не шелохнулся и тогда, когда Повелитель, взобравшись, наконец, на кручу, откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. Подол ветхого выцветшего чапана на старике был изорван в клочья. Из-под рваных широких штанин высывались голые лиловые ступни. Пятки

потрескалась. Руки, иссохшие, землистые, с набрякшими синими жилами, крепко обхватили гладкий, потемневший от времени посох. Сеид был весь во власти дум.

Повелитель опустил перед ним на колени, сложил на груди руки, склонил голову. Только тогда старец, похожий на дремавшего одряхлевшего беркута, приподнял веко, повел зрачком. Потом он, точно очнувшись, выпрямился, поднял голову, старческим, надтреснутым голосом проговорил слова вежливости. Повелитель коротко и откровенно, как на исповеди, поведал ему обо всем. Старец выслушал его не перебивая, не шелохнувшись, с нескрываемым холодком. В уголках тонких, лиловых, дряблых губ под крупным хрящеватым носом с вывернутыми ноздрями несколько раз едва заметно пробегала язвительная ухмылка. И каждый раз, уловив ее. Повелитель прерывал свой горестный рассказ, и тогда мудрец шире открывал по-старчески мутные, бесцветные глаза, в глубине которых мерцал тусклый свет, похожий на блики луны в стылой лужице. Повелитель рассказал про недавний свой сон и неожиданную встречу с тигром во время охоты и умолк в ожидании ответа святого сеида.

Старец молчал, думал, скашивал пытливый взгляд на Повелителя. После долгой паузы прошамкал:

— Всемогущий создатель, священные духи и святые заступники не выказывают открыто своих желаний. Они лишь сочувствуют, сострадают, сожалеют верным и покорным рабам своим. И намеками наставляют заблудших на путь праведный. И знак их — что посох в руках слепца. Должно быть, сын мой, отпугнул ты духов, прогневил святых заступников. Подумай!..

И больше не проронил ни слова. Раза два ткнул острием посоха в рыхлую супесь, вытянул тонкую морщинистую шею, устремил мутный взор к закату. Намек был ясен: святой старец сказал все, что посчитал нужным, а остальное пусть решает сам Повелитель. Сеид всегда был немногословен и суров, но сегодня от него повеяло еще холодным высокомерием. Это настораживало. Каждый его жест, каждый взгляд больно отзывался в душе Повелителя. Но он старался скрыть душевное смятение, сдержанно поклонился и направился к тропинке. Сеид не поглядел даже вслед. Вновь погрузился в свои думы. И советом не поделился, и благословения не дал. Раньше, случалось, он сочувствовал ему, жалел, по-отцовски проводил ладонью

но лбу. На этот раз на лице Сеида он заметил только надменность, неприступность и старческую сварливость.

Спуск по крутому склону показался сегодня трудным, как никогда. Повелитель торопился покинуть эту суровую, сумрачную горную обитель. Дойдя до подножия, он оглянулся и увидел черную мрачную скалу, которая как бы замкнулась, затаилась под его взором. Он сел в повозку и до самого дворца старался ничего вокруг не замечать.

И дома, в ханском дворце, он долго не мог прийти в себя. Непонятное раздражение и досада душили его. У него даже не было сил ходить взад-вперед из угла в угол по просторному пустынному залу. Ноги, натруженные от подъема на кручу, будто онемели. Сидеть он тоже не мог: толстый пестрый ковер под ногами казался убогим пустырем, усеянным колючками и крапивой. Вся жизнь он придерживался непреложного правила: «Избегай тупика, из которого нет выхода. На всякий случай всегда оставляй лазейку!» А теперь даже оно обернулось кощунством. Он, златокоронный властелин, поработивший тьму народов, оказался в растерянности, точно неверная жена, которую муж застал наедине с любовником, или как вор, пойманный на месте преступления. И нет никого, кто бы мог помочь добрым советом. Даже тоску свою высказать некому. Если всерьез подумать, и у юноши-слепца, доживающего свой куцый собачий век где-то в грязных кишлаках за городом, и у томящегося в подземелье главного зодчего, и у Младшей Ханши, чья молодость — и краса вянут в ханских покоях, все же более завидная участь. Ведь у них на худой конец есть возможность рассказать кому-то о своем несчастье. Или хотя бы обижаться на кого-то. А кого он, Повелитель, обвинит в своих бедах? На кого ему обижаться? Златокоронный властелин может пожаловаться только на самого создателя. Но разве до него дойдут жалобы? Не то что создатель, даже сморчок-старичок, стерегущий святую пещеру на скале, и тот не желает иметь с ним дело. Сколько надменности было давеча в нем, будто это он своим посохом подпирает небо. Ведь в сущности он даже не удостоил его взглядом. Не дай бог быть кому-то обязанным на этом свете! Нет ничего более унижительного, чем зависимость.

Повелитель понял это еще в юности. Не потому ли с молодых лет он и боролся за власть, не щадя живота? Не потому ли он предпочитал

рабской покорности добровольное изгнание? Не потому ли он не однажды оказывался на узкой меже между жизнью и смертью? Да-а, тех лишений и унижений он не забыл до сих пор. И теперь еще, вспоминая порой о них, он чувствует, как ноет старая зарубцевавшаяся рана, как пронизывает все кости тупая памятная боль. Однако, всей душой ненавидя зависимость и рабство, он разве потом, познав власть, пытался проникнуться сочувствием к тем, кто стоял перед ним коленопреклоненным? Кого из робких он поддержал, кого из сирых искрение пожалел? На гордые головы он неизменно обрушивал гнев и ярость; на тех, кто униженно припадал к его ногам, он смотрел с безгливой жалостью.

Иногда он позволял себе проявление жалости. Но это не было потребностью души, а подачкой, которую небрежно швыряют калекам и нищим, чтобы только не видеть их гнусное обличье и не слышать смрад и зловоние, исходящие от них. Может, сварливый старец хотел ему просто преподать урок — показать унижительность зависимости? Или намекал на то, что и все сильного подстережет напасть? Но разве нельзя было это сказать просто и смиренно, без отчуждения и вызывающей надменности? Ведь раньше по какому бы путаному и тяжкому делу не приходил он к нему, старец, не роняя своей благочестивости, вел с ним пространную, задушевную беседу. А теперь обидную, уничижительную ухмылку, которая в последнее время и без того мерещится ему всюду, и откровенное злорадство, пристойное разве лишь кровному, и извечному врагу, ему довелось увидеть на лице сеида, издавна считаемого — после, конечно, создателя — самой надежной опорой и верным заступником. Да, да, истинно так: ядовитую усмешку, которую зловерная чернь тщательно скрывала от Повелителя, боясь его гнева и кары, этот тщедушный старец и не пытался даже погасить на своих дряблых губах. И сказал-то он ведь совершенно откровенно: «Должно быть, отпугнул ты духов, прогневал святых заступников».

Неужели отпугнул он духов тем, что сделал вид, будто не придает значения сплетням о Младшей Ханше? Неужели духовник считает, что Повелитель скрывает грех сжигаемой похотью бабы? И вместо того, чтобы кинжалом вырезать клеймо блуда на супружеском ложе, он, таясь от всевидящего людского взора, прикрывает его собственной ладонью? Как же, по мнению сеида, он еще должен поступить?

Выгнать Младшую Ханшу как неверную жену? Но на такой позор не решался во все времена еще ни один властелин! Как он может всенародно признаться в том, что какой-то низкородный бродяга, пришелец посягнул на ханскую честь? И не только посягнул, а совратил его богоданную жену! Как может святой отец журить его за то, что он неспособен решиться на поступок, достойный самого ничтожного врага?! Ведь в таком случае и слепцу видно, что он наказывает не грешницу-ханшу и не ее дерзкого любовника, а прежде всего самого себя.

Выходит, Сеид печется не об осуждении подлинных грешников, а хочет, чтобы злые языки трепали честное имя Повелителя? Это же невозможно! Этого может ему пожелать только Старшая Ханша, открыто ненавидящая свою соперницу и ради ее посрамления готовая жертвовать даже честью супруга. Но святой сеид, знавший с малых лет не только Повелителя, но и его отца, не может... да, да... не может и не должен с именем аллаха на устах и священным посохом в руках разделять и одобрять слепую ненависть и злобу долгополой *бабы*, у которой от ревности помутился рассудок. Какой же он святой, если он не может быть выше низменных страстишек презренной половины человечества?! Конечно, сам сеид оказался в плену сплетен, дошедших до него из дворца Старшей Ханши. Более того, злорадная усмешка, так явственно обозначившаяся на его старческих лиловых губах, прилипла к нему от подлых и пронырливых сплетников, которыми кишмя кишит обиталище Старшей Жены. Таинственная и злая сила сплетни сумела смутить душу святого праведника. Колдовство ползущих слухов оказалось сильнее мудрости и святости живого пророка.

В горькой усмешке искривились губы Повелителя. Он даже почувствовал нечто похожее на снисходительную жалость к святому старцу, которого так ловко опутали прожженные пройдохи и коварные потаскухи. И в самом деле, разве можно обижаться на беспомощного старика, сбитого с толку бесконечными слухами и подлыми дворцовыми интригами? Конечно, старец достоин жалости.

В этом лживом и продажном мире, где на каждом шагу твоей чести и достоинству угрожают позор и унижение, немудрено сбиться с пути истины и свихнуться с ума не только дряхлому старику-отшельнику, но и самому всемогущему творцу, из недоступной дали вззирающему равнодушно на презренный человеческий род. Конечно,

если сотворить мир сплошь из неумных, необоримых страстей и страстишек, разве можно не предаваться вожделению и греху?!

Человек рождается от греха. От него же находит свою гибель. Если всякая страсть в конечном счете грех, а грех — неизменный спутник всякого смертного, то и святой отец один из двуногих грешников на земле. Его набожность, отрешенность от всех соблазнов души и тела во имя всевышнего нужны только для того, чтобы возвысить себя в глазах черной толпы. Он действительно от многого на этом свете отрекся и отказался, но все же... не от всего, нет, нет, не от всего. Тщеславия он все-таки из себя не вытравил. И он отнюдь не прочь сохранять влияние на темный люд. Ему приятно, что его почитают, то припадают к его ногам. Он необычайно гордится тем, что к нему приходит и опускается перед ним на колени сам златокоронный владыка. А разве гордость, кичливость — не та же страсть?! Все неумеренное, преувеличенное — кощунство. А оно неизбежно приводит к греху.

Выходит, святой отец и великий Повелитель грешны в совершенно равной степени. Верно: Повелитель властолюбив, крутоправ. А разве святой отец уступает ему в этом? Разве то, что он проявил высокомерие и надменность к нему, Повелителю, благодетельствованному самим создателем, не свидетельствует о том, что святой сеид по пояс погряз в кощунстве и грехе? За искушителем Азазелем, как известно, покорно следуют лишь духовные слепцы, одурманенные чадом житейской суеты.

Выходит, святой отец не избежал этой участи, поэтому нет ничего удивительного в том, что он оказался в сетях лжи и подлости, расставленных услужливыми холуями Старшей Ханши. Лишь извечной человеческой греховностью можно объяснить поведение старца, оказавшегося под влиянием жены Повелителя, которая, конечно же, обеспокоена почтенным возрастом грозного супруга, судьбой трона и его наследников. Значит, святой сеид печется о сохранении не только нынешней своей влиятельности, но и об обеспеченном завтрашнем дне. И его легко понять, если исходить из того, что он не столько святой, сколько обыкновенный человек. Но почему он, будучи сам не без греха, так строго осуждает его, Повелителя, за человеческую слабость?

Ведь совершенно определенно говорится об этом в коране: «Человеку необходимо знать: аллах един, нет у него товарищей, не породил он никого и никем не порожден, нет равного ему, он не брал себе ни товарища, ни дитяти, и нет у него соправителей в царстве его. Он первый, который извечно был, и он последний, который никогда не избудет. Он властен над всем и ни в чем не нуждается. Пожелает он что-либо, он говорит: «Будь!» — И это станет. Нет божества кроме него, вечно живого; ни сон его не одолевает, ни дремота; он дарует пищу, но сам в ней не нуждается. Он один, пока чувствует себя одиноким, и нет у него друзей. Годы и время не старят его. Да и как могут они его изменять, когда он сам сотворил и годы, и время, и день, и ночь, и свет, и тьму, небо и землю, и всех родов тварей, что на ней; сушу и воды, и все, что в них, и всякую вещь — живую, мертвую и постоянную. Он единственный в своем роде, и нет при нем ничего, он существует вне пространства, он создал все посредством своей силы. Он создал престол, хотя он ему и не нужен, и он восседает на нем, как пожелает, но не для того, чтобы предаться покою, как существа человеческие. Он правит небом и землею и правит тем, что на них есть, и тем, что живет на суше и в воде, и нет правителя кроме него, и нет иного защитника кроме него. Он содержит людей, делает их больными и исцеляет их, заставляет их умирать и дарует им жизнь. Но слабы его создания — ангелы, и посланники, и пророки, и все прочие твари. Он всемогущ своею силою и всеведущ знанием своим. Вечен он и непостижим».

Значит, это вовсе не в воле Повелителя — добиться полного согласия в мире, который сам создатель сотворил с изъясном. Если сам всевышний, создавая свой огромный мир, наделил каждую тварь разными недостатками и слабостью, дабы ему сподручнее было удерживать их всех в своей власти, то почему возбраняется земным владыкам точно таким же образом держать в узде чернь? Зачем осуждать смертного за то, что он лишь повторяет ошибки творца! И если создатель в душе опасается кое-кого из нечестивцев, которых сам же и расплодил, то почему бы Повелителю не испытывать подозрения к подлому человеческому роду? А может, деяния и отношения всевышнего к единичным избранникам судьбы не распространяются на всех бесчисленных представителей бедного человеческого племени? Может, создатель искренне убежден, что только ему

позволительно творить чудеса, проявлять неслыханное великодушие или ниспосылать страшную кару, а всем остальным подобные поступки просто непосильны и недоступны? В таком случае истинная суть таких пугающих понятий, как грех и преступление, всего лишь ревнивое малодушие всемогущего творца, больше всего обеспокоенного тем, чтобы кто-то не дерзнул повторить его дивные деяния или постичь глубины его мудрости. Не для того ли и придуман в священном писании всемирный потоп, как самая страшная угроза человеческому роду, догадавшемуся о немощи создателя? Ну, а коли сам всевышний так страшится высказывать свою слабость, то почему бы не опасаться этого Повелителю, рожденному, как все смертные, обыкновенной бабой?

Следовательно, предложение святого сеида, прежде всего его, разрушить до основания свидетельство греха — голубой минарет и тем самым всенародно признать свое посрамление — нелепейший вздор, противный не только человеческому естеству, но и божественному духу.

Даже святые заступники, благодетели-хизры, не смогли подсказать Повелителю благую весть. Сон, приснившийся в канун охоты, явился знамением предстоявших мытарств. И то, что священный камень каабы упорно ускользал от него во сне, было не чем иным, как смятением, как отчаянием души в безысходности, в тупике. В самом деле, разве не в силках бессилия бьется его воля? Если бы всемогущий создатель обрушил свою страшную кару на столицу, которой Повелитель всю жизнь дорожил пуще зеницы ока, и одним махом стер бы ее с лица земли. Он бы — видит аллах! — ничуть не расстроился, не огорчился. Более того — обрадовался бы. Ведь тогда он бы избавился от мозолившего глаза голубого минарета. А вместе с презренным людом, точно мухи, подыхающим от мора, навсегда погасла бы и мерзкая сплетня. Конечно, всеобщая гибель захлестнула бы и его, Повелителя, ну и пусть, пусть, пусть. Он бы и себя не пожалел. Вместе с ним погибла бы и гнусная молва о нем. Погибла бы гадкая легенда. Но нет... всемилостивейший создатель., всегда благоволивший к нему и исполнявший все его желания, на этот раз проявил вдруг неслыханную скупость, оставаясь равнодушным к его горячей мольбе.

Он, пожалуй, впервые пожалел о том, что судьба уготовила ему участь быть самым сильным, могущественным владыкой на земле. Ведь разве не прискорбно, что поблизости не оказалось ни одного достойного врага, который дерзнул бы разрушить дотла этот до несуразности огромный город, населенный гнусным сбродом продажных, лживых, злобствующих нечестивцев?! Только кровавая бойня избавит презренную чернь от гнусных помыслов и низменных вожелений, охвативших их грязные души. И пусть эта бойня не угодна сейчас ни богу, ни врагам, он, Повелитель, затеет ее сам. Вонючеустую толпу, которую немислимо перебить в одиночку, он толкнет в кровавое побоище и истребит тысячами. Тем, кто останется в живых, будет уже не до сплетен, не до праздной молвы о Повелителе, его Молодой Ханше и дерзком зодчем. За то, что уцелели в кровавой сече, они станут благодарить не бога, а своего Повелителя и падать перед ним ниц лицом в прах и восхвалять его в легендах.

Повелитель приказал немедленно выступить в поход.

Великая река осталась позади. Понемногу удалялась и черная толпа на берегу, с нескрываемым любопытством взиравшая на бесчисленное ханское войско. Впереди начиналась пустыня, безлюдная, бескрайняя, пепельно-бурая, удручающе однообразная. Раскаленный ветер пустыни зло и колко бил в лицо. Войско брело, увязая в сыпучем песке. Даже куцую тень всадников выжгло полуденное солнце. Оно, казалось, намеревалось испепелить самих верховых.

Зной становился невыносимым. Упругой, обжигающей волной врвался он в ханскую повозку. Все тяжелее было дышать. Задыхаясь, Повелитель судорожно отодвигал шелковую занавеску, выглядывал из крытой повозки и с досадой откидывался на ковровые подушки. Все та же бурая пустыня простиралась вокруг. Угрюмо-молчаливые дюны, казалось, свинцово плавилась под немилосердными лучами. Кони понуро волочили ноги. Какая-то одинокая птаха, спасаясь от зноя, подпрыгивала, трепетала слабыми крылышками в крохотной, с ладонь, тени от повозки.

Щурясь, с жалостью и тоской смотрел Повелитель на малую птаху — единственное, что привлекало взор в нескончаемой пустыне. Как в предсмертной агонии мечется бедняжка. Горлышко ее трепещет. Птаха отчаянно цепляется за свою крохотную жизнь, ищет спасения от

раскаленного до сизости дыхания пустыни. И нет у нее сейчас другой цели, другого стремления. Она вся во власти зова жизни. И только. Однако сколько в этом смысла! Любой другой порыв, любая другая цель в сравнении с этим — бессмысленны и ничтожны. Должно быть, любая неумеренность рождает зло. Ну, вот... хотя бы этот зной пустыни. Разве он не родился от нежного, ласкающего, как шелк, ветерка? Сначала ветерок дул в утеху усталым путникам, взбадривал их свежестью и стремился очистить мир от пыли и сора, но, постепенно распаяясь, почув нет в кровавое побоище и истребит тысячами. Тем, кто останется в живых, будет уже не до сплетен, не до праздной молвы о Повелителе, его Молодой Ханше и дерзком зодчем. За то, что уцелели в кровавой сече, они станут благодарить не бога, а своего Повелителя и падать перед ним ниц лицом в прах и восхвалять его в легендах.

Повелитель приказал немедленно выступить в поход.

Великая река осталась позади. Понемногу удалялась и черная толпа на берегу, с нескрываемым любопытством взиравшая на бесчисленное ханское войско. Впереди начиналась пустыня, безлюдная, бескрайняя, пепельно-бурая, удручающе однообразная. Раскаленный ветер пустыни зло и колко бил в лицо. Войско брело, увязая в сыпучем песке. Даже куцую тень всадников выжгло полуденное солнце. Оно, казалось, намеревалось испепелить самих верховых.

Зной становился невыносимым. Упругой, обжигающей волной врвался он в ханскую повозку. Все тяжелее было дышать. Задыхаясь, Повелитель судорожно отодвигал шелковую занавеску, выглядывал из крытой повозки и с досадой откидывался на ковровые подушки. Все та же бурая пустыня простиралась вокруг. Угрюмо-молчаливые дюны, казалось, свинцово плавилась под немилосердными лучами. Кони понуро волочили ноги. Какая-то одинокая птица, спасаясь от зноя, подпрыгивала, трепетала слабыми крылышками в крохотной, с ладонь, тени от повозки.

Щурясь, с жалостью и тоской смотрел Повелитель на малую птицу — единственное, что привлекало взор в нескончаемой пустыне. Как в предсмертной агонии мечется бедняжка. Горлышко ее трепещет. Птица отчаянно цепляется за свою крохотную жизнь, ищет спасения от раскаленного до сизости дыхания пустыни. И нет у нее сейчас другой

цели, другого стремления. Она вся во власти зова жизни. И только. Однако сколько в этом смысла! Любой другой порыв, любая другая цель в сравнении с этим — бессмысленны и ничтожны. Должно быть, любая неумеренность рождает зло. Ну, вот... хотя бы этот зной пустыни. Разве он не родился от нежного, ласкающего, как шелк, ветерка? Сначала ветерок дул в утеху усталым путникам, взбадривал их свежестью и стремился очистить мир от пыли и сора, но, постепенно распаяясь, почувствовав силу и упоение властью, он разбушевался, осатанел и поскакал-понесся огненным смерчем, сметая все и вся на своем пути. Вон, будто раскаленный уголь, обжигает коготки и опалает крылышки жалкой птахи, обессиленной в неравной борьбе с настигавшей ее бедой. Не желая видеть предсмертное мучение крохотного существа, Повелитель отвернулся и плотно закрыл глаза.

Опаленной шкуркой съежилась пустыня под нещадным солнцем. Зной проникал всюду, душил, сковывал, обжигал. Сознание мутилось. Казалось, на крытую повозку навалилась тысяча палачей, а сотня ангелов смерти в исступлении увивалась вокруг, возжаждав души Повелителя. Видно, неспроста соскользнул на реке перстень. То был знак надвигающейся смерти... К тому же дурная примета — встретить перед дальней дорогой неприятного для тебя человека.

Молодой слепец неотступно стоял перед глазами Повелителя. Казалось, тот оставил свою двуколку, запряженную ишаком, на берегу реки и каким-то чудом пересел в ханскую повозку прямо перед ним. Лишившись лучистых глаз, он лишился и нежного, доброго выражения на лице. От учтивости и благонамеренности, столь украшающих юношей, не осталось и следа. В черных провалах глаз будто затаилась смерть. Тонкая, жилистая шея несуразно вытянулась, ноздри напряженно раздулись. Страшный лик его вдруг будто выплыл из пустынного марева и стремительно надвинулся на Повелителя. Ни один мускул не дрогнул на изнуренном, словно пеплом покрытом лице. Не страшны слепцу ни сам великий Повелитель, ни его бесчисленное войско. Корявые, узловатые пальцы, точно когти, хищно потянулись к ханскому горлу.

— Не бойся, — раздался хриплый голос, — все равно очутишься под землей.

Глаза Повелителя застыли от ужаса. Что это? Разве не отрезали зодчему язык? Разве еще тогда не выпал он окровавленным кусочком из-под ножа палача на каменный пол? Тогда откуда этот голос? Или... отрубить язык еще не значит сделать человека немым?! В смятении он выкатил безумные глаза на страшный лик слепца и увидел в уголке его бескровных губ ядовитую усмешку. Отодвигаясь, Повелитель всем телом вжался в ковровые подушки сиденья. Он чувствовал, как покидают его остатние силы, как руки-ноги, словно немея, не подчиняются его воле. Страшная немощ сковала его, и под ним разверзлась черная пучина...

Он не помнил, когда очнулся. Медленно открыл глаза. В крытой повозке было все так же нестерпимо душно. Мягкая перина и пуховые подстилки под ним скомкались и только усугубляли его страдания. Он с усилием приподнялся, скосил взгляд на дверцу и никого не увидел. Бритоголовый слепец исчез, точно растаял в знойном мареве пустыни. Повелитель понимал, что сознание мутилось, все вокруг воспринималось как в зыбком тумане и что страшный слепец ему всего-навсего померещился, что все это бред... Да, да, бред бесконечно уставшего, больного человека, почувствовавшего роковой страх. В нем еще тлела свеча здравого рассудка, но сомнения и страх все решительней захватывали все его существо, растекались по всем жилам, и он подспудно понимал, что именно в них заключена его гибель.

Он вновь провалился в забытье. Вокруг от горизонта до горизонта во все стороны растянулась удручающе унылая пустыня. Угрюмые барханы казались испещренными таинственными знаками и причудливой вязью. Он, напрягая зрение, силился разглядеть их, прочесть загадочную надпись. Но рябило, мельтешило в глазах, и мрак суживался, заливал слабеющий рассудок, и все же через некоторое время с большим трудом удалось ему прочитать одну-единственную фразу: «Рано или поздно всё равно очутишься под землей!»

Повелитель приоткрыл отяжелевшие веки. Прямо над его головой нависло что-то непомерно огромное, темно-бурое. Он уже неясно представлял себе, где находится сейчас: то ли в своей привычной повозке с позолоченным атласным верхом, то ли в сыром и мрачном подземелье под ханским дворцом.

notes

Примечания

1

Сеид(точнее — пир) — духовный учитель, наставник.